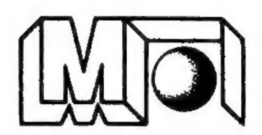


Сергей
ДИКОВСКИЙ

Патриоты
Рассказы



Мир приключений

Сергей ДИКОВСКИЙ

Патриоты
Рассказы

МОСКВА · ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА».
1986

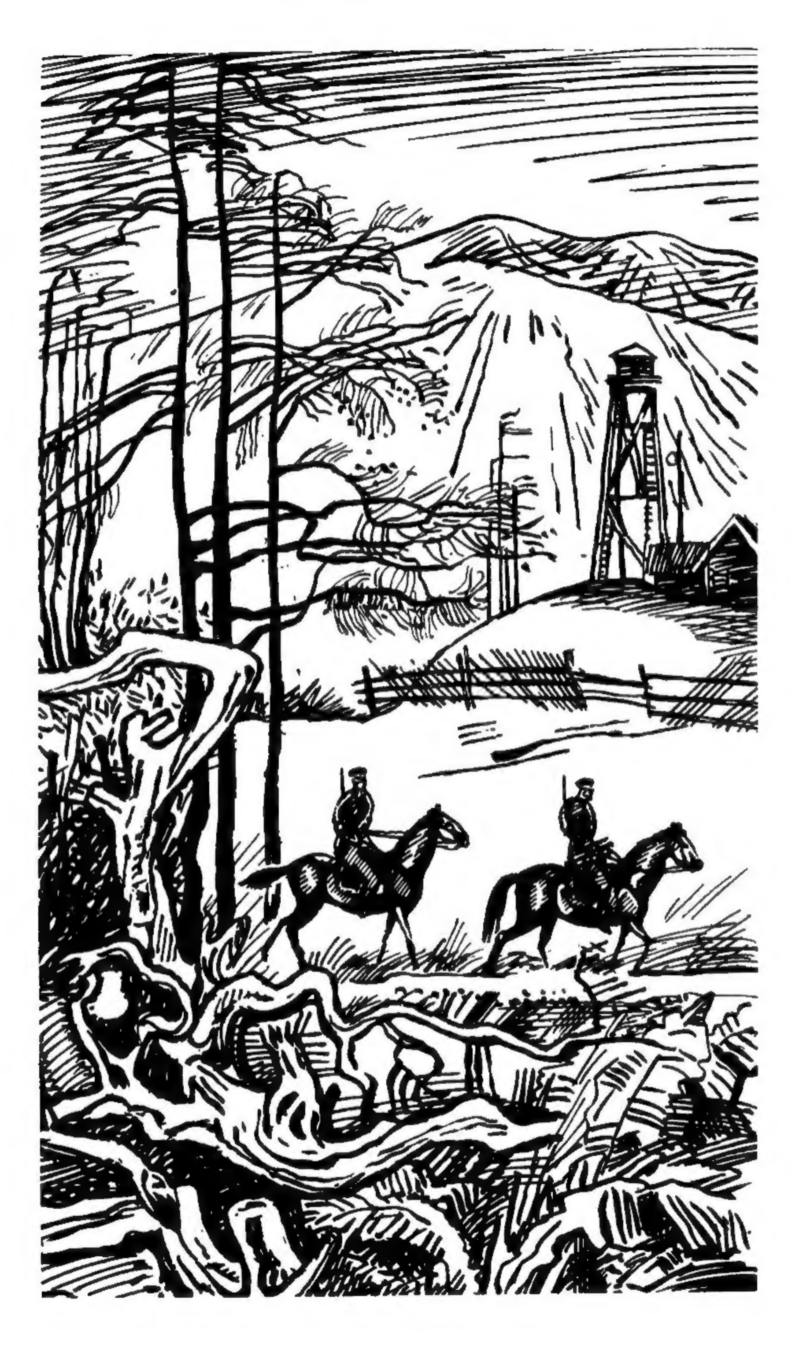
84 Р 7
Д 45

Послесловие
Б. Е. Галанова

Иллюстрации
М. Ф. Петрова

Д $\frac{4702010200-1184}{080(02)-86}$ 1184—86

Патриоты
ПОВЕСТЬ



Глава первая

Вдоль границы, от заставы «Казачка» к Медвежьей губе, ехали трое: капитан Дубах, молодой боец доброволец Павел Корж и его отец, сельский кузнец Никита Михайлович.

Ехали молча. Запоздалая уссурийская весна бежала от океана таежной тропой, дышала на голые сучья дубов и кидала жаворонков в повеселевшее небо. Вслед за ней, обгоняя всадников, летели птицы и пчелы.

Взбирались на сопку каменистой, звонкой тропой. Ветер раздувал на ветлах зеленое пламя, орешник и жимолость подставляли солнцу прозрачные листья, папоротник выбрасывал тугие острые стрелы; только вязы не слушались уговоров ручья: еще тянуло из падей ровным погребным холодком.

Ехали долго, через ручьи, сквозь шиповник и ожину, мимо низкорослых ровных дубков, и выбрались, наконец, на самый гребень сопки.

Открылась земля — такая просторная, что кони сами перешли в рысь. Маньчжурия уходила на юг, пустынная, затянутая травой цвета шинельного сукна. Земля была беспокойной, горбатой, точно под ее пыльной шкурой перекатывалась мертвая зыбь.

Никита Михайлович толкнул сына локтем. Старик любил вспомнить при случае сумасшедший мукденский поход.

— Видел, где твой батька подметки оставил? — спросил он, выезжая вперед.

— Поедем поищем,— сказал сын смеясь.— А ты разве в пехоте служил?

— Нет, в гусарах...
— То-то привык за гриву держаться.
— Сказал бы я тебе, Пашка...
— Скажи.
— Коня конфузить не хочется.

Они стали взбираться дальше; впереди — маленький краснощекий отец, накрытый, как колоколом, тяжелым плащом, за ним — сын, большеголовый крепыш, озадаченный скрипом новых сапог и ремней. А тропа все крутилась по гребню, ныряла в ручьи, исчезала в камнях и снова бросалась под ноги коням — звонкая, усыпанная блестками кварца. Голова кружилась от ее озорства.

Между тем трава исчезла. Ноги коней по бабку стали уходить в жесткий пепел. Дико чернели вокруг всадников прошлогодние палы. Никита Михайлович съежился, помрачнел. Разговор оборвался.

Наконец, лошади стали. За ручьем лежал город — незнакомый, глиняный, с четырьмя толстыми башнями по углам. Начальник не взглянул на него. Он спрыгнул с коня и снял линялую фуражку перед каменной глыбой.

— Читайте сами,— сказал он Никите Михайловичу.

В глубоких надписях, высеченных на глыбе неумелой, но сильной рукой, светилась дождевая вода.

Он был пулеметчиком, сыном народа,
Грозой для бандитов, стеною для Родины.

А. Н. Корж. 1935 год. Ноябрь.

Теперь был апрель. Над глыбой летели пронизанные солнцем облака и отзимовавшие на дубах упрямые листья.

Никита Михайлович слез с коня, вынул записную книжку и переписал надпись. Начальник смотрел на него прищуренным глазом. Другой глаз закрывала черная повязка.

— Не знаю, как насчет рифмы,— сказал капитан осторожно,— а смысл, мне кажется, правильный.

Никита Михайлович нагнулся, поднял из пепла пулеметную гильзу и долго вертел ее, точно сомневаясь, мог ли быть озорной большеротый Андрюшка «грозой для бандитов». Гильза еще не успела позеленеть.

— Это его позиция? — спросил он, наконец, не глядя на Дубаха.

— Да,— ответил начальник.

— Он умер сразу?

— Нет,— ответил начальник.

Вдруг Никита Михайлович повернулся и, ухватив жесткими пальцами красноармейца за пояс, затряс его с неожиданной яростью.

— Подбери боталы! — закричал он стариковским фальцетом.— Какой ты к черту солдат! Нудьга! Простокваша!

Он долго кричал на Павла, забыв, что сам привез его на Дальний Восток. Сын пошатывался от взрывов яростного отцовского горя. Наконец, он поймал отца за руки и грубовато заметил:

— Давайте, папаша, успокоимся...

Никита Михайлович сунул гильзу в карман и сказал капитану более спокойно:

— Это он такой только сегодня... квелый...

— Вижу,— ответил Дубах и, отойдя от камня, стал рассказывать, как в стычке с японцами, прикрывая собой левый край сопки, был убит пулеметчик Корж.

Это был долгий рассказ, потому что, пока во фланг японцам ударил эскадрон маневренной группы, прошло четыре часа, и Корж шесть раз отбивал атаку противника.

Когда капитан кончил рассказ, ветер успел высушить камень. Фазаны выбрались из кустов и грелись на солнце, не обращая внимания на людей. Весна бежала по тропам, тормоша, щекоча, путая прошлогоднюю траву.

— В десяти шагах от пулемета мы подобрали японца,— сказал в заключение Дубах.— Он упал на собственную гранату. Это бывает, когда слишком рано снимают кольцо.

— Он был офицером? — спросил Павел.

— Нет, рядовой второго разряда.

— Самурай оголтелый,— сказал зло Никита Михайлович и, путаясь в плаще, стал садиться на лошадь.

...Самураем он не был и никогда не задумывался о таких высоких вещах. В цейхгаузе 6-го стрелкового полка еще лежали проолифенный плащ новобранца и синяя хантэн [1] с хозяйским клеймом на спине.

Четыре года этот рослый парень работал на туковарнях Хоккайдо и так провонял тухлой сельдью, что в казарме его тотчас окрестили «рыбьей головой». Это было сказано точно. Все мысли Сато были заняты сельдью, камбалой и кетой. Воспитанный в уважении к деревенским писцам, он был почтителен к начальству, старателен на занятиях и сдержан в разговорах с приятелями... Он молчал даже в праздничные дни, когда теплое сакэ [2] развязывает солдатские языки и отпускники наперебой начинают врать о своих похождениях в кварталах Джоройи... Но стоило только завести речь о ценах на сельдь или о шпаклевке кунгасов, как Сато преображался: его глаза становились веселыми, голос громким, а движения сильных рук такими размашистыми, точно перед ним были не казарменные нары, а морской берег. Уж тут-то он мог поспорить с кем угодно, хоть с самим господином синдо [3].

Сато вырос на западном побережье Хоккайдо и знал все: сколько локтей в ставном неводе, когда начинается нерест кеты, почему камбала любит холодную воду и сколько дают скупщики за корзину свежих креветок...

За три месяца жизни в казарме Сато успел смыть терпкий запах рыбы, водорослей и смоленых сетей, но кличка прилипла к нему, как рыбья чешуя. По вечерам, после занятий, приятели любили подсмеиваться над старательным и наивным северянином.

— Ано-нэ! [4] — объявлял во всеуслышание горнист Тарада.— Кто знает, почему возле Карафуто [5] стало видно морское дно?

---

[1] Хантэн — рабочая куртка.
[2] Сакэ — водка из риса.
[3] Синдо — старшина на рыбалках.
[4] Ано-нэ! — Послушайте!
[5] Карафуто — южная часть Сахалина.

Ответ был известен заранее, но тотчас несколько шутников с самым удивленным видом подхватывали невинный вопрос:

— В самом деле...

— Что случилось с морем, Тарада?

— Я думаю, оно высохло от тоски,— замечал с глубокомысленным видом толстяк Миура.

— Нет,— объявлял Тарада торжественно,— дно видно потому, что Сато съел всю морскую капусту...

Жаловаться в таких случаях было бесполезно. Фельдфебель, сам любивший дразнить деревенщину, сидел поблизости, багровый от смеха, хотя и делал вид, что не слышит шуток Тарада.

Впрочем, и казармы и фельдфебель были давно позади. Восьмые сутки «Вуго-Мару» шел вдоль западного побережья Хонсю, собирая переселенцев в свои обширные трюмы. Пароход опаздывал. Он брал крестьянские семьи в Отару и Акита, лесорубов из Аомори, плотников в Муроране, плетельщиков корзин из префектуры Тояма, гончаров из Фукуи. Он грузил бочки с квашеной редькой и агар-агаром [1], мотыги, котлы, брезентовые чаны для засолки, тысячи корзин и свертков самых фантастических очертаний. Чем дальше к югу полз «Вуго-Мару», тем глубже уходили в воду его ржавые борта. В Амори еще видны были концы огромных винтов, а в Канадзава исчезла под водой даже марка парохода. Капитан прекратил погрузку.

Последними поднялись на борт шесть бравых молодцов в одинаковых сиреневых шляпах. У них были документы парикмахеров и чемоданы, слишком тощие для переселенцев. Разместились они вместе с коммерсантами и учителями в каютах второго класса.

Наконец, пароход вышел в открытое море, увозя с Хонсю и Хоккайдо ровно полторы тысячи будущих жителей Манчьжоу-Го и охранную роту стрелков.

Стойкий запах разворошенных человеческих гнезд поселился в трюмах. Люди разместились на деревянных нарах, семейные завесились занавесками, зажгли свечи.

---

[1] Агар-агар — растительный студень, получаемый из морских водорослей, применяется в бактериологии, а также в пищевой и текстильной промышленности.

В глубоких железных колодцах голоса плескались, как в бочках. Были здесь крестьяне из южных районов, рыбаки, прачки, безработные матросы, уличные торговцы, проститутки, монахи, садовники и просто искатели счастья и славы. Только детей почти не замечал Сато в трюмах. Переселенцы еще выжидали, хотя официальные бюллетени военного министерства сообщали, что партизанский отряд «Братья Севера» давно разгромлен возле Цинцзяна.

Все это пестрое население орало, переругивалось, грохотало на железных палубах своими гета [1] и приставало к караульным солдатам с расспросами. Больше всего возни было с крестьянами. Точно вырванные из земли кусты, захватившие корнями комья земли, переселенцы стремились перенести на материк частицу Японии. Они везли с собой все, что смогли захватить: рисовые рогожи, шесты для сушки белья, холодные хибати [2], домашние божницы, соломенные плащи, садовые ножницы и квадратные деревянные ванны, не просыхавшие целое столетие. Старики захватили с собой даже обрывки сетей. Они покорно кивали головами, когда господин старшина объяснял, что никакого моря в Маньчжурии нет, и хитро подмигивали друг другу, едва этот толстяк поворачивался к ним спиной. Не могло быть в мире такой земли, где бы не блестела вода. А там, где вода, наверное, найдется и сельдь, и крабы, и камбала.

Если бы была возможность, упрямцы погрузили бы с собой и паруса, и древние сампасэны [3], и стеклянные шары поплавков, но пароход уже шел открытым морем, покачиваясь и поплевывая горячей водой.

— Каммата-нэ! [4] — сказал, наконец, старшина, совершенно отчаявшись.— Спорить с вами — все равно, что кричать ослиному уху о Будде...

— Извините, мы тоже так думаем,— поспешно ответили с нар.

— Всю эту рвань придется оставить в Сейсине.

— Мы тоже так думаем...

---

[1] Гета — сандалии на деревянной подошве.

[2] Хибати — жаровня.

[3] Сампасэн — вид джонки.

[4] Каммата-нэ! — Экая напасть!

— Уф-ф...— сказал господин старшина, озадаченный таким покорным лукавством.

И он ушел наверх к капитану — заканчивать партию в маджан, начатую еще по дороге в Цуругу.

Между тем голубая полоска берега все таяла и таяла. Реже стали попадаться сети, отмеченные красными буйками. Исчезли парусники с квадратными темными парусами и легкие исабунэ [1] рыбаков. По левому борту «Вуго-Мару» проплыл последний остров — горбатый, с карликовыми соснами на гребне. Видимо, ветер дул здесь в одну сторону — деревья стояли, вытянув ветви к юго-западу, точно собираясь улететь вслед за облаками. «Вуго-Мару» — ржавый утюг в шесть тысяч тонн водоизмещением — шел, покачиваясь, не спеша разглаживая пологую волну. За кормой дрались чайки, раздирая выброшенные коком рыбьи кишки.

Наконец, Хонсю стал таким далеким, что никто уже не мог сказать, остров это или просто клочок пароходного дыма.

— Третье отделение — в носовую каюту! — крикнул ефрейтор, рысцой пробегая по палубе.

Сато нехотя отвалился от борта. Чертовски неприятно было покидать палубу ради двухчасового урока русского языка. Легче пройти с полной выкладкой полсотни километров, чем произнести правильно «корухоз» или «пуримет».

Чтобы продлить удовольствие, Сато нарочно пошел на бак кружным путем, через весь пароход. Когда он вошел в узкую железную каюту, третье отделение уже сидело за столом, выкрикивая готовые фразы из учебника майора Итоо. Это был странный язык, в котором «а» и «о» с трудом прорезывались среди шипящих и свистящих звуков, а «р» прыгало, как горошина в свистке.

Собеседником Сато был Тарада — гнилозубый насмешливый моряк из Осаки. Он знал немного английский, ругался по-китайски и утверждал, что русский понятен только после бутылки сакэ.

Третье отделение повторяло «Разговор с пленным солдатом».

— Руки вверх! — кричал Сато.— Стой! Иди сюда. Кто ты есть?

[1] Исабунэ — рыбацкая лодка.

— Я есть солдат шестой стрелковой дивизии,— отвечал залпом Тарада...

— Куда вы шел!.. Не сметь молчать! Сколько есть пуриметов в вашем полку? Высказывай правду... Как зовут вашего командира?

— Он есть майор Иванов. Сколько есть пуриметов? Наверное, тридцать четыре.

Потом они разучивали разговор с почтальоном, с девушкой, с мальчиком, стариком и прохожим.

— Эй, девушка! Поди сюда,— предлагал Сато.— Оставь бояться... Японский солдат наполнен добра.

— Я здесь, господин офицер,— покорно отвечал Тарада, стараясь смягчить свой застуженный голос.

— Смотри на меня, отвечай с честью. Где русский офицер и солдат?.. Они прыгнули сюда парашютом.

— Простите... Радуясь вами, я их не заметил...

— Однако это есть ложь. Не говори так обманно. Этот колодец еще не отравлен солдатами? Слава богу, мы не грабители. Мы тоже немного есть христианцы.

— Покажи язык,— сказал Тарада, когда Сато захлопнул учебник.— Эти упражнения — чертовски опасная штука... Одному солдату из третьего взвода пришлось ампутировать язык...

— Глупости,— сказал Сато недоверчиво.

— Клянусь!.. Бедняга орал на весь госпиталь.— Подвижное лицо Тарада приняло грустное выражение.— Бедняга вывихнул язык на четвертом упражнении,— добавил он тихо,— а ведь его еще можно было спасти.

Все еще сомневаясь, Сато осторожно высунул язык.

— Еще, приятель, еще,— посоветовал Тарада серьезно.— Так и есть... Он скрутился, как штопор...

И шутник с размаху ударил Сато в подбородок.

Раздался смех. Жизнь на пароходе была так однообразна, что даже прикушенный язык вызывал общее оживление.

Обезумев от боли, Сато бросился на обидчика с кулаками.

— На место! — крикнул грозно фельдфебель Огава.— Тарада, вы опять?

— Я объяснял ему произношение,— сказал смиренно Тарада.

— Молчать!.. Вы ведете себя, как в борделе...

И он вышел из каюты, чтобы доложить о случившемся господину подпрапорщику.

Язык Сато горел. Чувствуя солоноватый вкус крови, солдат с ненавистью смотрел на маленького развязного человечка, которого он мог сшибить с ног одним ударом кулака.

Всем было известно, что Тарада хвастун и наглец. Он держал себя так, как будто не к нему относилось замечание господина ефрейтора.

— Кстати о языке,— заметил Тарада, едва захлопнулась дверь каюты.— Вы знаете, как в Осаке ловят кошек? Берешь железный крючок номер четыре и самый тухлый рыбий хвост. Потом делаешь насадку и ложишься за дерево. «Мяу-мяу»,— говоришь ты какой-нибудь рыжей твари как можно ласковей... «Мияу-у»,— отвечает она, давясь от жадности. Тут ее и подсекаешь, как камбалу, за язык или за щеку... Котята здесь не годятся. Их кишки слишком слабы для струн самисэна [1]... Хотя за последнее время...

Стукнула дверь. Вошел очень довольный фельдфебель Огава.

— Тарада! Двое суток карцера! — объявил он во всеуслышание.

— Слушаю,— ответил Тарада спокойно.— Сейчас?

— Нет, по прибытии на квартиры. Остальные могут приступить к развлечениям.

Развлечений было два: домино и патефон с несколькими пластинками, отмеченными личным штемпелем капитана. Кроме того, можно было перечитывать наклеенное на железный столб расписание дежурств и разглядывать плакат «Дружба счастливых». Плакат был прекрасен. Два веселых мальчика — японский и маньчжурский — ехали на ослах навстречу восходящему солнцу. Вокруг всадников расстилалась трава цвета фисташки, и мальчики, обнимая друг друга, улыбались насколько возможно искренне. Внизу была надпись: «Солнце озарило Маньчжурию. Вскоре весь мир станет раем».

Однако никто не любовался плакатом. За десять дней плавания мальчики примелькались, как физиономии фельдфебелей.

---

[1] Самисэн — японский трехструнный музыкальный инструмент, похожий на домру.

Четверо солдат завладели домино. Остальные, сидя на койках, ждали своей очереди и вполголоса обсуждали ближайшие перспективы переселенцев.

— Г-говорят, их расселят на самой границе,— сказал заика Мияко.

— Да... Им будут давать по сто цубо[1] на душу.

— Кто это вам сообщил? — заинтересовался ефрейтор.

— Я слышал от господина ротного писаря.

— Ничего не известно,— оборвал ефрейтор.

Наступила пауза.

— Г-говорят, что русские могут спать прямо на снегу,— сказал невпопад Мияко.

— Ну, это враки...

— Они очень сильны... Я сам видел, как русский грузчик поднял два мешка бобов.

— Это потому, что они едят мясо,— пояснил с важностью ефрейтор.— Зато они неуклюжи.

— «Симбун-майничи» пишет, что у них отличные самолеты.

— Глупости! Наши истребители самые быстроходные...— И господин фельдфебель стал подробно пересказывать вторую главу из брошюры «Что должен знать о русских японский солдат». По его словам, на пространстве от Байкала до Тихого океана населения меньше, чем в Осаке. Русские так богаты землей, что тысяча хори[2] считается у них пустяком. Они ленивы, как айносы[3], и жадны, как англичане. Железо и уголь валяются у них под ногами, но они ищут на севере только золото.

О русских солдатах фельдфебель отозвался весьма пренебрежительно, как подобает настоящему патриоту.

— Партизаны опаснее регулярных войск,— сказал он в заключение.— Партизан может попасть из ружья ночью в мышиный глаз, если не пьян, конечно.

Зашипела пластинка, и солдаты умолкли. Грустный женский голос запел известную песню о японском солдате, убитом сибирскими партизанами. Пела мать

---

[1] Цубо — около трети га (точнее —3305 кв. метров).

[2] Хори — немногим более 1500 га.

[3] Айносы — небольшая вымирающая национальность на севере Японии.

героя. Голос ее был мягок и глух. Если закрыть глаза, можно легко представить пустой дом, бренчание самисэна на улице и мать, протянувшую руки над хибати. Тихо звенят угли. Остриженная траурно-коротко, она раскачивается и поет:

В дом вошел солдат незнакомый,
Снега чистого горсть передал.
— Снег — как горе, он может растаять,—
Незнакомый солдат мне сказал.
— Где Хакино? — его я спросила.—
Сети пусты, и лодка суха.
Тонет тот, кто плавает смело,—
Незнакомый солдат мне сказал.

Над головами слушателей гудела от ударов воды железная палуба. Светло-зеленые волны беспрестанно заглядывали в иллюминаторы. Временами распахивалась дверь, и мелкая водяная пыль обдавала собравшихся. Впрочем, солдаты не обращали на это внимания. Это были рослые, выносливые парни с Хоккайдо, которым предстояло увидеть если не Сибирь, то нечто на нее похожее. Каждый из них представлял себя на месте «убитого Хакино».

Был бы он лейтенантом сегодня,—

вспомнила мать и умолкла.

Тарада, успевший заглянуть в костяшки соседей, с треском положил плашку на стол.

— Был бы я ефрейтором сегодня! — сказал он с досадой.

Раздался смех. Всем было известно, что Тарада за драку на каботажной пристани был разжалован в рядовые второго разряда.

Язык Сато горел. Противно было смотреть на оттопыренные уши Тарада и слушать его дурацкие шутки.

— Разрешите выйти по надобности? — спросил Сато ефрейтора.

— Ступайте. Это уже шестой раз...

— Извините... Меня укачало.

Он долго бродил по железной палубе, побелевшей от соли. За два часа все изменилось неузнаваемо. Туман закрывал теперь мачты, трубу и даже часть капитанского мостика. Беспрестанно бил колокол. Надстройки на баке казались страшно далекими, точно

очертания идущего впереди корабля. Казалось, что «Вуго-Мару» покачивается на якоре, но стоило только присмотреться внимательнее, и тотчас десятки деталей выдавали непрерывное движение парохода. Тихо повизгивали по краям палубы цепи рулевого управления, вздрагивал корпус, вертелось на корме колесо лага; а когда Сато заглянул за борт, то поразился быстроте мутной волны, бежавшей вдоль «Вуго-Мару».

Все четыре люка были открыты. Капитан экономил электричество: на дне трехэтажных трюмов горели свечи. Люди успокоились, привыкли к сумраку, постоянному дрожанию железных нар и резкому запаху карболки. Мужчины играли в маджан и хаци-дзи-хаци [1], женщины вязали грубые шерстяные фуфайки. Сквозь ровный гул, поднимавшийся из трюмов, иногда прорезывалась песня, затянутая одиноким певцом.

Трюм походил на дом в разрезе. Странно было видеть на крыше этого мирного дома скорострельную пушку Гочкиса. Закрытая чехлом, перехлестнутая тросами, она стояла на корме «Вуго-Мару», напоминая переселенцам о возможных опасностях.

Возле пушки всегда толпились любопытные. Бравый вид солдат, их металлические шлемы и суровые лица вызывали у деревенщины почтительный восторг.

Один из зевак, крестьянин с сухими руками, отмеченными пятнами фурункулов, остановил Сато.

— Простите, почтенный,— начал он робко,— ведь вы уже были на Севере?

«Почтенный!» Это было сказано снизу вверх. Первый раз за полгода службы Сато почувствовал себя настоящим солдатом. Уши его побагровели от удовольствия. Он хотел ответить наивному собеседнику «нет», но язык опередил желание Сато.

— Да,— сказал он поспешно,— я был в Маньчжоу-Го.

— Говорят, что там нет ни деревьев, ни рек...

Подражая господину фельдфебелю, Сато выпятил губы:

— Глупости!

— Однако многие возвращаются обратно...

---

[1] Хаци-дзи-хаци — «88», японская игра в карты.

— Глупости! — повторил Сато твердо.— Ничего не известно.

И он, заметно важничая, зашагал дальше, не замечая своих распустившихся обмоток.

Глава третья

Он приехал в отряд прямо со знаменитой стройки № 618 — маленький озабоченный человек в резиновых тапочках и пыльнике, надетом на шевиотовый пиджак. Его глаза были красны от известковой пыли и бессонницы. Голубые, белые, зеленые, желтые брызги покрывали кепи приехавшего, точно по дороге в отряд призывник попал под дождь из масляных красок.

— Ваша фамилия?

— Корж!

Это было сказано с достоинством. Бригадир штукатуров и маляров был заслуженно знаменит. За свои двадцать два года он успел выкрасить четыре волжских моста, два теплохода, фасад Дома Союзов, шесть водных станций, решетку зоосада и не меньше сотни крыш.

Впрочем, он нес свою славу легко. Она не обременяла ни стремянок, ни люлек, на которых работал знаменитый маляр.

Корж назвал себя и ждал от командира достойного ответа.

— А-а-а,— сказал пограничник довольно спокойно и поставил карандашом синюю птичку,— сейчас вас проводят в каптерку.

И все. Корж даже немного обиделся.

— Стройка шестьсот восемнадцать. Слыхали?

— Нет,— сказал командир с сожалением.— Где же слышать, если их шестьсот восемнадцать!

В тот же вечер Коржу срезали чуб и выдали сапоги, скрипевшие, как телега. Он получил также мятую шинель, учебную винтовку с черным прикладом и старенький клинок.

Затем отделком, старательный толстощекий барабинец, показал Коржу, как подшивать воротничок и заправлять койку. Он долго умащивал круглый, как

колбаса, матрац, расправлял одеяло и, наконец, отойдя в сторону, наклонил голову набок, любуясь дивной заправкой.

— Как яечко,— сказал он мечтательно.

— Яичко...

— Вот-вот... Теперь глядите, что тут обозначено... Тут обозначена буква «ны»... Ны — значит ноги...

— «Эн»,— поправил Корж.

Отделком обиделся. Он вкладывал в обучение душу и не любил, когда его поправляли первогодки, не умевшие даже фуражку толком надеть.

— Давайте не будем вступать в пререкания,— заметил он строго.— Ны — есть буква «ны»... А теперь возьмите бирку, напишите фамилию и повесьте у изголовья...

Корж нехотя подчинился. Как не походило все это на бурную жизнь пограничника, которую он так ясно себе представлял!

Корж рассчитывал в первый же день увидеть Маньчжурию, но отряд стоял в восьмидесяти километрах от границы, в селе, ничем не напоминавшем Дальний Восток. Совсем как на Украине, белели здесь мазанки, шатались по улицам гусаки и скрипели над колодцами журавли, только вместо соломенных крыш всюду лежал американский гофрированный цинк.

Кому в двадцать два года не снится бурка Чапаева? Корж мечтал о кавалерийской атаке, о буденновской рубке, погоне, перестрелке в горах. Он уже видел под собой золотистого дончака, высокое лимонное седло и непременно голубой чепрак со звездой.

Вместо этого его привели в класс и посадили за стол. Молодой командир в галифе, подшитых кожей, и щегольских сапогах нарисовал на доске подобие бочки на четырех тумбах.

— Что мы наблюдаем? — спросил он, обводя строгими глазами бойцов.

— Лошадь.

— Нет... Лошадь — понятие гражданское. Мы наблюдаем как такового боевого коня. Иначе — объект иппологии.

Затем посреди бочки появилось сердце в виде туза, два веника — легкие, желудок с длинной трубкой, и командир начал подробно объяснять украинским и си-

бирским колхозникам, для чего нужен боевому коню пищевод.

Корж не выдержал:

— А когда же будет езда?

— Практические занятия завтра.

После урока к Коржу подошел отделком.

— Если что не ясно, требуйте у меня разъяснения,— сказал он приветливо.— Конь как таковой устроен просто...

— Да мне...

Но отделенный командир уже стучал о доску мелком.

...Ночью, скатываясь с гладкого, как «яечко», матраца, Корж видел себя главным объектом лошадиной науки. Голый, он стоял посреди кабинета директора шестьсот восемнадцатой стройки, и маленький лысый Бровман, тыкая Коржа в живот счетной линейкой, рассудительно спрашивал: «А что мы наблюдаем? А мы наблюдаем пищевод боевого коня...»

Как многие первогодки, Корж проснулся раньше побудки. Он долго лежал, представляя своего гнедого дончака, звон шпор и высокое скрипучее седло, пока отчаянный крик «подымайсь!» не стряхнул кавалериста с постели.

На манеже его ждало разочарование: вместо гнедого жеребца Коржу дали толстого белого мерина, одинаково равнодушно возившего и почту со станции и новичков из учебного батальона. У коня были лукавые глаза, седые ресницы и мохнатые мягкие губы, тронутые зеленью по краям. Стоило только вывести этого бывалого коня на манеж, как он начинал бегать, точно заведенный, ровной и страшно тряской рысью. При этом голова его ритмично качалась, а в глубине толстого брюха отчетливо слышалось: вурм-вурм-вурм...

Звали мерина Кайзером, и начальник маневренной группы клялся, что встречал коня еще под Перемышлем в 1915 году.

Обиднее всего, что Кайзер был без седла. Вместе с другими первогодками Корж должен был трястись на голой лошадиной спине, как деревенский мальчишка, соскакивать, бежать рядом, положив руку на хол-

ку, потом делать толчок двумя ногами, снова вскакивать на мерина — и так без конца.

Охотно ходил Корж только на полигон. Здесь уже по-настоящему чувствовалась граница. В густой рыжей траве перекликались фазаны. Пахло мертвыми листьями, юфтью, кисловатым пороховым дымком. На солнце было тепло, а в тени уже звенели под каблуком тонкие ледяные иглы.

Тир находился в лощине. Бесконечными цепями расходились отсюда сопки. Первый ряд был грязновато-песочного цвета, второй немного светлей, третий отсвечивал голубизной, а уже дальше шли горы богатейших черноморских оттенков, от темно-синих до пепельных.

Приятно было улечься на густую травяную кошму, найти упор для локтей и, приподняв винтовку, почувствовать ее холодок и бодрящую тяжесть. Стреляли, туго перехватив руку ремнем,— приклад ложился как врезанный. В прорезь прицела виднелся маленький аккуратный солдат в круглом шлеме. Он тоже целился из винтовки.

Первые дни солдат бесстрашно стоял во весь рост. Потом он припал на колено, потом лег. Эта хитрость даже понравилась Коржу. Каждый день он мысленно разговаривал с солдатом.

«Хочешь в лоб?» — спрашивал он, щупая переносицу.

Круглый глаз противника заметно подмигивал.

«Прячешься?.. Ну, держи».

Ветер шевелил мишень, и солдат откровенно смеялся.

«Мало? На еще...»

Вместе с обоймой кончался и разговор.

— Корж, чего вы колдуете? — спрашивал командир взвода.— Придержите дыхание.

Впрочем, это говорилось только для порядка. У первогодка были крепкие руки и глаза цейсовской зоркости.

Все чаще и чаще картонный солдат возвращался из тира с простреленным шлемом или дырой в подбородке.

Все шло по-старому. Дни ложились плотно, как патроны в обойму, только обойма эта не заряжалась

ни разу. Физгородок, манеж, караульный устав, старый учебный пулемет с пробитым надульником (его теперь собирали, закрыв глаза), тетради, классные доски, стучание мелка, а по вечерам шелест книжных страниц, рокот домр или перестук домино — все это больше походило на образцовую школу, чем на службу в пограничном отряде. Даже казарма, с ее кремовыми занавесками, бумажными цветами на деревянных столбах и четырьмя огромными фикусами в ленинском уголке, выглядела не по-военному — мирно.

Приближалась зима. По утрам, как чугунная, звенела на манеже земля. Осыпались последние желуди. Над станицей Георгиевской, где стоял отряд, висел синий кизячный дым — во всех печах гудело пламя. А Коржа по-прежнему держали в учебном батальоне.

«Живем, как в Пензе,— писал отцу Корж,— чистим сапоги, вместо пороха нюхаем ваксу... Того гляди назначат в каптеры».

А между тем на границе было далеко не спокойно.

Длинные цепи огней горели на юго-востоке, где поднимались крутые вершины сопок Мать и Железная. По ночам натужными голосами орали завязшие в болотах грузовики, и прожекторы прощупывали мосты и беспокойную, горбатую землю.

На краю села казачки накрест заклеили стекла бумагой — промерзшая земля гудела от взрывов. Станичные дивчата делились с первогодками калеными семечками и новостями.

Шел тридцать пятый год. С укреплений восточной полосы еще не сняли опалубку, но бетон уже затвердел. Упустив время, противник нервничал. Изо дня в день с застав сообщали о выкопанных пограничных столбах и задержанных диверсантах.

Появились раненые. По двору лазарета вторую неделю катался в ручной коляске красноармеец с пергаментно-светлым лицом. Один глаз у него был голубой, веселый, другой закрывала черная повязка. Дивчата передавали красноармейцу через ограду целые веники подмерзшей резеды и гвоздики.

Однажды Корж не выдержал:

— Где это вас?

— За Утиной протокой,— сказал негромко боец.

— Японцы?

— Нет, свои... земляки...— ответил он, ухмыляясь.

Ловко перехватывая колеса худыми руками, он ехал вдоль ограды и вспоминал пограничные встречи.

...Шел из Владивостока ясноглазый застенчивый паренек-комбайнер. И в расчетной книжке, среди бухгалтерских отметок, были найдены цифры, вписанные симпатическими чернилами.

...Шла из Маньчжурии полуслепая китаянка-старуха с теленком. Было известно заранее — переправляется партия опиума. Но только на третий день на брюхе теленка пограничники обнаружили два кило липкой отравы, размазанной по шерсти, точно грязь.

...Шел охотник с берданкой и парой фазанов у пояса. И в картонных патронах к берданке нашлись чертежи, свернутые пыжами.

А в последний раз на тропе возле Утиной протоки пограничный наряд встретил подгулявших косцов. Три казака, в рубахах нараспашку, с узелками и «литовками» на плечах, шли, разматывая тягучую песню, завезенную дедами с Дона.

Их окликнули. Они отозвались охотно. Оказалось, колхозники.

Их спросили: «А какой бригады?» Старший ответил: «Первой лыськовской». И точно: такая бригада слыла лучшей в колхозе.

Их еще раз спросили: «Зачем в сумерках бродите вдоль границы?» Тогда старший — сквернослов с толстой шеей и выправкой старого солдата,— подмигнув товарищам, ответил, что идут косцы брать на буксир отстающий колхоз.

И, уже совсем было поверив косцам, отделком порядка ради потребовал пропуск: ведь шел же однажды бандит с кнутом пастуха и шашкой динамита в кармане.

— Ну а как же,— сказал весело старший косец,— есть и пропуск.

Тут, присев на корточки, он развернул пестрый свой узелок и, вынув бутылку-гранату, с матерщиной метнул ее в пограничников.

В трех косцах опознали москитную белую банду из соседнего маньчжурского городишка Тинцзяна...

Корж хотел было спросить, что случилось дальше с косцами, но из лазарета вышел санитар и, ворча, увез больного в палату.

После этого разговора Корж помрачнел. Сытая, толстая морда Кайзера казалась ему удивительно глупой, каша — прогорклой, гармонь — фальшивой. Было ясно одно: в то время как он метит в картонную рожу, где-то возле Утиных проток идет настоящий аврал.

В тот же вечер он сел писать громовую статью в «ильичевку», но докончить ее не успел. Коржа вызвали в штаб, к командиру учебного батальона.

— Ну что ж,— сказал батальонный, поздоровавшись с Коржем,— поздравляю с назначением и все такое прочее. Застава «Казачка». Выезжайте завтра. Кстати, тут и начальник.

Возле печки грелся командир в забрызганных грязью ичигах[1]. У него были массивные плечи, пшеничные усы и пристальные, слегка насмешливые глаза бывалого человека.

Он шагнул к Коржу и загремел плащом.

— Сибиряк?

— Наполовину.

Командир засмеялся.

— Ну, добре... потом разберемся,— сказал он сиплым баском.— А пока — спать. Побудка без четверти три.— И он постучал по стеклышку часов крепким обкуренным ногтем.

Глава четвертая

Автомобили шли степью. Шестнадцать фиатовских грузовиков с воем и скрежетом взбирались на сопки, затянутые мертвой травой.

Стоял март — месяц последних морозов. Солнце освещало голые сучья кустов, низкие клены и сверкавшую, как наждак, мерзлую землю.

Степь пугала переселенцев простором и холодом. Ржавая посредине, сиренево-пыльная по краям, она третьи сутки плыла мимо автомобильных бортов.

---

[1] Ичиги — обувь из сыромятной кожи наподобие кожаного чулка.

Пепел и ржавчина — два любимых цвета маньчжурской зимы — провожали отряд от самой железной дороги.

Замотав головы бумажными платками, укутавшись в одеяла, переселенцы дремали, подскакивая на узлах и корзинах. Солдаты были лишены и этой возможности. Они сидели в открытых машинах, выпрямившись, зажав винтовки между колен. Нестерпимо ярки были иней и голубой лед ручьев. От резкого ветра слезились глаза. Многие солдаты надели шелковые маски, предохраняющие нос и скулы. Это придало отряду зловещий вид.

Светло-серый «фиат» поручика Амакасу скользил впереди колонны, парусиновый верх машины был демонстративно откинут.

Амакасу не поднял даже теплого обезьяньего воротника. Он сидел выпрямившись, положив руки на эфес сабли,— олицетворение спокойствия и воинской выдержки. Из-под мехового козырька торчали пепельный нос и выбеленные морозом усы.

Люди молчали. Только три звука сопровождали колонну в степи: монотонное жужжание моторов, треск мерзлой травы и грохот солдатских ботинок. Продрогшие стрелки что было силы стучали ногами в дно грузовиков. Когда стук становился особенно сильным, Амакасу останавливал головные машины. Он высаживал солдат и переселенцев и заставлял их бежать по дороге.

Это было фантастическое зрелище. Полтораста мужчин, в платках и шляпах, в резиновых плащах, грубых фуфайках, пальто, рыбацких куртках, в резиновой обуви или обмотанных соломой гета, взбегали на сопку. Их подгоняли проворные и старательные солдаты в шлемах, отороченных мехом, и коротких полушубках.

Сам господин Амакасу, жилистый, в легких начищенных сапогах, бежал впереди орущей, окутанной паром колонны, придерживая блестящую саблю и маузер.

Бравый вид поручика, его равнодушие к морозу вселяли бодрость в притихших переселенцев. Слышался смех, удары ладоней по спинам, из застуженных глоток вырывались остроты. Но все сразу умолкало, едва автомобили трогались в путь.

Так миновали, не останавливаясь, поселки Шансин и Хайчун — низкие, глиняные, с тощими псами на площадях, переправились по льду через реку Хаяр и повернули на запад, где переселенцев ждала земля, а солдат — жизнь, полная приключений и подвигов...

...Еще в Осаке по совету фельдфебеля Сато купил никки[1] — маленький, темно-зеленый, с изображением девушки, приложившей палец к губам. Старательно и бестолково заносил сюда Сато свои впечатления о дороге. Покамест они не отличались особым разнообразием:

«*22 февраля.* Проехали сто десять километров. Выдавали сигареты и по одной сакадзуки[2] сакэ. Господин фельдфебель осматривал ноги. Табак по-китайски зовется хуниен.

23 февраля. Проехали сто шестнадцать километров. Господин поручик приказал зажечь гаолян[3]. Мияко ложно утверждает, что видел ночью хунхузов[4]. Получил порицание... Огурец по-китайски — хуангуа... Капуста — байцай... Выдали тофу[5], по четыре конфеты... Холодно.

24 февраля. Проехали сто три километра. Раздавили собаку. Когда распухают пальцы, следует опускать в горячую воду. Господин фельдфебель сказал: «Трусость — врожденное свойство маньчжур». Перец — ляцзяофэнь. Дыня — сянгуа. Утром лопнула шина...»

Только одно происшествие случилось с отрядом на пути в Янчжэнь.

Был солнечный ветреный полдень, когда колонна пересекла плато и стала углубляться в рощу. Отряд сильно растянулся. Головные машины уже катились в роще, подскакивая на корнях, а взвод, замыкавший движение, еще двигался по открытому месту.

Неожиданно степь задымилась от пыли. Три огромные бурые воронки появились на горизонте. Они долго раскачивались, то подходя друг к другу, то

---

[1] Никки — дневник.

[2] Сакадзуки — чашечка для сакэ.

[3] Гаолян — просо. Одно из самых распространенных в Китае злаковых растений. Стебли гаоляна достигают трех-четырех метров высоты.

[4] Хунхуз — грабитель, разбойник.

[5] Тофу — соевый творог.

расставаясь, похожие на трех дозорных, осматривающих степь, и вдруг, точно сговорившись, сразу двинулись к северу.

Шофер прибавил газ. Машина была уже на краю рощи, когда туча режущей пыли, снега, сухой травы обдала солдат. Над головами переселенцев заколыхались деревья. Заскрипели стволы. Роща наполнилась резким свистом и шумом. Туча листьев отделилась от земли и унеслась вверх, в голубые просветы. Вместе с ней поднялось несколько солдатских шлемов.

Невидимые грабли с шумом прочесывали лес. Клены раскачивались, точно выбирая, в какую сторону свалиться. Вдруг одно из деревьев рухнуло, едва не придавив автомобиль с пулеметчиками. Раздалась команда:

— Все из машины! Очистить дорогу!

Но смерчи уже удалялись, наполненные травой, пылью и листьями. Десять солдат с трудом оттащили в сторону упавшее дерево.

Пыль улеглась, и в лесу стало заметно светлее. Вершины кленов еще раскачивались, но внизу было совсем тихо. Охваченные тревогой переселенцы продолжали придерживать растрепанные ветром циновки.

Солдаты, суеверные, как все крестьяне, зашептались, провожая глазами воронки. Сато вытащил карманный компас и постучал по стеклышку. Синяя стрелка вздрогнула и замерла. Смерчи шли на северо-восток.

— К черту в ворота,— сказал негромко Тарада.

— Это бывает только в год засухи.

— Плохое начало!

— Да... И притом сегодня, кажется, пятница,— заметил встревоженно Сато.

— Замолчать!— крикнул ефрейтор, которому тоже было не по себе.

Они снова выбрались в степь. Столбов смерча уже не было видно. Отъехали километров пять, и вдруг из облаков с огромной высоты стали падать холодные кленовые листья, унесенные смерчем.

Чтобы рассеять тягостное впечатление, господин поручик распорядился выдать по две рюмки сакэ.

Отряд медленно двигался к северу. Нелегко было добраться до пустующего рая, о котором уже третий год кричали газеты. Двое молодых солдат умерли от бèри-бéри[1] еще по дороге в Сейсин, несколько южан отморозили ноги на перегоне Муляо — Дунчжун, а неразговорчивый пулеметчик Цугамо был списан на острова после очередного просмотра солдатских дневников.

На вечерней поверке господин фельдфебель объявил об этом печальном случае так:

— Не чувствуя под собой почвы Ямато[2], рядовой второго разряда Цугамо проявил малодушие и в тоске возвратился в казармы шестого полка.

Тоска по Ямато... Вот уж чего Сато никак не мог понять! Он долго посмеивался, вспоминая унылую фигуру Цугамо... Стоит ли тосковать по вяленой камбале и сорному ячменю, если здесь каждый день дают тофу, рис, сахар и овощи, а по праздникам леденцы и сакэ? С гордостью Сато оглядывал новый полушубок, подбитый белой овчиной, бурки и шерстяные перчатки. Чего стоил один только китель с прекрасными бронзовыми пуговицами, жестким воротником и поперечными красными погонами! А просторный ранец, набитый запасными башмаками, бельем, патронами и галетами,— скрипучий, восхитительно пахнущий свежей кожей и лаком... А гладкий алюминиевый котелок... А ящик с лекарствами... Нет, надо быть грязной свиньей, чтобы после всего этого зубоскалить, подобно Цугамо.

Щеки Сато лоснились. Он был сыт, благодарен, счастлив. Еще ни разу он не открывал банки с гусиным салом, не растирал спиртом побелевших пальцев. Толстая фуфайка, горячая кровь и ладанка из хвоста ската отлично защищали его от мороза и ветра. С первого взгляда ладанка не внушала доверия, но гадальщик был так назойлив, что Сато пришлось раскошелиться. За три иены он получил шершавый мешочек и несколько ценных советов. Он узнал, что должен остерегаться пятницы, не спать с раскосыми женщинами и ждать несчастья на сорок третьем году жизни.

---

[1] Бèри-бéри — болезнь, родственная цинге, вызывается однообразной и скудной пищей.

[2] Ямато — древнее название Японии.

Сато шел двадцать второй. Подпрыгивая на высокой автомобильной скамье, он спокойно рассматривал мертвую степь. Земля поражала Сато безлюдьем. Он привык к побережью Хоккайдо, где на каждом шагу видишь мокрые сети и слышишь «конници-ва»[1]. Здесь только арбы, скрипевшие в стороне от дороги, напоминали о жизни. Фанзы маньчжур были пусты, пергамент на окнах разорван, печи холодны. На глиняных полах валялись груды тряпья и бумаги. Встречались и трупы — темные, занесенные пылью, застывшие в удивительных позах. Возле потухших кузниц валялись колеса. Мехи и железо были унесены в горы, где ковались самодельные сабли и пики.

Несколько раз ночь заставала колонну в мертвых поселках. Это были короткие остановки без приключений и занимательных встреч. Одна ночевка была похожа на другую, как потертые циновки, на которых спали солдаты. Сначала санитарный врач исследовал воду в колодцах и отмечал желтым мелком негодные фанзы, затем отряд располагался на ночлег.

Света в фанзах не зажигали. Только пламя, вспыхивавшее в низких печах, освещало то стриженые солдатские головы, то руки, жадно ловившие тепло.

Странно было видеть издали темные, молчаливые фанзы, из труб которых вылетали искры и дым.

Обыскивая один из таких поселков, отделение Сато обнаружило в фанзе старуху. Растрепанная, в стеганых солдатских штанах, она сидела на корточках возле казанка. Хозяйка даже не обернулась, когда в дверь вошел господин поручик в сопровождении переводчика и солдат.

— Встать! — закричал Сато, но старуха не шелохнулась, только глубже вобрала голову в плечи.

В порыве усердия Сато ударил чертовку прикладом и получил за это замечание от господина поручика.

— Отставить! — сказал Амакасу,— вы слишком старательны...

— Слушаю, господин поручик.

—...Старательны и глупы. Вы должны разъяснять населению их ошибки и внушать уважение к импера-

[1] Конници-ва — здравствуйте, добрый день



торской армии. Господин Мито, переведите этой женщине, что я порицаю поступок солдата.

Но и это великодушное замечание не подействовало на старуху. Она продолжала сидеть на корточках, размешивая ложкой какое-то клейкое варево. Переводчик подумал, что хозяйка глуховата; он наклонился к ней и крикнул прямо в ухо:

— Господин поручик порицает поступок солдата!

Старуха медленно повернула голову и уставилась на сапоги господина поручика, точно завороженная их блеском.

— Сын,— сказала она монотонно.

Господин Амакасу не понял. Он присел на корточки напротив старухи и стал терпеливо объяснять, почему население сделало ошибку, уйдя в горы. Поручик умел говорить увлекательно. Не повышая голоса, не угрожая репрессиями, он осуждал безрассудство ушедших и рассказывал о великой миссии императорской армии. Шесть солдат и фельдфебель почтительно слушали прекрасную речь господина поручика.

Желая дать низшим чинам наглядный урок вежливости, Амакасу назвал грязную старуху почтенной.

— Терпение и благоразумие — лучшие качества земледельца. Пусть очаг освещает вашу почтенную старость.

С этими словами господин поручик привстал и с любопытством заглянул в котелок.

— Сын,— повторила старуха.

— Ну-ну... Вы еще увидите лучшие времена.

Что-то похожее на любопытство засветилось на сморщенном лице китаянки. Губы ее растянулись, и не успел переводчик докончить фразу, как хозяйка схватила темными руками казанок и выплеснула горячее варево на Амакасу.

...Ее не расстреляли, хотя новая куртка господина поручика была основательно испорчена. Старуху просто выдрали шомполами.

После этого к ней вернулась любезность. Утром, когда господин фельдфебель умывался, хозяйка держала кувшин. Она стояла согнувшись и сухими глазами смотрела на упрямый толстый затылок, оттопыренные уши и скачущую струйку воды. Руки ее дрожали от тяжести кувшина.

Умывшись, фельдфебель великодушно сунул обмылок в сухую старушечью руку.

Через час ветер и моторы соединили свои монотонные голоса. Снова понеслась вдоль бортов промерзшая земля. Взгляды скользили по ней, не задерживаясь на пологих холмах. Изредка, делая огромные прыжки, перебегали дорогу шары перекати-поля. Сато с любопытством провожал их глазами. Дико выглядела горбатая земля и скачущие по ней клочья травы.

Дальше к северу стали чаще встречаться леса и постройки из бревен. В одном из поселков солдаты увидели странные мелкоглазые дома с высокими крышами. Пахло дымом, сеном, скотом. Стаями маршировали злые жирные гуси. Из многих калиток выглядывали женщины с большими красными щеками. Точно рыбаки, они повязывали головы цветными фуросики[1].

У въезда в село трое мужчин остановили головную машину. То были носатые рослые старики в бараньих шубах и войлочной обуви. Самый старший—великан с раздвоенной бородой и колючими светлыми глазами — держал блюдо, прикрытое полотенцем. От блюда шел пар.

— Кто это? — спросил Сато, пораженный необычайной внешностью жителей.

Сидевший рядом с ним пулеметчик Кондо вздрогнул и открыл глаза. Равнодушный и ленивый, он всегда дремал в машине, несмотря на запрещение господина ефрейтора.

— Кажется, это русские,— сказал он.

— Разве мы ошиблись дорогой?

— Не знаю.

Многие вскочили, чтобы лучше разглядеть, что происходит у головной машины.

— Сесть! — крикнул ефрейтор.— Можно подумать, что вы ни разу не видели росскэ.

— Простите, я не уяснил...

— Потому что вы хлопаете ушами на занятиях. Это росскэ, но они враждебны России. Коммунисты расстреляли их императора и семь русских генро[2]

[1] Фуросики — платок, в котором носят мелкие покупки и завтраки.

[2] Генро — императорский советник.

«Расстрелять императора! — Сато осторожно хихикнул. Он не знал еще, что полагается делать: негодовать или смеяться.— Сына Аматерасу? Человека с кровью богов. Шутник этот Акита!»

Но лицо ефрейтора было серьезным, и солдат остолбенело уставился на начальника. Это звучало так дико, что Сато даже засопел от изумления. Микадо... Овальное матовое лицо, густые брови, лишенные блеска глаза, яркий рот, оттененный усами. Это лицо, загадочное и спокойное, было с детства знакомо каждому сыну Ямато. Оно глядело с газетных страниц и открыток, с детских кубиков и обложек журналов...

Сато попробовал представить себе другого, русского императора, бородатого, в каске и лакированных сапогах, с голубой лентой, усеянной орденами коршуна всех степеней. Но и русский император был грозный, живой,— мертвого Сато никак представить не мог.

С чувством уважения смотрел он на трех русских самураев, потерявших царя. Изо рта старшего вырывались клубы пара. Он точно давился свистящими и рычащими звуками. Переводчик еле успевал подхватывать отдельные фразы:

— ...Свет с Востока... Трудолюбивые сеятели, тоскующие по отчизне... Монаршая милость...

— Чего они хотят?— поинтересовался поручик.

— Они приветствуют воинов Ямато и просят принять пирог и шкуру медведя...

Подарки были положены на сиденье машины, но казак продолжал говорить, поблескивая острыми хитрыми глазами:

— Русские сироты... Сыновья радость... Братство закона и правды...

Господин Амакасу терпеливо ждал, когда оборвется поток свистящих и рычащих звуков. Наконец, он поднял руку. Русский самурай почтительно крякнул и придержал дыхание.

— Очиен хорошо,— сказал господин поручик по-русски.— Передайте населению наше благодарю и ура.

Ротный писарь передал казакам подарки: банку чаю, две зажигалки и коробку трубочного табаку.

Колонна медленно проехала мимо стариков, козырявших каждой машине.

Когда высокие крыши деревни скрылись из глаз, господин Амакасу приподнялся и выбросил пирог из машины. Горячее тесто долго дымилось в ржавой траве.

Термометр показывал минус тридцать градусов. Чем дальше продвигался отряд к северу, тем резче сверкал иней и сильней становились морозы. Многие надели очки-консервы. Темные стекла и наносники придавали солдатам вид угрюмых ночных птиц.

Стали чаще встречаться повозки с огромными колесами, обитыми гвоздями. На дорогах валялось тряпье. Наконец, возле самого Цинцзяна, в болотистой низине, заросшей шпажником, отряд встретил маньчжур.

На берегу протоки белели палатки саперного батальона. Больше тысячи крестьян, мобилизованных на дорожные работы, насыпали высокую дамбу, по гребню которой шел паровой каток. На готовом участке красными кирпичами были выложены иероглифы: «Мир, труд, благоденствие».

Беспомощный вид землекопов, их унылые, темные лица и засаленная одежда отлично подтверждали слова господина фельдфебеля о превосходстве японского духа.

Увидев отряд, крестьяне опустили мотыги. Землекопы поспешно расчистили узкий коридор для колонны. Однако ни один из них не ответил на приветствие господина фельдфебеля.

— Наверно, они оглохли,— заметил с усмешкой Тарада.

— Кроты!

— Взгляните, какая у этого зверская рожа...

— Типичный хунхуз!

— Вот падаль!

Видя благосклонную усмешку господина фельдфебеля, ротные остряки открыли беглый огонь по молчаливой шеренге маньчжур. Каждая шутка вызывала взрыв хохота. Так приятно было прочистить глотки после томительного молчания в степи.

Даже увалень Сато не удержался и крикнул:

— Здоро́во, навозные черви!

Возле протоки колонна остановилась. Раздалась команда:

— Набрать воды в радиаторы!

Сато и Кондо первыми схватили брезентовые ведра и спустились на лед.

Протока промерзла до дна. Ветер сдул снег. Гладкая голубая дорожка уходила на юг. Солдаты побежали по ней, скользя и падая.

Это было занятное путешествие. В пузыристой светлой воде стояли неподвижные рыбы. Сато топнул ногой. Рыбы не шевелились: они вмерзли в лед. Тогда Сато вынул тесак и вырубил кусок льда вместе с рыбой. Она была плоская, с острыми красными плавниками и золотистым брюшком.

Наконец, они отыскали глубокое место, где темнела вода, и наполнили ведра.

Возле поселка работал взвод саперов. Звенела круглая пила, связанная приводом с автомобильным мотором. У солдат были пепельные щеки и седые от мороза ресницы.

Сато поделился сигаретами с одним из саперов. То был настоящий солдат, подвижной, обтертый в походах крепыш с насмешливым багровым лицом. Глотка его шипела, как испорченный кран.

— Так вы с Хоккайдо? — спросил сапер, с трудом выталкивая слова.— Говорят, в Саппоро несчастье... Ячмень упал еще на две иены...

— Не знаю,— сказал Сато.— Здесь всегда такой холод?

— Всегда... Две иены на коку...[1] Так вы ничего не слышали насчет ячменя?

— Нет... У нас уже четверо отморозили ноги.

— Холодно, очень холодно,— повторил сапер, пританцовывая.— Видите сваи? Это наш семнадцатый мост. Клен как железо... Утром сменили два диска... Так вы куда, приятель,— в Цинцзян?

— Ничего не известно.

— Ну-ну... Видно, вы первый год носите ранец. В пустяках не бывает секретов.

— Говорят, здесь высокие урожаи?— заметил Сато уклончиво.

— Дерьмо! Рай для каторжников.

---

[1] Коку — мера веса, равная 180 кг.

Пока они разговаривали, вода в брезентовом ведре успела подернуться иглами льда. С берега неслись нетерпеливые гудки автомобилей.

— Берегите уши,— просипел сапер на прощание.

Но Сато не слышал. Держа ведро и замерзшую рыбу, он мчался по голубому пузыристому льду к автомашине.

Они проехали еще с полсотни километров, и вдруг автомобили подняли дружный рев. Впереди за болотистым полем виднелись две башни. Низкая глиняная стена, укрепленная контрфорсами, обегала городские постройки.

Тявкал небольшой колокол. На улицах качались разноцветные кисти и бумажные шары, а из каждой трубы, напоминая об огне и горячей еде, поднимались колонны синего дыма. То был город, живой и теплый.

Изо всех фургонов глазели переселенцы, закутанные в одеяла и разноцветные платки...

— Ано-нэ! — крикнул громко Огава.— Да здравствует Цинцзян!

Ему нестройно ответило несколько застуженных глоток.

Из городских ворот навстречу колонне уже мчались кавалеристы в шлемах, отороченных мехом.

Глава пятая

После бесконечных поездок, шума и резкого света новостроек «Казачка» поразила Коржа своей тишиной. Низкое здание заставы, сколоченное из дубовых бревен, стояло в ложбине. Можно было подъехать к «Казачке» вплотную и не заметить ни темной крыши, ни мачт радиостанции, ни забора, раскрашенного черно-желтыми пятнами.

Здесь лошади не ржали, собаки не лаяли, сапоги не скрипели. Многие из красноармейцев, отправляясь в дозор, заматывали копыта коней тряпками, а пешие надевали ичиги.

День и ночь на заставе не имели границ: люди жили здесь в нескольких сутках сразу. Просыпаясь, бойцы видели в окнах вечернее солнце и засыпали с

петухами, чистили сапоги ночью и умывались в полдень.

...Только три дня прошло с тех пор, как на утренней поверке впервые выкликнули фамилию Коржа, но бойцам и начальнику уже казалось, что всю жизнь они видели это веселое лицо и беспокойные крапленные веснушками руки. Корж много ездил и, вероятно, один видел больше, чем целый взвод красноармейцев-барабинцев. Стоило только вспомнить какую-нибудь область, город или новостройку, как он немедленно вмешивался в разговор.

Он знал, что в Новороссийске из города на «Стандарт» ездят на катерах, что в Бобриках выстроили кинотеатр «почище московских», что Таганрог стоит на горе, что в тифлисских банях вода пахнет серой. Он мог рассказать, сколько суток идет пароход от Казани до Астрахани, как выглядит домна и в какой цвет окрашен кремлевский дворец. На заставу Корж привез уйму цепких словечек, смешных рассказов, песен, а главное — настоящий хроматический баян с могучими мехами, ремнем на зеленой подкладке и таким количеством перламутровых пуговок, что их хватило бы на сотню косовороток.

В первый же вечер Корж вынул баян из футляра и поставил перед бойцами на стол.

— Кто желает?— предложил он небрежно.

Все замолчали, поглядывая то на баян, то на незнакомого широкоротого первогодка. Инструмент слепил черным лаком и никелем застежек. Боязно было прикоснуться к его сверкающим клавишам.

Осторожно кашлянул только повар — маленький кривоногий человек с лицом калмыка. Он был запевалой всех песен и первым музыкантом заставы.

— Разрешите?— спросил повар почтительно.— Я сейчас.

Он сбегал к рукомойнику, вымыл руки яичным мылом и только тогда принял на колени тяжелый инструмент.

— Ну держитесь! — сказал отделком Гармиз.

— «Ой, за гаем, гаем!»

— Полечку, Ростя...

Но баян молчал. Повар растерялся. Его руки, привыкшие к тульской трехрядке, вдруг окостенели на перламутровых клавишах. Беззвучно потрогав кноп-

ки, он снял ремень и с сожалением посмотрел на свои короткие красные пальцы.

— Извиняюсь...

Баян шумно вздохнул.

Заиграл Корж... Уже по одному вступительному аккорду, зарокотавшему, как волна, стало ясно, что баян в хозяйских руках.

Знакомая легкая мелодия венгерки на цыпочках прошлась по комнате, пробуя упругим носком половицы. Корж не торопил ее. Он сидел, наклонив голову, шевеля бровями, точно удивляясь отчетливым звукам, вылетавшим у него из-под пальцев. Гармонь почти не дышала, хотя на помощь одинокому альту уже выбегали тенора и временами одобрительно поддакивал мягкий басок.

Мелодия медлила. Она еще обегала второй круг, но по лицу Коржа видно было, что вот-вот грянет настоящее. Брови музыканта взлетели высоко и замерли, маленькие крепкие ноздри раздулись. Движением плеча он поправил ремень. И баян грянул. Все, что было в нем веселого, озорного, звонкого, сразу вырвалось из мехов и осветило казарму. Высоко поднялись девичьи голоса, еще выше их — скрипки и флейты. Ударили по контрабасам смычки, вскрикнули домры, проснулись колокольчики, дружно зарокотали гитары, октавы расстелили под ноги танцующим свое густое гуденье, а бубен, глупый и веселый, побежал вдоль круга, догоняя мелодию.

Корж сидел неподвижно. Только вызолоченные веснушками беспокойные пальцы легко и цепко трогали пуговки.

И вдруг кто-то крикнул:

— Лампа!

Копотная струйка поднималась к потолку и разлеталась черными мухами. Музыка оборвалась. Отделком, ворча, стал закрывать стол газетными листами.

— Нотно сыграно! — сказал повар почтительно и немного грустно, потому что втайне завидовал музыканту.

Все с уважением посмотрели на крепкого большеголового первогодка, небрежно перебиравшего лады. У него было простодушное лицо деревенского парня, но в глазах блестела хитринка.

Проводник Нугис, огромный молчаливый латыш, погладил баян и спросил:

— Тысячу потянет?

Музыкант засмеялся.

— А вот уж не вешал... Премия...

И он показал серебряную дощечку, врезанную в крышку баяна.

Стоял февраль — единственный зимний месяц, когда снег не сохраняет следов. Ветер точно работал по сговору с нарушителями. Он заметал все: лыжни, спички, окурки, остатки костров, прятал в пушистой снежной толще запахи овчины, сапог, табака.

Участок был трудный. Давно прошли времена, когда нарушители рисковали головой из-за дюжины чулок или банки ханьши [1]. Контрабанда стала не самоцелью, а маскировкой. Шел стреляный зверь — без документов, без адресов, без оружия, агенты доихаровской [2] школы, умевшие с равным искусством лгать и молчать на допросах.

Конные дозоры беспрестанно объезжали распадки, проводники собак, пулеметчики, снайперы неутомимо прочесывали дубняк и заросли ожины, тянувшиеся вдоль границы.

Задержали старуху, шедшую «исповедоваться» к попу на ту сторону границы — реки. Она несла длинный поминальный список усопших, и между именами старушечьих родственников Дубах нашел вписанные молоком фамилии командиров укрепленного участка.

Привели глухонемого корейца с замечательным фотоаппаратом, вделанным в ручные часы.

Подстрелили голубя, и в записке, примотанной к лапке, прочли: «Петр будет в субботу. Ждем папирос...»

Сам Дубах, надев белый халат, вышел навстречу гостю. Две ночи он провел в секретах вместе с бойцами...

В субботу Петр не пришел, но в понедельник, во время сильной пурги, в соседнем китайском городишке Цинцзяне поднялась стрельба. На рассвете отдел-

---

[1] Ханьша — китайская водка.

[2] Доихара — организатор японского шпионажа на Дальнем Востоке.

ком Гармиз задержал возле знака № 17 двух партизан, бежавших из маньчжурской тюрьмы... У обоих были обрезаны уши.

Больше всех задержаний имел Нугис, проводник знаменитой овчарки Рекса,— молчаливый отделком с плечами Поддубного и крутым девичьим румянцем во всю щеку.

Не истратив за зиму ни одного патрона, он доставил на заставу тридцать семь человек.

Несколько раз Корж сопровождал арестованных. Это был пестрый народ: зеленщики, макосеи, перебежчики-солдаты из цинцзянского гарнизона, родственники зарубежных казаков, бандиты, объединенные одним общим словом — нарушители. С тех пор как появились первые партии японских переселенцев, стали чаще попадаться маньчжурские землеробы. В поисках работы и мира они переходили границу целыми группами и, прежде чем достать документы, показывали широкие и жесткие ладони. Впрочем, трудно было сказать, кто друг, кто враг. Всех без исключения нарушителей распутывали в отряде.

В наряды Корж еще не ходил. Он уже привык по тревоге одним рывком сбрасывать одеяло и сон, мог с завязанными глазами собрать пулемет и неплохо держался в седле, но начальник не спешил с назначениями...

Прежде чем стать командиром, Дубах долгое время водил поезда. На всю жизнь он усвоил жесткое правило машиниста — ничего не делать с рывка. Он набирал скорость постепенно, приучая первогодков бить без промаха, угадывать дорогу по звездам, заучивать каждый камень, куст, пень на земле, которую им предстояло охранять в течение трех лет.

Он воспитывал в молодых бойцах зоркость к обыденному, острое чувство подозрительности к предметам и людям, попавшим в запретную полосу.

Однажды Дубах принес на занятия обыкновенный окурок, подобранный нарядом в лесу.

— Что вы видите?— спросил он у Коржа.

— Бычок!

— Только-то? Осмотрите и доложите.

Корж старательно осмотрел окурок. Он был сы-

рой, желтый, с надписью золотом: «Бр. Лопато Харбин».

— Китайский бычок, товарищ начальник!

Дубах улыбнулся.

— На этикетку не смотрите... У нас не школа ликбеза. А видим мы вот что...

И Дубах прочел десятиминутную лекцию об окурке. Оказалось, что переход был совершен давно (окурок успел пожелтеть), нарушитель шел из-за границы (на нашей стороне харбинских папирос не курят). Нарушитель шел днем (ночью курят только сумасшедшие). Нарушитель был или малоопытен, или неосторожен (иначе бы спрятал окурок). Нарушителю помешали (половина папиросы не докурена). Нарушитель пользуется мундштуком с очень узким отверстием (конец папиросы сильно скручен).

— Замечайте,— сказал Дубах, пряча окурок в коробку,— все замечайте. Как дятел кричит... Когда японцы караулы сменяют... Где Пачихезу можно вброд перейти... Замечайте и подозревайте. Вопросительный знак — великое дело.

Как всякий начальник, Дубах был одновременно командиром и педагогом. Одним и тем же красным карандашом он отмечал пулевые следы на мишенях и ошибки первогодков в диктанте.

Чертовски много нужно было знать молодому бойцу. Как влияет ветер на полет пули и велик ли в этом году урожай на Кубани? Сколько выстрелов в минуту дает пулемет Дегтярева и каковы тактические особенности японской пехоты? Что есть баллистика? Как устроен фильтр противогаза? Как изображают на картах сопки и лес? Сколько ребер у лошади? Для чего служит печень? Как перевязывать голень?

Знать нужно было много, пожалуй, больше, чем знали иные комдивы времен гражданской войны. И все же, по мнению Дубаха, чего-то в занятиях не хватало. Чего именно — он еще сам не знал. Не установок, не новых идей... Скорее — какой-то очень простой и мудрой формулы, объединяющей в себе все, что защищали бойцы на этом участке: народы всех союзных республик, их земли, моря, их хлеб, железо, корабли, города.

И слово было сказано партией. Родина. Сильнее, короче, ясней не придумаешь.

Сначала Дубах стал вырезать все передовые на тему о патриотизме. Потом перешел к статьям, где говорилось о подвигах патриотов. Он решил вести «Книгу героев» — подробную летопись подвигов, совершенных советскими патриотами после эпопеи челюскинцев, когда миллионы людей так ясно почувствовали все могущество Родины...

Он разыскал в городе огромный альбом с шишкинскими медведями на переплете и стал наклеивать в него газетные вырезки и портреты героев.

Это была хрестоматия двадцатистрочных рассказов о мужестве, находчивости, скромности малоизвестных советских людей. Системы тут не было никакой. Женщина-врач, привившая себе ради опыта бациллы чумы, встречалась на одной странице с участниками путешествия в стратосферу. Девушки-лыжницы — со студентом, спасшим женщину во время пожара; золотоискатели, раскопавшие сказочный самородок,— с чабаном, отстоявшим от волков отару овец... Были здесь летчики, налетавшие по миллиону километров, лучшие снайперы СССР, профессор, предложивший обезболивать роды, пионер, задержавший бандита, советские сталевары, музыканты, танкисты, актеры, пожарные, академики...

День за днем книга рассказывала бойцам, кто такие Коккинаки, Демченко, Бабочкин, Лысенко, Ботвинник... Ее цитировали на политзанятиях, читали вслух каждый вечер.

Дубах гордился затеей. Он серьезно уверял коменданта участка, что с тех пор, как появилась «Книга героев», у всех стрелков пули стали ложиться заметно кучнее, чем прежде.

Приближалась весна. Снег сошел, но в распадках еще лежал темный, мартовский лед. Сторожевые псы скулили. Из цинцзянской степной полосы полз дым — горел подожженный японскими колонистами гаолян.

Дубах ходил мрачный, посапывал носом, точно принюхиваясь.

Третий месяц на участке существовала «дыра». Кто-то осторожный, опытный, знающий местность, как свою ладонь, водил пограничников за нос. Было использовано все: усиленные наряды, конные дозоры,

секреты, лесные облавы,— и все напрасно. Каждый переход, как прыжок в воду,— бесследен. Пробовали пускать собак, но даже Рекс, распутавший на своем веку больше сотни сложных клубков, сконфуженно чихал, окунув нос в траву: перец и нюхательный табак, рассыпанный нарушителем, жег собачьи ноздри.

Наконец, подвесили на тонких нитках колокольчики. Шесть ночей подряд прислушивались пограничники. Колокольчики молчали. Зато каждый день звонил телефон, и каждый раз начальник отряда суховато спрашивал: «Ну?» Это «ну» стоило Дубаху многого. Он пожелтел, ссутулился, по суткам пропадал в тайге и, вернувшись, сразу сваливался на тахту. К нему вернулась скверная фронтовая привычка — ложиться не раздеваясь. Шестилетняя дочка Дубаха — Илька, спавшая рядом, с испугом смотрела на оплетенные жилами руки отца. Они были так неподвижны и так тяжелы, что Ильке казалось — отец совсем не проснется. Но стоило только скрипнуть сверчку, как Дубах, не открывая глаз, поднимал тяжелую руку и говорил: «Я вас слушаю».

Телефон стоял возле самой подушки начальника. Дубах был глуховат и стыдился признаться в этом врачу. В сырую погоду глухота совсем одолевала начальника; тогда он клал трубку с собой в постель и засыпал, привалившись к мембране щекой.

Телефонная линия шла тайгой. Птицы садились на проволоку, белки пробовали на обмотке свои зубы, грозы наполняли линию треском и шорохом. Мембрана старательно нашептывала всю эту галиматью на ухо начальнику, в то время как он бормотал и ворочался, отмахиваясь от шепота, как от мух...

Илька любила подслушивать в полевой телефон разговоры. Это можно было делать только тайком, когда отца нет на заставе. Стоит приложить трубку к уху, нажать клавиш,— и она начинала болтать всякую чепуху: «Минск! Минск! Минск! — звал кто-то глухим голосом, точно из подвала.— Когда вы вернете Гуськова?» — «Фртьуррю-фр-р-тьуррю»,— отвечали неожиданно птицы из Минска. Потом трубка начинала храпеть, совсем как отец, когда разоспится. Илька понимала, что где-то заснул часовой. Она знала, что спать на посту нельзя, и, чтобы разбудить красноармейца, несколько раз поворачивала ручку.

Храп обрывался... «Кремль шестнадцать! — говорил быстрый, отчетливый голос.— Кого вызываете? Кремль шестнадцать». И снова начиналось старое: комариный писк, гудение, странные разговоры Калуги с Кремлем о комсомольском собрании, валенках, мишенях, щенках... «Кремль шестнадцать!» — надрывался телефон. «Не надо спать!»—отвечала Илька, подражая отцу, и, довольная, выбегала из комнаты.

С тех пор как Илька стала самостоятельно отворять двери, Дубах окончательно потерял влияние на дочку.

Илька все время пропадала в казарме. Особенно она любила сушилку и кухню. В сушилке всегда замечательно пахло табаком, кожей, дымом. На жердях рядами висели огромные болотные сапоги с подковами, сырые шинели и гремучие плащи с капюшонами (в этих плащах можно было отлично прятаться от отца). Красноармейцы сидели на низкой скамье, курили, вспоминали какой-то Барабинск и рассказывали разные интересные истории, в которых Илька почти ничего не понимала.

Еще интереснее было на кухне. Здесь чугунная дверца была румяной от жара, на больших зеленых кастрюлях плясали крышки, а если Илька подходила близко к плите, черный чугунок говорил «пф-ф».

Повар тоже был совсем особенный, не такой, как другие красноармейцы. Он был немного выше Ильки, маленький, кривоногий, с широким лицом и розовыми от огня белками. Вместо зеленой фуражки и шинели он носил смешной белый колпак и фартук, в карманах которого всегда лежали стручки гороха и губная гармоника.

Звали повара Беликом. Илька дружила с ним из-за гармоники и интересных рассказов. Белик знал все: как разговаривают собаки и дятлы, до скольких лет живет щука, почему у телефона привешена ручка, может ли пуля долететь до луны и зачем у мухомора точки на шляпке.

Он мог еще играть авиамарш, склеивать змея, показывать фокусы с пятачком и предсказывать погоду.

Он знал все. Когда Илька приносила из лесу холодные прозрачные ягоды костяники на тонких стеблях, Белик говорил настойчиво и сурово:

— Бросьте... Это рыбий глаз.

Он не мог точно объяснить, как рыбьи глаза попали в тайгу, но Илька верила другу твердо.

Однажды в апреле, когда папоротник выбросил из прогретой земли свои острые стрелы, вдруг снова стало холодно. В ложбину, где стояла застава, прорвался ветер, ивы зябко зашевелили листьями, и отец приказал Ильке надеть противное пальто. Встревоженная, испуганная, она побежала к повару.

— Белик,— спросила она грустно,— это опять зима, да?

— Нет,— отвечал повар смеясь.— Это у дуба лист прорезается. Сегодня ночью будут почки трещать.

Ночью Илька выбежала в чулках на крыльцо. Дубы стояли за ручьем, корявые, черные, подняв к месяцу голые руки. Рядом блестели тонкие прутья ветел. Клены укрывали от ночного холода сирень и орешник. Всюду пробивалась зелень, даже пробковое дерево выбросило несколько острых листков. Только дубы еще упрямились, делали вид, что не замечают травы, щекочущей им корни.

Илька долго прислушивалась. Дубы молчали. Они были так упрямы, что у Ильки застыли ноги. Но все-таки она дождалась и услышала слабый звук, похожий на стук капли. Звук повторился. Сдерживая волнение, Илька бросилась к ручью. Она подбежала к самому толстому и упрямому из дубов и прижалась ухом к шершавой коре. Дерево молчало. Стучали рядом, падая на дно жестянки, капли березового сока — то Белик собирал квас.

Никакого треска Илька не слышала и вернулась в постель раздосадованная, в мокрых чулках. Она долго чихала, прежде чем заснула, а утром снова побежала к дубам. На этот раз Илька увидела, что повар был прав: маленькие упрямые листочки прорезались из красноватых почек. Илька едва не заплакала от досады. Дуб перехитрил ее. Видимо, почки трещали как раз тогда, когда она чихала в постели. Впрочем, Белик тут же успокоил ее, сказав, что почки стреляют раз в девяносто два года.



— Ну и музыка!

Корж в отчаянии уставился на сапоги. Черт знает что выделывала свежая кожа. Она пела, пищала, стонала, скрипела, оповещая границу о приближении наряда. Пять километров надсадного поросячьего визга. Ни смальц, ни рыбий жир не могли смягчить рассвирепевшую юфть.

Скованный визгом, Корж боялся пошевелиться. А нужно было спешить. Низкое солнце уже било в глаза.

— Шагай на носках,— посоветовал Нугис.

Он стоял возле Коржа, заботливый, сероглазый великан в порыжелых ичигах, и придерживал за щипец овчарку. Рекс повизгивал, нервничал. Запах юфти жег ноздри.

Раздался скрип. Корж шел на цыпочках, широко расставив руки. Он побагровел от досады. Он ждал всего: тревожного шепота, взрыва гранаты, выстрела в спину, прыжка японского разведчика, только не этого надсадного, мерного визга.

Корж завидовал Нугису, его обмятой шинели, легким ичигам, глуховатому голосу. Все было выверено, обтерто и пригнано у этого спокойного человека. Кобура его нагана была расстегнута, хотя Нугис почти никогда не стрелял на границе. И пули и слова он расходовал одинаково редко.

...В молчании они перебрались по бревну через ручей, перешли рисовое поле и вошли в падь, такую глубокую и узкую, что раньше срока над их головами блеснула звезда. Потом пролезли под валежиной, свернули в старое русло Пачихезы и стали подниматься вверх, прыгая с камня на камень.

— Запоминай,— сказал Нугис.

А запоминать пришлось много; в глазах рябило от пней, ручьев, тропок двойняшек-берез и камней, похожих друг на друга, как пара патронов. Изредка встречались окопчики, закрытые дерном и хворостом, залитые весенней водой. В одном из них валялись кусок патронного ящика и обрывок бинта.

Между тем тропа поднялась на гребень... Точно широкое казацкое седло, лежала гора среди дубняка. Две

пади обегали мохнатые бока сопки и, сливаясь в узкую промоину, уходили на юг.

Прячась в зарослях багульника, они спустились с гребня, обошли солонцы, подернутые, точно плесенью, блеклой травой, и залегли за коряжиной метрах в двухстах от границы.

За промоиной, среди кочковатого поля, стоял глиняный город. Таких Корж не видел ни разу. По грязным улицам носилась солома, чадили жаровни. Пританцовывая под тяжестью коромысла, шел с корзинами зеленщик. Возле колодца, раскинув руки, лежал ничком человек — не поймешь издали, мертвый или пьяный. Изредка проезжали неуклюжие повозки с огромными колесами. Китаец в ватных штанах сидел у входа в харчевню, и ветер трепал над его головой бумажный тюльпан.

Едкий запах бобового масла, чеснока и мочи плыл через ручей, заставляя Рекса чихать. Непролазной нищетой, скукой старой маньчжурской провинции несло от глиняной крепости. Не было видно тут ни свежего теса, ни штабелей кирпича, ни бетонщиков, пляшущих в ямах. Корж смотрел на маньчжурский город с высоты своих двадцати двух лет.

— Ну и курятник! — заметил он удивленно.

— Это Цинцзян,— сказал Нугис,— город серьезный... Два батальона...

— А дохлый...

— У него жизнь ночная... особая.

Раздался резкий звук горна. Нугис поспешно извлек часы.

— Тревога!.. Смотри, засекаю время...

Из глиняной казармы выскакивали и бежали к конюшне солдаты. Тонконогие, похожие на мальчишек конники приторачивали тючки прессованного сена, термосы и пулеметные коробки. У всех солдат были широкие меховые наушники, серые перчатки и суконные гамаши, закрывавшие носки ботинок.

Офицер, выделявшийся среди солдат только обезьяньим воротником куртки и блестящими голенищами, взмахнул рукой — очевидно, скомандовал. Маленький отряд на рысях выехал за глиняные ворота и вскоре исчез в желтоватой мгле, висевшей за сопками.

— Ну, завтра будет гонка,— сказал отделком,— опять в норму не уложились...

— На тактические поехали?

— Какая тут тактика! Вчера переселенца в колодце нашли.

Прячась в кустах, они прошли еще с полкилометра и легли в холодную мокрую траву. Небо позеленело, замутилось, утратило высоту. Наступили минуты многозначительного молчания, той сумрачной кратковременной тишины, которая отделяет вечер от ночи, как узкая полоска горизонта — землю от неба. Сопки уже превратились в силуэты, но кроны деревьев еще не потеряли глубоких и нежных оттенков.

Выпь первой нарушила паузу. Глухим подземным уханьем приветствовала она первую звезду. И сразу со всех низин ей ответили лягушки. Согретые болотной водой, изнемогающие от блаженства, они точно ждали сигнала. Восторженный, неистовый рев поднялся над рисовым полем.

Лунь пролетел над водой, поворачивая круглую, кошачью голову. В его когтях бился суслик...

Странное чувство подавленности и тревоги охватило Коржа. Только что все вокруг было так невозмутимо и ясно: блестела вода, лежал на тропе белый голыш, качались кленовые листья. Теперь даже соседний куст жил двойной, загадочной жизнью. Все шуршало, пряталось, шептало, скользило, ползло; ручей и тот бормотал не по-русски. Только честные собачьи глаза, звезды да циферблат часов были бесспорны в этом мире намеков.

Корж вертел головой, рискуя сорвать позвонки. Он ждал. Он был терпелив. Как всякий новичок, он делал уйму ненужных движений: перекладывал винтовку, лазил в подсумки, ощупывал гранаты, ручной браслет.

Нугис лежал рядом, огромный, теплый, спокойный. Из травы торчал только конец шлема. Казалось, проводник даже посапывает.

Постепенно Корж успокоился. Среди тысячи неясных, случайных звуков он стал различать знакомые шумы. Где-то бесконечно далеко, за сопками, взвыл буксующий грузовик. Голос его то повышался до комариного звона, то гудел возмущенным баском... Все глуше и глуше звучал утомленный мотор. Он точно жа-

ловался окружающим сопкам на свое бессилие, на холод и грязь. И вдруг донесся короткий торжествующий крик клаксона. Шофер вырвал машину. Слышно было, как грузовик, ворча, удаляется от опасного места.

Корж обернулся на звук мотора: там, где недавно исчезла полоска заката, снова горел свет; не багровый отблеск палов и не дымные прожекторные столбы — просто небольшой светлый венчик, точно земля отдавала накопленное за день тепло.

Горело электричество. В глубоких котлованах возле Георгиевки, в тайге, на полевых базах, где заправлялись машины, в новом городе Климовске, в окрестных колхозах, вдоль железнодорожной ветви, уходившей на север,— всюду светились огни. Они согревали, ободряли бойцов, лежавших в мокрой траве, напоминали о великой бессоннице, охватившей Дальний Восток...

Чувство огромного спокойствия наполнило Коржа. Радостно было думать, что в каких-нибудь пятнадцати километрах за его спиной по пыльной улице ходят в обнимку дивчата, что сейчас, ночью, ворчат бетономешалки, бегают десятники со складными метрами в карманах, что люди спят в поездах, учат дроби, аплодируют актерам, распрягают коней, пляшут, целуются, ведут автомашины.

И все это охранял он, Корж... Он еще раз нащупал гранаты. Их авторитетная тяжесть успокоила его. Корж приподнялся, чтобы подползти ближе к Нугису, но проводник неожиданно поднял руку. Рекс вскочил на ноги. Что-то странное делалось с псом. Он подобрал хвост, приложил уши и стал пятиться, издавая чуть слышный щенячий визг.

Нугис сжал ему пасть. Собака дрожала.

По гребню сопки быстро шли двое. Шли прямо на куст. Потом их оказалось четверо... Что случилось дальше, Корж вспомнил только под утро.

Кажется, он успел окликнуть два раза. Винтовка выстрелила сама по себе, в упор, в черную овчину бандита. Трое бросились в сторону.

— Назад! — крикнул Нугис.

Но Корж не слышал. Он стрелял на бегу. Он знал только одно: трое живы, трое прорвались, трое ухо-

дят. Не задумываясь, не ожидая товарища, он устремился за ними...

В два часа ночи Дубах отстегнул маузер и снял болотные сапоги. Он был доволен — день прошел тихо. Никто не докладывал о следах нарушителей, не просил пополнить подсумки, не счищал с нагана сизую гарь.

Из отряда звонили только два раза, и то по мелочи: требовали сдать стреляные гильзы и спрашивали, готовы ли инвентарные списки библиотеки. Да комендант напомнил под утро, чтобы партийцы выехали на делегатское собрание за два дня, потому что дорогу сильно размыло дождями.

На цыпочках, чтобы не разбудить дочь, начальник прошел к полке и достал кусок холодной телятины. Илька спала на тахте, нахмурив пушистые брови, сердито сжав кулачки. Что-то страшное снилось девочке. Она ворочалась, невнятно шептала, пищала тонко, как суслик...

Дубах посмотрел на нее и вздохнул. Обидно было, что Илька растет дикарем. Мать ее была казачкой. Он привез ее из Ростова прямо со школьной скамьи — веселую зеленоглазую девчонку с пышной шапкой медных волос. Рот ее никогда не закрывался. Дубах ворчал — слишком шумно стало в казарме. Потом привык. То была женщина не слишком умная, но с горячим, радостным сердцем. Она любила свой Ростов, степь, тополя и побаивалась тайги.

Когда банда полковника Хутоярова напала на заставу, Регина была на девятом месяце. Ее погубила горячность. Вместо того чтобы лежать на полу, она вздумала таскать в окопы патроны. Ящики были тяжелые: Илька родилась к концу перестрелки на койке проводника Гущина, исполнявшего обязанности санитара. Смелый боец, отчаянный кавалерист, он до того растерялся, что перерезал пуповину грязным кухонным ножом...

Илька походила на мать. Те же медные волосы, широкий мальчишеский рот и озорные глаза. Только характер не тот. У матери смех вспыхивал, когда еще слезы не высохли. Илька редко смеялась, еще реже плакала. Она выросла без сверстников, без палочек-выручалочек, горелок, разбойников, пятнашек — этих

смешных и милых игр, без которых не обходится детство. Она ни разу не была в городе, не видела парохода, поезда, самолета, рояля, театра, зато совершенно точно знала, как надеваются подсумки, почему закапчивают мушки и что такое конкур-иппик [1].

Правда, начальник отряда хотел собрать по заставам всех бирюков, вроде Ильки, и устроить нечто похожее на интернат, но дальше списков дело не шло. Пришлось выписать на заставу няньку — старуху из уссурийских казачек. Толку из этого вышло мало. Степанида оказалась старательной, но вредной бабой, постоянно огрызавшейся на красноармейцев.

Скрипнула половица. Илька приподнялась и долго смотрела на отца потемневшими от сна глазами. Вдруг она удивленно спросила:

— А сказка?

Спорить с ней было бесполезно. Каждый вечер, сидя на тахте, Дубах рассказывал Ильке самые смешные и милые сказки, на которые только была способна его уставшая за день голова. Прежде он долго колебался — можно ли рассказывать Ильке всю эту симпатичную галиматью об Аленушках и Иван-царевичах? Сомнения рассеял начальник отряда, толстый латыш Цорн. Еще до того, как педагоги амнистировали ковер-самолет, он привез из Москвы и роздал ребятам целый чемодан старых сказок. Ильке достался Андерсен. Его шутливые, лукавые сказки с удовольствием прочел и начальник. Он даже вписал в тетрадку андерсеновскую поговорку: «Что позолочено — сотрется, свиная кожа остается». Это было сказано здорово. Начальник рассчитывал когда-нибудь использовать поговорку на политзанятиях.

Уже два вечера прошли без сказок. Дубах чувствовал себя виноватым. Он сел возле Ильки и начал:

— У мухоморья дуб зеленый...

— Ой, какая неправда! — сказала строго Илька.— Не хочу про дуб, хочу про овчарку.

— Жила-была одна немецкая овчарка, и жил-был один бессмертный Кащей...

Он пересказывал Ильке Андерсена, бесцеремонно вплетая в приключения Оле-Лукойе Кащея Бессмертного, заставляя оловянного солдатика встречать-

[1] Конкур-иппик — кавалерийские состязания.

ся с Бармалеем и Бабой Ягой. Золотой ларец отыскивали у него овчарки, а серого волка приканчивал Иванушка-дурачок из берданки.

Илька забралась с ногами на тахту. По ее требованию отец прикрутил лампу. В комнате стало совсем темно, только на стене засветилась зеркальная сталь клинков.

От отца пахнет табаком, кожаными ремнями, одеколоном. Подбородок у отца удивительный: если провести рукой вниз — очень гладкий, если вверх — как напильник. Дубах сильный — может раздавить в кулаке грецкий орех, поднять бревно, согнуть пятачок. Когда отец сердится, он фыркает, точно хочет чихнуть. Это очень смешно, но смеяться нельзя...

— Вот и все,— сказал отец, щелкая портсигаром.— Аленушка уехала в Москву к тетке, Кащей засох, а ковер-самолет испортился...

— Его моль съела?

— Почему моль? Хотя да... Верно, съела...

Где-то далеко в тайге сломался сучок. Другой, третий.. Дубах поморщился... Плохо, когда по ночам без мороза и ветра трещат сучки.

— А волк где?

— Волк?.. Он тоже пропал.

...Еще два сучка... Дубах машинально надел сапоги... Целая обойма. Возле солонцов чья-то винтовка била почти без пауз. Так мог стрелять либо новичок, либо боец, которому уже некогда целиться.

— Его овчарки загрызли? — спросила Илька сонно.— Наверное, Рекс? Да? — И, не дождавшись ответа, заснула, схватившись обеими руками за отцовскую портупею.

Дубах осторожно высвободился. Распахнул дверь.

Перед забором визжали на ржавой проволоке кольца. Четыре сторожевых пса скулили, рвались с привязей в темноту.

Через двор к командирскому флигелю рысцой спешил дневальный.

Он бежал. Давно в темноте улизнула тропа. Чертовы сучья, мертвые и живые, дышавшие прелью, хвоей, свежим листом, лезли в лицо, хватали за рукава, рвали шинель. Забором вздымались вокруг корни ва-

лежин. С разбегу кидались под ноги ручьи. Ожина железными петлями ловила ноги. С жирным, плотоядным урчанием присасывалась к подошвам разбухшая земля. Все было свежо, холодно, мокро в апрельской тайге.

Он бежал. Не хватало дыхания. Грудная клетка, сердце, ремень, гимнастерка стали вдруг тесными. Качалась земля. Медленно кружились над головой стволы, и черные кроны, и звездный, уже склонившийся к горизонту ковш.

Птицы вырывались из кустов и, шумя крыльями, исчезали в темноте. Корж лез в гору на четвереньках. Мускулы ныли, кричали о пощаде. Корж полз. По опыту тренировок он знал, что скоро перейдет на второе дыхание.

Ветер перебросил через сопку дальний гудок паровоза. Прогремел мост. Курьерский шел на восток. Корж выполз на гребень и на спине съехал в распадок. Где-то совсем близко сорвался под беглецом камень.

— Врешь! — крикнул Корж, и сразу стало тихо.

Он снова побежал, охваченный могучим желанием: настичь, схватить за плечи, опрокинуть, вмять в траву и тогда уже, поставив колено на горло врагу, отдышаться. Бессвязные, яростные слова вырывались против воли у Коржа. Он так ясно представлял брошенное в траву, извивающееся тело диверсанта, что на бегу повторял обрывки фраз из будущего разговора с японцем. В какой-то картине Корж видел уже такого самурая Он прыгал вокруг бородача партизана. У него был странный клинок, короткий, изогнутый,— не оружие бойца, а какое-то ядовитое жало.. Этот тоже прыгнет вбок, затем вперед. Винтовку следует выбросить навстречу и немного вверх... Удар будет звонким. А потом? «Сидзука-ни синасай! Молчи! Откуда пришел?.. Доко кара китта-ка?..»

...Обеими руками Корж схватился за дерево. Листья клена плеснули в лицо пригоршни холодной воды. Он пытался прислушаться... Стоял мокрый, оглушенный толчками сердца. Шлем жег голову. Кровь гудела в висках.

Он оглянулся. Было светло. По седой траве вился зеленый след, проложенный полами шинели. Окружен-

ный шпажником, блестел бочажок. На его гладкой поверхности плавал тополевый пух и гонялись, морщиня воду, серые бегунки. Солнечная рябь дрожала на дне, устланном ржавыми листьями. И тишина, и одинокий след в холодной траве, и расцветающее небо, и пустые подсумки, и сизая гарь на затворе — все напоминало Коржу, что погоня окончена. Он опустился на колени и, погрузив лицо в воду, тянул ее до тех пор, пока не заныли зубы. Тогда он встал, расправил сырую шинель и пошел на запад, где торчала зеленая луковица георгиевской колокольни.

Трое бойцов с ищейкой и дегтяревским пулеметом, высланные начальником к месту стрельбы, к рассвету нашли Нугиса. Он сидел в кустах, вымазанный в грязи, посеревший от злости, и ругался шепотом по-латышски. Это было верным признаком неудачи.

— Кто стрелял? — спросил старший по наряду.

— Наверно, винтовка,— сказал Нугис сухо.

— Переход?

— Нет, передур...

— А где Корж?

— Не знаю,— мрачно сказал проводник.— Я его звал... Я дуракам не желаю быть нянькой.

Он встал и раздвинул кусты. Рекс завыл и попятился.

Посреди поляны, раскрыв лиловую пасть, лежал мертвый медведь... Тянуло горелой шерстью. Зверь был застрелен Коржем в упор.

Выбравшись в поле, Корж убедился в ошибке. Впереди была не Георгиевка. Вместо знакомой кирпичной колокольни здесь торчала часовня, обшитая американским гофрированным цинком.

Тайга кончилась. Земля катилась на юг широкой черной волной, неся на себе тракторы, бензиновые бочки, вербы и зеленые фургоны бригад. Шла пахота. Сверкали лемеха. Голубой керосиновый дым слоями висел над землей.

За спиной Коржа фыркнул мотор. Девчонка с веселым облупленным лицом распахнула дверцу «пикапа».

— Ноги... ноги оботрите,— сказала она домовито.
— А куда? — спросил Корж.
— Как куда? Полдничать... Чуете?
Из кузова машины тянуло пшеничным хлебом, горячим борщом.
— Не выйдет,— сказал Корж дрогнувшим голосом.
— Ну, взвару попробуйте... Товарищ, куда же вы?
— В Георгиевку.
— Тогда извиняюсь,— сказала дивчина; «пикап» умчался, обиженно фыркнув.
Корж долго смотрел ей вслед. Ловкая девка! Казачка... Она-то довезет свой борщ до зеленого фургона... Взвар... А что на заставе? Нугис уже вернулся... Отмалчивается... Кормит Рекса. Придется идти через двор одному, с постной рожей и пустыми подсумками. Корж уже видел, как навстречу ему, опираясь на стол, поднимается Дубах... Он успел представить эту позорную сцену в сотнях вариантов, прежде чем выбрался к Георгиевке.
Был полдень. Шинель уже высохла. Короткая синяя тень металась под ногами у Коржа.
В трех километрах от станицы, возле мельницы, он встретил попутчика. Паренек-кореец в полосатой футболке, сидя на жернове, строгал палочку. Возле него, скуля и почесываясь, лежала мохнатая собака.
— Здравствуйте, товарищ командир! — отчетливо сказал кореец.
— Я не командир.
— Извините... Я ошибся.
Они помолчали. Корж залюбовался руками корейца. Мускулистые, голые по локоть, они отливали на солнце золотом. Паренек снимал с палочки зеленые кольца.
— Идти далеко... Идти скучно. Будем играть,— пояснил кореец.
Пес заскулил. Умоляющими, розовыми от жары глазами он уставился на хозяина.
— Что это он у вас? — спросил Корж.
— Так... Блиошка.
Он встал и, приложив дудку к губам, издал гортанный и печальный звук. Глаза музыканта зажмурились, на тонкой шее зашевелился кадык. Он заиграл, нагнув стриженую голову,— смешной корейский пар-

няга. Как все корейцы, он немного смахивал на японца. Корж вспомнил госпитальный сад и желтое лицо красноармейца в коляске. После сумасшедшей ночи он был готов подозревать в каждом прохожем шпиона.

— Ладно будет? — спросил музыкант, кончив играть.

— Ладно...

У корейца были с собой початок вареной кукурузы и немного бобового творога.

— Хоцице покушать? — спросил он ласково.

Корж отказался. Он даже отвернулся, чтобы не видеть, как тают желтоватые мучнистые зерна, но и смотреть по сторонам было не легче. Дятел доставал из коры червей. Промчалась белка-летяга, жирная, пестрая. Корж посмотрел под ноги: толстенькая гусеница грызла лист. Даже ручей бормотал противным, сытым голосом. Все вокруг ело, жрало, сверлило, пило, сосало. Тошно стало Коржу.

— Кто вы такой? — спросил он грубовато.

Кореец прищурился.

— Странно... Кажется, это не запрещенная зона... Ну, предположим, механик...

— Все мы механики,— сказал Корж сумрачно.— Ваша фамилия?

— Ким, Афанасий.

— Я партийность не спрашиваю.

— Ким — это фамилия. По-нашему — золото.

Корж задумался.

— Послушайте,— заметил кореец рассудительно,— вам будут из-за меня неприятности. Я член поселкового Совета. У нас пахота. Вы не имеете права меня останавливать.

Он говорил убедительно. Корж и сам понимал — придирка была никчемной. Следовало тотчас отпустить этого ясноглазого, стриженного ежиком парнишку. Он чувствовал усталость и стыд, но какое-то нелепое подозрение не позволяло ему отступить.

— А что в мешке? — спросил Корж, чтобы спасти положение.

Механик молча вынул тракторный поршень, укутанный в паклю. Поршень был старый, марки Джон-Дира, очень редкой в этих местах.

— По блату достал — сказал парень горделиво.— Знаете, как теперь части рвут.

Они поговорили еще немного и разошлись. Кореец заиграл снова.

Унылые гортанные звуки дудки долго провожали Коржа. Но когда оборвалась последняя дрожащая нота, он остановился, снова охваченный подозрением. Шли же вот так, с узелками, косцы... Музыкант... Блиошка... При чем тут поршень Джон-Дира?.. Провел, как перепела, на дудку...

Спотыкаясь о корни, он бросился к мельнице. Музыкант не спешил. Он шел, волоча по тропинке ивовый прутик. Зеленая дудка торчала под мышкой.

Он с любопытством взглянул на маленького запыхавшегося красноармейца.

— Стой!..— крикнул Корж.— Стой! Есть вопрос... Вот вы механик... А откуда у вас этот поршень?

— Не понимаю... То есть из склада.

— Я спрашиваю — из Сталинграда или из Харькова?

— Аттестуете?

— Нет... в порядке самообразования.

— Не знаю... Кажется, харьковский.

Корж облегченно вздохнул. Маленькие крепкие ноздри его раздулись и опустились... Веселые лучики разбежались по обветренному лицу. Он выпрямился, точно нашел точку опоры.

— А с каких это пор «ХТЗ» ходят с поршнями Джон-Дира? — спросил он почти весело.

— Цубо! — крикнул кореец и ударил пса в бок.

Рыжий отбежал на почтительное расстояние и горестно взвыл.

— Разрешите идти?

— Да... На заставу.

И они пошли. Через осинник, где орали дрозды, по зеленым мокрым хребтам «Семи братьев», мимо пади Кротовой, полной холода и грязного льда. Впереди изнемогающий от блох и любви к хозяину пес, за ним — кореец в полосатой футболке и, наконец, озабоченный Корж, застегнувший шинель на все четыре крючка.

Никогда еще Сато не видел таких странных городов, как Цинцзян. Весь, от крепостной стены до собачьей будки, он был слеплен из глины. Пулеметная очередь прошивала любую башню насквозь. И люди, создавшие эту смехотворную крепость, еще верили в ее силу, каждую весну строители замазывали трещины, пулевые дыры и восстанавливали отвалившиеся углы.

Впрочем, за пять месяцев жизни в Цинцзяне Сато еще не успел разглядеть город как следует. Солдатские сутки похожи на ранцы, в которых есть все, кроме свободного места.

С тех пор как переселенцы разместились на землях возле Цинцзяна, отряд не знал ни одного спокойного дня.

В окрестностях поселка жили прежде огородники-маньчжуры и десятка два семей «росскэ», принадлежавших к какой-то странной секте «стару-о-бряцци». Пришлось потратить немало времени, чтобы заставить их потесниться. Половина маньчжур, несмотря на приказ, запрещающий массовые передвижения по провинции, ушла в горы, к партизанам.

«Росскэ» вели себя совсем странно. Старики надели на себя длинные белые рубахи с черными крестами на груди и легли живыми в гробы. Они не хотели давать объяснения и отказались отвечать даже самому господину поручику, спросившему упрямцев на чистейшем русском языке: «Эй, казака! Циго вам хоцице?»

Солдаты лопались от смеха, когда бородачей, неподвижных, как сушеная камбала, вытряхивали из гробов на повозки и увозили на другие участки.

В конце концов такая возня надоела господину поручику. Он выбрал несколько наиболее упрямых стариков, плевавшихся при виде солдат, и велел их расстрелять, не вынимая из гробов.

После этого все быстро уладилось. Уцелевшие «росскэ» сами запрягли быков и ушли на юго-восток, демонстративно сняв с домов даже двери.

Вокруг Цинцзяна поднялась первая зелень, взращенная переселенцами, и солдаты вернулись к обычным занятиям.

Как отмечал господин лейтенант, просматривавший каждый четверг солдатские дневники, записи Сато стали значительно содержательней. Он усвоил уже две главы из брошюры «Дух императорской армии» и мог довольно связно пересказать статью Араки «Задачи Японии в эпоху Сиова». Когда солдаты затягивали любимую песню господина поручика «Блещут молнией сабли», голос старательного Сато заметно выделялся из хора.

Сато решительно отказался от дружбы с болтливым Мийко и развязным Тарада. Противно было слушать, когда эти сплетники начинали говорить о продажности министерства иностранных дел или тайком передразнивали господина фельдфебеля. Он дружил только с Кондо — молчаливым грузчиком из Мацуяма. Во-первых, Кондо был земляком, а во-вторых, считался первым силачом во всей роте.

Мечтая втайне о трех звездочках, Сато тщательно подражал поведению и привычкам рядовых первого разряда и ротного писаря Мито.

У щеголеватого табачника Кавамото он заимствовал замечательный способ замотки обмоток, у крепыша Таки — прекрасную точность поклонов и рапортов, у самого писаря — сразу три вещи: рассудительный тон, пренебрежение к «росскэ» и любовь к длинным цитатам.

Однажды, набравшись смелости, он попросил у Мито разрешения переписать некоторые выражения героев армии, которые писарь хранил в записной книжке. Господин писарь немного опешил. Он не был склонен делиться высокими мыслями с рядовыми второго разряда

— Лягушка не может видеть из колодца весь мир,— заметил он сухо.

Но голос Сато был так почтителен, а поклон так глубок, что писарь смягчился. К тому же у этого старательного, неловкого солдата был отличный почерк.

— Хорошо,— сказал Мито,— но сначала ты перепишешь провизионную ведомость.

Жизнь гарнизона не отличалась разнообразием. За все лето Сато отметил в дневнике только две заме-

чательные даты: день рождения господина поручика и прогулку в квартал веселых домов.

Для гарнизона прогулка эта была целым событием. Во-первых, шли через весь город без окриков ефрейторов, свободно глазея по сторонам, а во-вторых, каждый солдат хоть на час забыл о казарме.

Сато досталась очень славная девчонка О-Кику, перекочевавшая сюда из Цуруги вместе с переселенческой партией.

У нее была замечательно гладкая кожа, высокие брови и волосы, уложенные по китайской моде в золоченую сетку.

— Хорошо, когда приходят свои,— сказала она, помогая Сато расшнуровать ботинки.— С лавочниками не о чем говорить...

— Мы это прекратим,— пообещал Сато решительно.

Они недурно провели целый час, дурачась на постели и болтая всякую чепуху.

О-Кику оказалась почти землячкой Сато, дочерью лесоруба с Хоккайдо. Только в прошлом году ее продали в Цуругу за сто пятьдесят иен. О-Кику несколько раз назвала эту сумму. Видимо, высокая цена льстила ее женскому самолюбию.

Затем она показала малахитовый камень, предохраняющий от скверных болезней, и портрет русского бога, худого и бородатого, как айнос, с медным кружком над головой: девушка была христианкой. Ее отрывистый смех, насмешливые глаза и полная шея так вскружили голову Сато, что он, не споря, купил и арбузные семечки, и миндаль, и четыре кружки подогретого пива.

Захмелев, он стал ни с того ни с сего жаловаться на грубость ефрейтора Акита и его привычку вымогать у солдат папиросы. О-Кику слушала, покачивая тяжелой короной волос, видимо, далекая от всего, что ей рассказывал полупьяный солдат.

— Poor boy! [1] — сказала она машинально.

— ...Ему никогда не заработать и трех полосок [2],— бормотал Сато.

— Poor boy...— повторила она и зевнула.

---

[1] Бедный мальчик!

[2] Три полоски — погоны подпрапорщика.

За циновкой кто-то громко закашлялся. Сато вовремя спохватился. Он испуганно взглянул на О-Кику. Девушка спокойно дымила папиросой, равнодушная ко всему на свете. Ее равнодушие успокоило Сато, но на всякий случай он все же заметил:

— Однако это пустяки... Доблесть господина Акита заметна всей роте.

Сато не успел полностью исправить свою оплошность: по коридору, бесцеремонно отдергивая занавески, уже шел фельдфебель Огава.

Видимо, Сато тоже понравился девушке.

— Приходи еще,— попросила она.

— Когда буду фельдфебелем...

Из всех кабинок доносились довольный смех и остроты солдат.

Их выстроили и повели в казармы. Хвастовства и вранья после этого хватило на целый месяц.

Сато часто вспоминал О-Кику: ее смех и полную шею, насмешливые глаза, но вскоре более интересное событие вытеснило мысли о хорошенькой девчонке.

Кто-то из предприимчивых переселенцев открыл в городе кинотеатр. Низкий глиняный сарай, украшенный флагами, стоял как раз напротив плаца, где упражнялись солдаты.

Вечерами у входа в кино, под большим картонным плакатом, изображавшим японского кавалериста, стоял пожилой кацубэн[1] в канотье и кричал:

— Подвиг лейтенанта Гаяси! Японский офицер в лагере красных казаков! Секреты русских гаремов!

Господин поручик был недоволен соседством. Крики зазывалы перемешивались со свистками и словами команды, отвлекая внимание солдат. Несомненно, театр перенесли бы в другую часть города, если бы не патриотизм, своевременно проявленный владельцем сарая. Все господа офицеры получили приглашение посещать театр бесплатно. Кроме того, раз в неделю устраивался дополнительный сеанс для нижних чинов.

Сато достался билет на вторую серию знаменитого боевика «Хитрость лейтенанта Гаяси».

Он увидел все, что обещали плакаты: бой японской кавалерии с пехотинцами, и бегство казаков, и пожар на таинственном корабле адмирала Ивана Смируно-

[1] Кацубэн — лектор в кино.

ва. Правда, содержание картины из-за цензурных купюр осталось неясным, но Сато был в восторге и все время подталкивал локтем равнодушного Кондо. Чего стоил один вид горящего самолета или штыковой атаки десанта...

...Мужественный лейтенант Гаяси отбивал Ханаэ — дочь маньчжурского советника, похищенную во время прогулки отрядом казаков. Шесть похитителей, толстых, как монахи, наступали с пиками на Гаяси. Русские были свирепы и неуклюжи, лейтенант неуловим. Его сабля слепила противников.

В темноте слышался гибкий голос кацубэна, пересказывавшего содержание картины.

— Он был как молния! — пояснял рассказчик.— Русский — как дуб. Господин Гаяси знал, что за дверями его ждет Ханаэ...

Тотчас была показана Ханаэ с крупными слезами на напудренных щеках. Она играла на самисэне, а возле нее с бутылкой в руках плясал русский полковник.

Потом экран заполнили толпы растерянных бородатых людей, державших ружья как палки. Их было так много, что Сато испугался за участь роты Гаяси. С опаской поглядывал он на толстые ноги и разинутые рты атакующих.

Впрочем, тревога его быстро прошла. Показались самолеты, и через минуту трупы лежали гуще, чем рыба в засольных чанах...

— Лейтенант был ранен в руку,— пояснил кацубэн, увидев перевязанного Гаяси,— но лекарство и любовь прекрасной Ханаэ быстро залечили рану... Он вернулся в действующую армию в чине майора...

Обсуждая подвиг лейтенанта Гаяси, солдаты нехотя покидали кино.

— Говорят, что многие рядовые вернулись на острова фельдфебелями,— заметил Кондо.

— Осенью ожидаются новые назначения,— ответил в тон ему Сато.

— Значит...

— Это еще не известно...

И оба солдата расхохотались — так схожи были их мысли, навеянные кинокартиной.

Приближалась осень. После известного инцидента с листовками в 6-м полку и многочисленных арестов в других частях военное министерство ввело обязательные беседы с солдатами на злободневные темы.

В цинцзянском гарнизоне эти беседы проводил сам господин поручик. Вскоре после размещения отряда в казармах во всех солдатских тетрадях появились записи лекций: «Чем война обогащает крестьян», «Богатства Маньчжоу-Го завоеваны для народа».

Особенно интересной показалась Сато вторая беседа. Трудно было вообразить до разъяснений господина поручика, что эта пыльная, скучная земля таит столько богатств.

Медленно, точно диктуя, описывал Амакасу местные горы, где равнодушные, ленивые маньчжуры топчут ногами золото, медь, серебро. Он рассказывал о лесах северной полосы, таких глухих, что птицы позволяют брать себя руками; о пятнах нефти, найденных коммивояжерами вблизи Гунзяна; о южных районах, изнемогающих от избытка хлеба, проса, бобов.

Господин поручик назвал еще железо, асбест, серу, уголь, барий, цемент, тальк, магнезию, фосфориты, но Сато запомнил только одно — золото. Еще с детства он знал его непонятную силу. О золоте говорилось в сказках, которые читал в начальной школе учитель — господин Ямадзаки, во всех кинокартинах и приключенческих романах. О нем с одинаковой почтительностью отзывались и отец, и старый рыбник Нагано, и господин полицейский, и плетельщики корзин, привозившие с юга свой грошовый товар. Рыбаки, побывавшие на Карафуто, с таинственным видом показывали завернутые в бумажки тусклые крупинки металла. На них можно было купить все: рыбный участок, невод, дом, кавасаки[1] и даже благосклонность сельского писаря.

Вечером, сидя в клозете, солдаты обсуждали лекцию господина поручика.

— Х-хорошо, что мы не пустили в Маньчжоу-Го р-росскэ,— сказал заика Мияко.

— Чепуха! У них золота больше, чем здесь. Главное — земля.

— Посмотрим, что даст осень...

---

[1] Кавасаки — небольшая рыбацкая моторная лодка.

— Золото выгодней ячменя,— заметил Тарада.— Я бы согнал сюда каторжников со всех островов.

— А посевы?

— Пусть копаются маньчжуры...

— Колонизация невозможна без женщин...

— Было бы золото, б... найдутся,— заключил под общий хохот Тарада.

...После лекции господина поручика Сато, всегда отличавшийся на маршировках, стал ходить повесив голову. Мысль о золоте, валявшемся под ногами, не покидала солдата. Он стал присматриваться к блесткам кварца, пирита, стекла, встречавшимся на плацу. Когда рота выходила за город, Сато украдкой клал в карманы кусочки рыжеватого железняка и другие подозрительные камни.

Однажды во время тактических занятий он умудрился набрать в фуросики и незаметно пронести в казарму с десяток пригоршней желтой и, как ему казалось, особенно золотоносной земли.

Он посвятил в свою затею Кондо, и вскоре они вдвоем натаскали и спрятали возле клозета не меньше ведра драгоценной земли. Позже пришлось втянуть в это дело и повара, потому что для промывки золота обязательно нужен был тазик.

Они выбрали день стирки белья, когда часть роты отправилась с грязными тюками на ручей в двух милях от города.

Все было обдумано заранее. Сато выбрал себе самый отдаленный участок и, оставив белье мокнуть, наскоро соорудил из сосновой коры желобок. Ровно в двенадцать часов повар привез завтрак. Он роздал ячмень, передал Сато суконку и тазик и вернулся к повозке.

Кондо находился в наряде и участвовать в промывке не мог, но Сато был даже рад: блестевшая на земле кучка песка была слишком мала для троих.

Он расстелил суконку на дне желобка, насыпал землю и стал лить из тазика воду.

Вскоре ему показалось, что в кучке темного песка тускло светятся золотые крупинки... Он так увлекся работой, что не заметил, как ручей подхватил белье и унес его к камню, где сидел господин фельдфебель.

Поймав фундоси,[1] Огава стал за дерево и долго следил за манипуляциями солдата.

Наконец, хлесткий удар мокрой тряпкой оторвал Сато от дела. Полуголый солдат вскочил, бормоча извинения.

— Дайте сюда! — приказал Огава спокойно.

Сато протянул фельдфебелю пригоршню темного песка.

— Вы предприимчивы, но глупы,— сказал пренебрежительно Огава.

Он ударил по ладони, и драгоценный песок полетел в кусты.

— Оденьтесь и отправляйтесь к повозке.

Сато вымыл тазик и ушел, с досадой поглядывая на кусты. Повар, которому он показал пустые ладони, не поверил Сато.

— Дай! — сказал он, протянув руку.

Сато рассказал о встрече с фельдфебелем.

— Бака-дэс![2]— сказал повар озлясь; он сам захотел порыться в песке.

Ночью Сато долго не мог заснуть. Наказания одно ужаснее другого мерещились рядовому. Он видел то карцер, куда его вталкивает торжествующий Тарада, то ранец, набитый камнями, то бесстрастное лицо писаря Мито, приклеивавшего на доску приказ о расстреле.

Когда над головой Сато раздался картавый голос трубы, он вскочил и оделся быстрее других.

В этот день, впервые за все время службы, он получил выговор перед строем.

Против ожидания, осень оказалась дождливой. Тучи медленно тащились над сопками. Воздух, почва, умирающая листва, черная кора кленов — все было насыщено влагой. Запасные ботинки зацвели, белье отсырело.

Грязь на дорогах доходила до щиколотки. Хвосты лошадей, повозки, лица солдат, подсумки, стволы горных орудий — все было облеплено светлой жирной глиной.

Особенно трудно было подниматься на склоны гор. Усеянные мелкими острыми камнями, они сочились во-

---

[1] Фундоси — набедренная повязка.

[2] Бака-дэс — дурак.

дой. Нередко, сделав шаг вперед, солдат хватался руками за землю и съезжал вниз, оставляя на склоне царапины. Деревья и те плохо держались на таких сопках. Достаточно было небольшого шквала, чтобы они начинали падать, увлекая друг друга. Всюду видны были корни, облепленные мокрой землей.

Тренируя солдат к ночным боям, господин поручик распорядился выдать темные очки-консервы. Тот, кто надевал их, даже в полдень не мог различить соседа.

Крестьяне, приезжавшие в город из окрестных селений, с удивлением и страхом наблюдали за солдатами, крадущимися в высокой траве. Когда раздавался свисток ефрейтора, они вскакивали, бежали, вытянув руки, спотыкались, падали, снова бежали — старательные и неловкие, как молодые слепцы.

На занятиях участились несчастные случаи. Рядовой Умэра оступился в яму и сломал себе ногу. Ефрейтор Акита разбил очки о дерево. Кондо пропорол штыком плечо санитару Тояма. Однако господин поручик не прекращал тренировок. Ночи становились темнее и длиннее, а партизанские отряды смелее и настойчивее.

Осень не принесла успокоения, о котором мечтали газеты.

Урожай был обилен, но не многим удалось снять его полностью. Маньчжурские поселки, в которых всегда можно было нанять десятка два-три батраков, казались вымершими. Потеряв землю, мужчины ушли в горы сеять мак на тайных площадках, подстерегать автоколонны. В холодных фанзах можно было встретить только женщин, стариков и детей. Неизвестно, на что они надеялись, чем питались: котлы были пусты, в очагах лежал пепел.

Старческие лица детей, их огромные животы и прикрытые только кожей лопатки заставляли отворачиваться в смущении даже солдат. Но женщины не плакали. Они смотрели на пришельцев глазами, сухими от ненависти. У них отобрали ножи, топоры, даже серпы; их пальцы были слишком слабы, чтобы задушить солдат ночью. Но взгляды выдавали желание.

Однажды Сато слышал, как господин фельдфебель, выходя из фанзы, сказал:

— Лучше бы эти ведьмы ругались...

Все чаще и чаще вспыхивали пожары. Горели соломенные постройки, склады, посевы; иногда сами солдаты поджигали гаолян, чтобы выгнать повстанцев. Днем и ночью поля объезжали патрули...

Всю осень по просьбе переселенцев командование держало в поселках посты, но тревога не разряжалась. Никто из переселенцев не рисковал пройти ночью от одного поселка к другому. Жили без песен, без праздничных прогулок в поля. Даже возле Цинцзяна нельзя было шагу ступить, чтобы не натолкнуться на колючую проволоку.

— Когда они кончат играть в прятки? — спросил Мияко, шагавший сзади Сато.

Простодушный Кондо вздохнул.

— Я думаю, никогда...

— Глупости! — заметил Сато, усвоивший от господина фельдфебеля решительный тон.— Голод заставит их вернуться в поселки.

С видом превосходства он оглядел забрызганных грязью, усталых приятелей. Несмотря на сорокакилометровый переход, Сато чувствовал себя превосходно. Ему нравилось все: октябрьский холод, резкий голос трубы, шутки приятелей, ночевки в брошенных фанзах, где можно было украдкой порыться в тряпье. Все это было в несколько раз занимательнее, чем ползанье по грязи на брюхе или путешествие в темных очках.

Не все походы кончались удачно. Несколько ящиков, зашитых в просмоленную парусину, уже были отправлены на острова, но за свою жизнь Сато был спокоен. Еще в августе за пачку сигарет и шесть порций сакэ он выторговал у Мияко самое надежное заклинание, которое только можно было придумать. Оно действовало с одинаковой силой и против пулеметов и против гранат. Следовало только на бегу твердить про себя: «Хочу быть убитым... Хочу быть убитым...» Известно, что смерть всегда поступает вопреки человеческим просьбам.

...Полсотни стрелков шли к поселку Наньфу, где, по донесениям агентуры, уже несколько суток ночевал отряд партизан.

По обочинам дороги высокой бурой стеной стоял гаолян. Дул ветер, и стебли издавали монотонное дребезжанье.

Опасаясь хунхузов, господин поручик приказал поджечь гаолян. Пламя зашевелилось сразу в трех местах, сомкнулось, и светлая желтая полоска побежала вперед, тесня рыжую поросль. Дыма почти не было. Двое пулеметчиков легли на вершине сопки, но только фазаны, взмахивая короткими крыльями, выбегали на дорогу, спасаясь от огня.

Как и следовало ожидать, партизаны успели вовремя покинуть Наньфу. Они отравили мышьяком все шесть колодцев, оставив солдат без воды. Пришлось вскрыть резервную бочку, сопровождавшую отряд от самого Цинцзяна.

Поселок был мертв, только крысы и тощие псы жили в заброшенных фанзах. Всюду валялись груды сырого тряпья.

Люди устали, и господин поручик решил провести в Наньфу целые сутки. Полсотни здоровых чистоплотных парней быстро преобразили поселок. Нашлась и бумага для окон, и рисовый клей, и хворост для лежанок-печей.

После уборки Амакасу отдал приказ — прощупать все землянки и фанзы по соседству с Наньфу.

Посчастливилось только Мияко и Сато. На огородах, в одной из отдаленных землянок, они отыскали огородника. Это был пожилой крестьянин в холщовых штанах и соломенной шляпе. Он оказался достаточно опытным, чтобы не бежать при появлении солдат. На полу его землянки нашли две стреляные гильзы от винтовки Арисака, будто бы занесенные детьми.

Сато присутствовал на допросе. По приказанию господина Амакасу он поставил крестьянина на колени и, обнажив штык, отошел к двери.

Пленник стоял, опустив унылое темное лицо, и бормотал чепуху, которую господин поручик не считал нужным даже записывать.

Он имел наглость считать себя полуяпонцем и утверждать, что родился на острове Тайван от кореянки Киру и приказчика бакалейной лавки, какого-то господина Дзихеи. Поручик едва сдерживал смех, глядя на этого хитроватого и неповоротливого верзилу, по-



добострастно вытянувшего шею. Кто бы мог подумать, что огородник вырос на островах Ямато! Правда, он без всякого акцента говорил на южнояпонском диалекте, но господин поручик прекрасно знал эти штучки.

Чтобы не затягивать разговора, поручик сразу оборвал его:

— Довольно! Когда ты выехал из Владивостока?

Этот простой вопрос настолько смутил огородника, что он стал заикаться. Срывающимся от волнения голосом он начал объяснять, что приехал из Цуруги пятнадцать лет назад через Сеул и Владивостока не видел ни разу.

Он продолжал бормотать всякие глупости, в то время как поручик, скучая, рассматривал стоптанные, грязные улы[1] пленника. Большие узловатые ноги крестьянина навели Амакасу на счастливую мысль.

— Разуйтесь,— сказал он почти добродушно.

Еще не понимая, что нужно поручику, пленник покорно снял улы. Ноги его были гладки и кривы, но из этого вовсе не следовало, что родиной пленника был остров Тайван. Известно, что и на материке многие матери прибинтовывают детей к своей спине.

— Покажите пальцы!

Не ожидая ответа, поручик нагнулся и, схватив пленника за щиколотку, рванул ногу вверх. Опрокинутый на спину огородник с испугом наблюдал, как густые брови поручика ползли выше, к жесткому бобрику.

Сняв перчатку, Амакасу прощупал внутреннюю сторону большого и смежного с ним пальца. Поручик действовал наверняка. У каждого сына Ямато, носившего гета, на всю жизнь сохраняются твердые гладкие мозоли — следы креплений, пропущенных между пальцами.

Кожа огородника не имела мозолей.

— Ну? — спросил поручик насмешливо.

Лежа на спине с задранными ногами, пленник пробормотал что-то невнятное насчет пятнадцати лет, проведенных в Маньчжурии.

Кивком головы поручик подозвал Сато.

— У вас хороший почерк,— сказал он, отвернув-

---

[1] Улы — род китайской обуви.

шись от пленного.— Отыщите лист картона и напишите следующее...— Подумав, он медленно продиктовал: — «Этот человек — шпион, коммунист и обманщик...»

— Господин полковник, клянусь отцом и детьми...— сказал кореец голосом, обесцвеченным страхом.

— «...Погребение воспрещается...» Вы поняли?

— Понял! — бойко сказал Сато и с любопытством уставился на «шпиона».

Вся голова огородника была покрыта частыми выпуклыми каплями росы.

...Кондо штопал перчатки, когда Сато вошел в фанзу и расстелил на полу большой кусок желтого картона.

— Кто он? — спросил Кондо, кивая на окно.

Сато с восхищением сообщил приятелю о находчивости поручика, но, против ожидания, рассказ не произвел впечатления на простодушного Кондо.

— Значит, все, кто не носит гета, шпионы? — спросил он, перекусывая нитку.

— ...Но он действительно врет...

— А кто здесь не врет?

— Ну, знаешь...— заметил Сато, недовольный равнодушием приятеля.— Я повторяю: пальцы у него совершенно гладкие...

— Ты щупал?

— Бака! — сказал Сато, энергично растирая палочку туши.— Это видно по лицу господина поручика...

— Са-а...[1] Тогда почему ты не пошел в гадальщики?

Не отвечая, Сато начал выводить знак «человек». Желая блеснуть почерком, он старался вовсю. Это удавалось. Учитель каллиграфии, столько раз щелкавший Сато по пальцам своей короткой линейкой, был бы теперь доволен этими выразительными, энергичными знаками. Здесь были линии, похожие на обугленный бамбук и на следы комет, изящно округленные и короткие, жесткие, с рваными концами, точно у художника не хватало терпения вести плавно кисть. Даже Кондо залюбовался работой Сато.

— Это можно повесить на стену,— сказал он одобрительно.

---

[1] С а - а — вот как.

Следующим был весьма трудный знак: «шпион», который, как известно, состоит из двадцати девяти черт. Когда Сато, набрав тушь, медленно выводил изогнутую линию, за окном раздался выстрел. Кисть дрогнула, клякса расползлась на картоне, испортив прекрасный знак.

— Он толкнул тебя под руку,— заметил Кондо злорадно.

— Кто?

— Огородник... Значит, ты был неправ.

Сато с тревогой уставился на кляксу, медленно расползавшуюся по картону. Странно, что выстрел раздался, как раз когда он выводил знак «шпион».

За неряшливость Сато получил от господина поручика замечание. А когда солдат прикреплял позорную надпись к трупу, лежавшему на боку среди жесткой травы, ему показалось, что огородник злорадно улыбается.

В наказание за дерзость Сато с размаху ударил «шпиона» ботинком в лицо.

Глава восьмая

С тех пор как усталый и торжествующий Корж привел на заставу шпиона, прошел ровно год.

Были за это время события поважнее, чем сумасшедшая погоня за медведями.

...Летом возле колодца Корж задержал побирушку с чумными ампулами, запеченными в хлеб.

...Илька полезла за белкой в дупло и нашла пачку харбинских листовок.

...С помощью Рекса накрыли за работой подпольную радиостанцию.

...Выследили и забросали гранатами банду есаула Азарова.

Но стоило Белику высунуться из кухни во время обеда и показать куцый медвежий хвост, как обедающие разражались хохотом.

У всех в памяти была свежа карикатура на Коржа в отрядной газете, где медведь и боец были изображены на беговой дорожке дружно рвущими ленточку.

Сам Корж посмеивался, вспоминая полную шорохов ночь, сапоги с музыкой и зеленую дудочку тракториста. Разве пришло бы тогда в голову прощупать рыжего пса, бежавшего рядом с корейцем?

Старый Рекс, распутавший на своем веку сотни клубков, оказался внимательней бойца-первогодка. Прежде чем начальник успел задать трактористу вопрос, Рекс налетел на рыжего пса и стал трепать его за загривок. Он разорвал фальшивую рыжую шкуру и вытряхнул из нее фокстерьера, оравшего от страха, как поросенок в мешке.

Под шкурой нашли чертежи двух фортов и чистую голубую бумажку — настолько важную, что командир отделения, отвозивший находку в отряд, ехал в сопровождении трех стрелков.

Все это было так неожиданно, что даже Нугис, рассерженный нелепой стрельбой по медведям, смягчился и, подойдя к первогодку, спросил:

— Это что же, случайность?

— Не знаю...

— Ты подозревал?

— Догадывался.

— По каким признакам?

— По глазам! — сказал Корж смеясь.— У блудливых они всегда в стороны смотрят.

...Многое изменилось на заставе с тех пор, как Белик прибил над кроватью Ильки шкуру черного медведя.

Ушли в долгосрочный отпуск старослужащие бойцы Гайчук и Уваров, из отряда привезли библиотеку и четыре дегтяревских пулемета. Вдоль границы, от солонцов до поворотного знака, прорубили десятиметровую просеку. В мартовский вечер у этой просеки банда Недзвецкого подкараулила Дубаха и пыталась увезти его живым за границу. Затея стоила жизни двум закордонным казакам. Но и начальник еле выбрался из тайги. Целое лето залечивал он перебитую пулей ключицу, кости срослись плохо, узлом, и Дубах еще больше сутулился.

...За год Корж мало в чем изменился. Все так же весело было озорное лицо и беспокойны крапленные

веснушками пальцы. В строю он всегда стоял левофланговым — маленький, похожий скорее на воспитанника музыкантской команды, чем на бойца-пулеметчика. Только сосредоточенный взгляд, точность речи да исцарапанные сучьями темные руки говорили о трудной школе, пройденной первогодком.

Прошло лето, беспокойное, душное. Все чаще и чаще радио сообщало о перестрелках у Турьего рога и выкопанных японцами пограничных столбах.

В августе грянул дождь. Девять суток, напарываясь на сосны, беспрерывно шли низкие тучи. Сухая, рассеченная трещинами земля, листья деревьев, измученная июльским зноем трава, тарбаганьи норы, распадки, реки, колодцы жадно впитывали крупные теплые капли...

Солнце прорезывалось изредка, багровое от носившейся в воздухе влаги. Птицы и пчелы умолкли. В полях, засев в грязь по диффер, стояли сотни машин, и шоферы в ожидании тягачей отсыпались в кабинах.

На заставе, к великой радости бойцов, застряла кинопередвижка. Каждый день в спальне завешивали окна, и по экрану то перекатывались балтийские волны, то мчалась тачанка с Чапаевым, то под гудение гармоники неслись самолеты.

Это было единственной неожиданностью в размеренной жизни заставы. Дождь и бураны, жара и морозы влияли только на градусник и барометр. По выражению Дубаха, природа имела на границе только совещательный голос.

По-прежнему по утрам стучал о доску мелок и начальник терпеливо объяснял первогодкам, что такое баллистика, сколько раз в минуту дышит конь и почему водяное охлаждение надежней воздушного.

На полигоне под проливным дождем стрекотали дегтяревские пулеметы.

Пар валил из сушилки, где рядами висели сапоги и одежда, и нередко, накинув теплый, еще пахнущий дымом плащ, прямо с половины киносеанса уходили бойцы в дождь, в осеннюю темень.

Тучи продолжали идти. Всюду были слышны монотонный шум ливня, сытое бормотанье ручьев. Целые озера, превращенные в капли, обрушивались на сопки и исчезали неведомо где.

Наконец земля пресытилась. Вздулись и потемнели реки. Там, где вчера бойцы перебирались посуху, с камня на камень, вода сбивала коней.

Пачихеза неслась, усеянная желтой пеной, вся в урчащих ненасытных воронках. В ее кофейной воде кувыркались бревна, плетни, бурелом. Все чаще и чаще стали встречаться бойцам разметанные стога, соломенные крыши и целые срубы. С островов бежало и тонуло зверье.

Ночью с того берега приплыл на бревне человек. Был он рослый, голый и, судя по неторопливым движениям, обстоятельный человек. Выйдя на берег, он растер онемевшие в воде икры, вынул из ушей вату и стал приседать и размахивать руками, силясь согреться.

Дождь барабанил голому по спине; пловец поеживался и вполголоса поминал матерком студеную Пачихезу.

Он так долго размахивал руками, что Рекс, лежавший за камнем, не выдержал. Он вздохнул и ткнул влажным носом Нугиса в бок.

— Фу-у...— произнес Нугис одними губами.

Рекс нервно зевнул. Его раздражали смутная белизна голого тела, резкие движения незнакомого человека. Он ждал короткого, как выстрел, слова «фас!» — приказа догнать, вскочить бегущему на спину, опрокинуть.

Но хозяин молчал. Накрытый брезентовым капюшоном, он с вечера лежал здесь, неподвижный, похожий на один из обточенных Пачихезой камней. Рядом с Нугисом в кустах тальника сидел на корточках Корж, а немного поодаль красноармеец Зимин устанавливал сошки дегтяревского пулемета.

Плащи, гимнастерки, белье — все было мокро. Струйки воды катились по спинам бойцов. Временами, изловчившись, ветер забрасывал под козырьки фуражек целые пригоршни холодной воды. Бойцы даже не пытались вытирать лица. Шестой час не отрываясь следили они за Пачихезой.

Было известно: ожидается москитная банда.

Было приказано: взять живой.

...Голый отошел к камням и сел возле Коржа. Это был пожилой человек с сильной шеей и покатыми плечами. На кистях рук и щиколотках пловца темнели шнурки — старое солдатское средство против судороги в холодной реке. Корж слышал его дыхание, ускоренное борьбой с Пачихезой, видел мокрую спину и крутые бока. В воздухе, очищенном ливнем, отчетливой струей растекался запах махорки и старого перегара. Нарушитель сидел так близко, что, протянув руку, Корж мог бы достать до его плеча.

Отдышавшись, голый сложил ладони рупором и крикнул, подражая жестяному голосу петуха-фазана.

Берег молчал. В темноте слышны были только ровный шум дождя и ворчанье реки.

Пловец крикнул громче.

Рекс толкнул хозяина носом. Он приложил уши и подобрался для прыжка. Кожа на щипце овчарки сморщилась, блеснули клыки.

Не оборачиваясь, Нугис положил на голову пса тяжелую ладонь, и Рекс стих и вытянул лапы, только собачьи глаза стали еще зеленее и глубже да хвост вздрагивал в мокрой траве.

...Сдерживая дыхание, трое бойцов ждали ответа. Наконец, с того берега, из высоких зарослей тальника, донесся еле слышный звук жестяной дудочки. Петуху-фазану отвечала подруга.

Крик повторился на середине реки, и вскоре среди желтой пены и сучьев стал виден плот, пересекавший наискось реку.

Голый выпрямился и рассмеялся почти беззвучно. Огромное облегчение, нетерпение, торжество слышались в сдавленном смехе пловца. Он набрал воздуху, чтобы крикнуть еще раз. Но чья-то жесткая ладонь закрыла голому рот.

— Застрелю! — сказал шепотом Корж.

— Спокойно! — посоветовал Нугис.

Вместо ответа голый укусил Коржу ладонь. Он жестоко сопротивлялся, мычал, отбивался коленями и локтями, норовя попасть противнику в пах, и успел несколько раз отрывисто вскрикнуть, прежде чем ему забили рот кляпом и надели браслет.

— Это зачтется,— заметил шепотом Корж и замотал платком искусанную ладонь.

Он подошел ближе к воде и крикнул, подражая фазану. С середины реки тотчас тихо ответила птица.

Покачиваясь, плот медленно пересекал фарватер Пачихезы. Поскрипывали связанные из ивы уключины. Кто-то греб по-матросски, рывками, ловко стряхивая воду с весла.

Теперь плот шел почти параллельно берегу, отбиваемый воронками и сильным течением. Вслед за ним, перескакивая с голыша на голыш, бежали бойцы.

Возле связанного разведчика, жарко дыша ему в лицо, сидел Рекс.

Пограничники и плот двигались к одной, еще неизвестной точке. Она лежала далеко впереди, на пустынном и мокром берегу Пачихезы.

Плащ гремел, бил намокшими полами по ногам. Корж сорвал его на бегу. Цепляясь за мокрые сучья, он вскарабкался на сопку, подступившую вплотную к реке, скатился по скользкой траве и очутился у заводи, отгороженной от реки каменистым мыском.

Нугис прибежал минутой позже, тяжеловесный, спокойный, и сразу лег за мыском прямо в воду. Несмотря на огромный рост, он обладал замечательным свойством быть невидимым всюду.

Плот уже подходил к самому берегу, когда гребец вдруг сильно затабанил веслами и тихо спросил:

— Костя, ты?

Корж не ответил. Стоя в кустах, он расстегнул кобуру и вынул наган.

На плоту зашептались.

С шумом ухнул в воду подмытый рекой пласт земли. Зимин спускался с горы, гремя камнями.

— Тьфу, лешман! — сказал с досадой гребец. Он подумал и стал отводить плот от берега.

— Стой! — крикнул Корж.

Трое сидевших на плоту вскочили и разом уперлись в отмель шестами. Раздалась громкая ругань.

— Назад!

— Держи чалку! — ответил гребец.

Он приподнялся и сильно взмахнул рукой. Корж растянулся за камнем. Метнулось короткое неяркое пламя. Осколки гранаты загремели по голышам.

— Наверное, «мильс»,— сказал Нугис спокойно и, положив наган на сгиб левой руки, выстрелил в гребца.

Пуля высекла из воды длинную искру. Гребец засмеялся и, сильно работая веслом, повел плот к серединной струе.

Корж плюхнулся на камни и сорвал сапоги. Портянки отлетели сами при первых шагах.

— Заходим с разных сторон! — крикнул он Нугису и сразу с головой ушел в воду.

— Огонь? — спросил, подбегая, Зимин.

— Обождать. Следи за плотом. Дам сигнал.

Нугис свистнул.

— Рекс, сюда!

Из-за сопки донесся отрывистый лай. Не дожидаясь собаки, Нугис взял наган зубами за скобу и бросился в реку.

Корж плыл саженками, гулко хлопая ладонями по воде. Он не чувствовал ни холода, ни вздувшейся пузырями одежды. Плыть было легко: вода возле берега казалась упругой и плотной; при каждом ударе ноги сама река выбрасывала пловца до пояса.

Расстояние между нарушителями и бойцом сокращалось. Маленькие злые волны теснились вокруг Коржа, толкая пловца в грудь, швыряясь клочьями грязной пены. Временами из воды вдруг высовывались голые сучья или ладонь загребала пук отяжелевшей травы. Корж плыл не оглядываясь. Он слышал пыхтенье проводника, знал, что Нугис плывет следом — тяжелый, настойчивый и надежный.

Сильная струя завертела Коржа на месте. Он пробовал сопротивляться ее мягкой и властной настойчивости и вдруг почувствовал, что река сильнее его. Огромные воронки заглатывали сучья, пену, торчмя опускали на дно небольшие валежины. Одна из воронок двинулась к Коржу. Он рванулся в сторону, но руки уже не подчинялись пловцу. Мутная вода кипела вокруг Коржа; всюду вспучивались и рассыпались пузырями бугры.

Воронка поставила тело пловца почти вертикально. Несколько секунд боец крутился на месте, силясь стряхнуть с ног страшную тяжесть. Потом он увидел рядом с собой напряженное лицо Нугиса, ветку с чер-

ными листьями, обломок доски... Он вспомнил чей-то старый совет — не сопротивляться воронкам, поднял над головой руки, и сразу ровный томительный звон в ушах напомнил Коржу о глубине.

Струя протащила его по камням и выбросила на поверхность метрах в десяти от плота — оглушенного, исцарапанного, но упрямо размахивающего руками.

— Врешь! — крикнул Корж, чтобы ободрить себя.

Сквозь косую сетку дождя он видел небольшой плот, борозду от правила и силуэты застывших напряженно людей. Гребли двое. Что было сил налегали они на короткие весла, но бревна глубоко сидели в воде. Плот двигался чуть быстрее течения.

Видя, что пловец нагоняет гребцов, человек, сидевший у правила, поднялся. Был он массивен, высок и глядел на запыхавшегося Коржа сверху вниз.

— Эй, мосол! — сказал рулевой негромко.— Дай без крови уйти.— И он вытянул навстречу бойцу непомерно длинную руку.

— Брось оружие! — ответил Корж, задыхаясь.

— Эй... отстань... Окалечу.

Вместо ответа Корж повернулся на бок и пошел овер-армом [1].

— Прощай, мосол,— сказал рулевой отчетливо, и на миг вспышка осветила его худое лицо.

Возле плеча Коржа взметнулись два невысоких фонтанчика. Он поспешно нырнул. Маузер так долго плевался в воду, что у Коржа еле хватило дыхания. Когда он снова поднял голову, Нугис уже обходил плот с другой стороны. Проводник шел брассом, и плечи его погружались и всплывали с удивительной равномерностью. Возле проводника, точно два косых паруса, торчали из воды уши Рекса. Ветер кидал пену в собачьи ноздри. Рекс взвизгивал от нетерпения и жался к хозяину.

— Фас! — сказал Нугис, и овчарка сразу вырвалась вперед, догнала плот и рывком вскочила на скользкие бревна.

Кто-то испуганно вскрикнул. Рычанье Рекса смешалось с разноголосой руганью.

Рулевой обернулся и разрядил в овчарку половину обоймы. Сквозь стиснутые зубы Нугиса вырвался

---

[1] Овер-арм — способ плавания на боку.

стон; он затряс головой, точно пули вошли в его тело. Страшно было слышать проводнику затихающий голос овчарки, видеть, как бандитня добивает друга шестами. Он опустил голову ниже к воде и стал выгребать с такой силой, что от его плеч потянулись по воде две ровные складки.

— Дотявкалась,— сказал рулевой.— Кто следующий?

— Ты!

Почти не целясь, рулевой выстрелил в подплывавшего к плоту Коржа.

— Огонь! — крикнул Нугис.

Течение несло их мимо каменистого крутояра. Эхо подхватило звук выстрела, превратив его в долгую пулеметную очередь. Одновременно гулкой струей выскочил из темноты желтый огонь.

Пулеметчик Зимин, опередивший плывущих, нащупывал плот. Он бил почти наугад, ориентируясь по силуэтам и вспышкам.

Ругань умолкла. Были слышны только шум дождя и томительно близкий визг пуль...

Медленно светлела рябая от ветра река. Дождь стих, но тучи еще толпились в горах, отдаляя время рассвета.

Рекс лежал на плоту, длинный и плоский. Лапа его провалилась в щель между бревнами, вода облизывала окрававленный бок. Возле овчарки, погрузив руки в мокрую, еще теплую шерсть, сидел на корточках Нугис. Пристальными светлыми глазами он следил за движениями гребцов, нехотя макавших весла в кофейную воду. Один из них, не выдержав тяжести взгляда, отвернулся...

— Бравый был пес,— сказал он соседу.

— Молчи,— посоветовал Нугис.

Постепенно из темноты стали выступать серые лица гребцов. Третий бандит лежал ничком на мокрых бревнах, и маленький босой Корж заботливо прикрывал соломой индукторный аппарат.

Нарушители молчали. То был пестрый, непонятный народ в стеганых ватниках, ичигах и отслуживших табельный срок военных фуражках. На советской

земле любой из них сошел бы за красноармейца-отпускника. Впрочем, старичок в замасленном плаще, лежавший на краю плота, был вылитый стрелочник.

Даже медный рожок и флажки торчали из порыжелого голенища. Только вместо пояска подпоясался «стрелочник» бикфордовым шнуром.

Когда Корж повернул старикашку на спину и стал разматывать шнур, нарушитель тихо шепнул:

— Может, сговоримся, служилый?

— Может, и так...

— В советских возьмешь?

— Все возьмем,— сказал Корж одобряюще.— В отряде сторгуемся...— И он уложил старикашку на бревна вниз бородой.

Глава девятая

В хате птичницы Пилипенко готовились к празднику. Выстлали сени соломой первого обмолота, повесили свежие рушники. Мятою, чебрецом, опаленными морозом виноградными листьями убрали углы.

Хозяйка расщедрилась: вынула плахты, старинные, заветные, которые вешала только трижды в год: на Октябрь, сочельник и пасху. Их голубой шелк напомнил старухам о Днепре. Не сговариваясь, разом затянули песню, завезенную на Восток еще дедами.

Давно сносились свитки, шитые шелком сорочки, сбились чеботы, рассыпались, растерялись девичьи мониста. Молодежь уже не помнила, где Нежин, где Миргород, где Полтава. Только старики, собираясь по вечерам, как далекий сон, вспоминали полтавские вишенники, азовские лиманы, океанские пароходы, груженные арбами и волами. А все же то был клочок живой Украины. И мягкий говор, и песни, и степная неяркая красота женщин, и цветистые рушники, и упрямство хлопцев, и высокие арбы, и мышастые волы — все напоминало о прошлом. Кущевка считалась украинским селом.

Пограничный колхоз имени Семена Буденного ждал гостей. То была старая традиция — отмечать первый обмолот конскими скачками, кострами, полу-

ночными песнями в затихающем поле, крепкой выпивкой в каждой избе. Всюду трещала в печах солома, ворчало сало, дым столбами подпирал вечернее небо.

Сидя на корточках, Пилипенко расписывала печь. Возле птичницы стояли глечики с красками. Были тут выварки из лука, конского щавеля, гвоздики, ольховой коры, чебреца, листьев гарбуза — краски всех цветов, живучие, горластые, как сама хозяйка.

Мягким квачиком, птичьим крылом, расписывала художница печь. Во всем селе не было хозяйки опрятней и домовитей, чем эта высоченная, сухая, как будяк осенью, женщина. Паром дышала печь, и на ее светлеющих боках выступали цветы, один затейливей и горячей другого.

Шесть колхозниц лепили на дворе пельмени. Уже закипала в котле вода, уже стояли на столах ведра, полные холодного пива, кувшины с варенцом и сметаной, миски с медвежатиной, жареной рыбой, холодцом, баклажанами, маринованной вишней, тертой редькой, взваром, липовым медом. Прикрытые рушниками, вздыхали на лавках пироги, начиненные грушами, сливами, голубицей, грибами, дикими яблоками — всем, что принесла к осени богатая уссурийская земля. А гостей все еще не было.

На выгоне, где двумя шпалерами стояло все село, сверкали клинки. Шла джигитовка. Немало конников-пограничников приехало в гости к кущевцам. Был тут Дубах с двумя молодыми бойцами — все выскобленные досиня, в свежих гимнастерках и в сапогах, исцарапанных сучьями. Только зубы да глаза светились на их обветренных лицах. Были еще комендант участка, толстый мадьяр Ремб, и снайпер-пулеметчик Зимин, и знаменитые братья Айтаковы, лучшие джигиты отряда, и другие командиры, приехавшие на праздник с соседних застав.

Даже старики, помнящие лихую рубку кубанцев, залюбовались чистой работой Айтаковых. На полном галопе один командир перелез на лошадь другого, стал на плечи брату, а крепкий старый дончак как ни в чем не бывало брал «клавиши», «плетни», «гроба» и «вертушки».

Потом, держа железную палку, проскакали двое парней из уссурийских казаков, а третий крутился меж коней колесом. Потом «свечкой», стоя на седле вниз головой, проехал один из бойцов, прибывших с Дубахом.

Люди собирались уже расходиться, но вдруг на краю выгона показался рыжий конек. Был он без всадника — только широкое седло блестело на солнце — и летел, распластавшись, прямо на лозы. Не успели люди завернуть коня, как из-под брюха вынырнул всадник — маленький, цепкий, с озорным лицом деревенского парня и белым цветком за оттопыренным ухом.

Он круто завернул коня и стал у контрольной черты.

— Пошел! — крикнул Дубах.

С места в галоп поднял всадник коня. Он бросил повод, два клинка блеснули в руках.

Веселую усмешку разом сдунуло с губ бойца. Грозно стало молодое лицо. Он приподнялся на стременах. Два клинка чертили в воздухе быстрые полукруги. Кажется, всадник еще примерялся, в какую сторону обрушить удар, но лозы, не вздрогнув, уже вертикально оседали на землю. Сверкающие капли скатывались к рукояти. То были взмахи неощутимой легкости, быстрые, как укусы.

Председатель колхоза, бывший партизанский вожак Семен Баковецкий, хромой старичок с голубыми глазами, стоял возле Дубаха. Вытянув шею, он беззвучно шевелил губами, точно завороженный сабельной мельницей.

— Чей это? — спросил он, когда последний прут торчмя ударился оземь.

Дубах подбоченился.

— А что, разве по удару не видно?

— Догадываюсь.

— То-то,— сказал Дубах и зашевелил усами, пряча улыбку.

А маленький всадник тем временем показывал новые чудеса. Он наклонился к шее коня, шепнул что-то в сторожкое ухо, и сразу, повинуясь голосу и железным коленям, конь стал клониться, упал на бок и замер. Конник распластался за ним на земле. Только край фуражки да белый цветок были видны с дороги.

Через секунду боец снова очутился в седле. Будто случайно, выронил он из кармана платок, обернулся, разогнал коня и, изловчившись, достал белый комочек зубами.

— Товарищ Корж,— сказал Дубах, когда лихой наездник спешился в группе бойцов,— старики хотят знать, какой вы станицы.

— Разрешите отрапортовать?

— Только без фокусов.

Но Корж, здороваясь с Баковецким, уже сыпал скороговоркой:

— Казак вятской, из семьи хватской, станицы Пермяцкой. Сын тамбовского атамана, отставной есаул войска калужского!

Баковецкий схватился за уши.

— Э... да он еще и пулеметчик! — закричал он смеясь.

Перебрасываясь шутками, кавалькада потянулась к Кущевке.

Наступал вечер, холодный, пунцовый,— один из тех октябрьских вечеров, когда особенно заметна величавая и безнадежная красота осени.

Все было желто, чисто, спокойно кругом. Березы и клены покорно сбросили листья. Только дубы еще отсвечивали ржавчиной — ждали первого снега. Ледяными, мачехиными глазами смотрела из колдобин вода. Запоздалый гусь летел низко над лесом, ободряя себя коротким гагаканьем.

Всадники ехали шагом. И с боков и за ними тучей шли кущевцы. Бежали мальчишки. Неторопливо вышагивали старики в высоких старинных картузах. Щеголи в кубанках, посаженных на затылок, шли по обочинам, чтобы не запылить сапог. Взявшись за руки, с визгом семенили дивчата, а на пятки им наезжали велосипедисты. То был веселый, крепкий народ, сыны и правнуки тех, кто огнем и топором расчистил тайгу.

Не в обычае кущевцев было шагать молча, если само поле, чистое, открытое ветру, просило песню.

И песня зародилась. Чей-то сипловатый, но гибкий голос вдруг поднялся над толпой. Несколько мгновений один он выбивался из общего гомона. Но незаметно стали вплетаться в песню другие, более креп-

кие голоса. Песня зрела, увлекая за собой и свежие девичьи голоса, и молодые баски, и стариковское дребезжанье. Широкая, как река, она разлилась на три рукава. Каждый из них вился по-своему, но в дружбе с другими. Громко обсуждали свою долю беспокойные тенора, примиряюще гудели басы, светлой родниковой водой вливались в песню женские голоса.

И вдруг все стихло. Один запевала, все тот же сипловатый верный тенорок, нес песню дальше, над полем, над посветлевшей рекой. Уже слабел, падал, не долетев до берега, голос... Тогда сразу всей грудью грянул тысячный хор, и сразу стало в поле веселей и теплей.

Вошли в село. Не сразу гости дошли до двора птичницы. Нужно было показать товарищам командирам и племенного быка швицкой породы, и овец рамбулье, и хряков в деревянных ошейниках, и стригунков армейского фонда. Хотели было осмотреть заодно знаменитое гусиное стадо Пилипенко, но при свечах видны были только сотни разинутых клювов да желтые злые глаза.

В этот вечер Пилипенко пришлось занимать стол у соседей. Кроме пограничников, в хату набилось много званого и незваного народа.

Пришел и сразу стал мешать стряпухам Баковецкий. Пришел старший конюх и главный говорун дедка Гарбуз, приехали на велосипедах почтарь Молодик с приятелями, примчался на собственном «газике», насажав полную машину дивчат, знаменитый черноченский тракторист Максимюк, пришла новая учительница, веснушчатая семнадцатилетняя дивчина, робеющая в такой шумной компании. Заглянул на пельмени художник Чигирик, писавший в местных краях этюды к картине «Жнитва», и много других. Последним явился шестидесятилетний кузнец и охотник Чжан Шу с внучкой Лиу на плечах.

На лавке возле печи сидели дивчата.

— Ось дочка,— сказала Пилипенко начальнику.— Мабуть, визьмете в пидчаски? Та поздоровайся, Гапко.

Все с любопытством посмотрели на скамью, где Гапка делилась с подругами серною жвачкой. Девка

была славная, коротенькая, крепкая, как грибок. Она сердито взглянула на Пилипенко и выбежала, стуча маленькими тугими пятками.

— У-у, дика̀я! — сказала мать с гордостью.

Зажгли лампы, и все сели за стол, не без спора поделив между собой командиров. Зашумели разговоры. Со всех углов посыпались тосты за боевых пограничников, за наркома, за хозяйку.

Коржу не сиделось на месте. Он был из той славной породы людей, без которых гармонь не играет, пиво не бродит и дивчата не смеются. Едва успев одолеть миску пельменей, он выскочил во двор помогать стряпухам. Вслед за ним отправились братья Айтаковы, пулеметчик Зимин и молодежь из кущевцев. Не прошло и минуты, как оттуда донеслись хлопанье ладоней и дробный треск каблуков. А когда стали обносить гостей снова и Пилипенко вышла во двор собирать ушедших, к бойцам уже нельзя было подступиться.

Окруженные хохочущей толпой, на скамейке стояли пулеметчик Зимин и Корж.

Отрывисто покрикивала гармонь, и огромный Зимин, нагнувшись к Коржу, гудел:

Говорят, что под сосною
Засвистали раки...

Удивленно ахала гармонь, но Корж отвечал, не шевельнув даже бровью:

Собирался раз весною
Взять Сибирь Араки.

Подавился пес мочалой,
Околел в воротах.
Не слыхали вы случайно,
Где теперь Хирота?

И вдруг Корж опустил руки. Гармонь вздохнула совсем по-человечески жалобно.

— Дальше, дальше! — кричали стоявшие во дворе и за плетнем.

— Рифма не позволяет.

— Ну, годи! — объявила Пилипенко и, бесцеремонно растолкав круг, увела певцов в хату.

Между тем ведра пустели. Разговор становился всеобщим. Со всех сторон полетели резкие замечания

о японцах. Не было в хате кущевца, у которого интервенты не изрубили, не спустили бы под лед близкого человека.

Горячилась молодежь, но и старики подбрасывали в печку солому. Под сединой, точно под пеплом, жарко светилась ненависть к японскому войску.

Вспомнили николаевскую баню, и приказы Ой-оя[1], и любимую партизанскую тему — японских часовых, укутанных в десять одежек,— и перешли, наконец, к последним событиям.

Держался упорный слух, что в Монгольской Народной Республике нашел могилу целый японский полк, и, хотя точно еще ничего не было известно, каждый спешил высказать свое мнение о бое.

— Кажуть, пятьдесят самолетов було,— сказал дедка Гарбуз,— таке крошево зробыли. Де ахвицер, де кобылячья с...

— Яки кони? То ж була автоколонна.

— Нехай даже танки.

— Расчет у них был такой: перерезать путь на Кяхту, разрубить Чуйский тракт, а затем...

— А кажуть, их монгольские конники порубали.

— ...затем, обеспечив левый фланг, идти к Забайкалью. Помните меморандум Танаки?

— Нехай идуть... Куропаткиных нету!

— Боже ж мий,— сказала птичница громко,— дали б мини якого-небудь манесенького ахвицера!..

И она посмотрела на свои жилистые, темные руки.

Кто-то заметил:

— Тогда уж лучше Быстрых...

Все оглянулись на однорукого молчаливого казака, стоявшего возле печи. Страшна была судьба этого человека. На его глазах сожгли брата, изнасиловали беременную жену. Лютые муки придумали японцы для пленника. На канате протаскивали из проруби в прорубь, лили в ноздри мочу, срезав кожу на пальцах, опускали руки в серную кислоту. Только выдубленный непогодой таежник мог сохранить силу и память после этих неслыханных мук.

Услышав свое имя, он улыбнулся, блеснув золотыми зубами, но ничего не сказал.

---

[1] Ой-ой — имя генерала, командовавшего японскими войсками во время интервенции на Дальнем Востоке.

— Вин немый,— шепнула Гапка Коржу.

— Чудной японцы народ,— сказал подвыпивший дедка Гарбуз.— Детей любять, работники гарны, а характер самый насекомый, жестокий. Кажуть, харакери, харакери... А що воно таке? Чи демонстрация духа, чи що?

— Дикость!

— Ни, ни то.

— Дисциплина!

— Расстройство рассудка!

— Самурайская гордость!

Каждый спешил высказать свое мнение. Помалкивал только Чжан Шу. Для кузнеца согрели в жестяном жбане пива, поджарили арбузных семечек. Старик сидел среди кущевцев в распахнутой синей куртке, взмокший, довольный. Маленькая Лиу заснула у него на коленях.

Наконец, гости услышали кашель и тоненький смех старика.

— Прошлый зима,— сказал он медленно,— моя ловил один лиска капкан. Лиска думал всю ночь, потом говори: ладно, прощай, нога! Отгрыз и ушел... Это тоже есть самурай?

Все засмеялись.

— Ну, такое харакири мы тоже раз делали,— заметил Баковецкий.— Было нас четверо: Антонов Федя, я, Седых-младший и еще один чуваш, Андрейкой звали. Мы в отряде Сметанина с орудийной бочкой ездили.

— Бочкой?

— Да. Федя патент взял. В каждом днище по дыре. В одну из карабина холостым бьешь, в другую газы выходят, а звук... ей-богу, как гаубица! Наша бочка у Семенова в сводках за батарею ходила... Однажды насаживали в Черниговке новые обручи, вдруг — га-га-га! Белые вдоль села из четырех «люисов». Мы в огороды — та же история. Прибежали в избу — стали отстреливаться, а уговор был старый: все патроны — семеновцам, себе — по одному. Все равно кишки на телефонную катушку намотают... Вскоре отстрелялись, стали прощаться... Да... Вдруг наш чуваш побледнел: «Братушки, как же, патрон-то я вытряхнул!» А в дверь уже ломятся. Спасибо Федя сообразил. «Что

ж, говорит, сядем к столу, будем полдничать». Вынул гранату, снял кольцо и положил между нами. Вот так, как глечик стоит.

Рассказчик полез в печку за угольком. Все ждали конца истории. Но Баковецкий раскурил трубку и замолчал.

— А що? Граната испортилась?

— Ну, как сказать,— ответил рассказчик медленно.— Про то из всех четверых у одного меня можно спросить.

— Ни, це не то... Нехай товарищ начальник разъяснит харакери.

— Хорошо,— согласился Дубах. И вдруг, обернувшись к Гарбузу, быстро спросил: — Что легче свалить — столб или дерево?

— Столб,— сказали кущевцы.

— Вот именно... Столб не имеет корней. Так вот, японский патриотизм особого качества. Он не выращен, а вкопан в землю насильно, как столб. Не знаю, как объясняет наука, а нам кажется — в основе харакири лежит страх: перед отцом, перед школьным учителем, перед богом, перед последним ефрейтором...

Баковецкому передали записку. Он быстро прочел ее и вышел на улицу.

— Смешно подумать,— сказал Дубах, поднимаясь из-за стола,— чтобы кто-либо из нас, попав в беду, вскрыл себе пузо. Это ли геройство?

— Та ни боже ж мий! — воскликнул Гарбуз.— Нет у меня самурайского воспитания!

— А ну их в болото! — сказал из дверей Баковецкий и, отведя Дубаха в сторону, что-то шепнул.

— Где?

— В бане у Игната Закорко.

Они вышли во двор и огородами прошли к темной хате, стоявшей на самом краю села.

Хозяин ждал их возле калитки.

— Здесь,— сказал он и распахнул дверь маленькой баньки.

На скамье, свесив голову, сидел человек в солдатской рубахе. Увидев начальника, он вскочил и вытянул руки по швам.

—Заарестуйте его,— сказал поспешно хозяин.— То мой брат.

Начальник не удивился. В приграничных колхозах такие случаи были в порядке вещей.

— Закордонник?

— Ей-богу, я тут ни при чем. Скажи, Степан, я тебя звал?

— Нет,— сказал Степан,— не звал.

— Вот видите!.. Чего ж ты стоишь, чертов блазень! Кажись...

Степан вздохнул и, повернувшись к начальнику спиной, поднял рубаху. Вся спина перебежчика была в струпьях и узких багровых рубцах.

— Понимаю,— сказал начальник.— Японцы?

— Да.

— За что?

— За ничто... За свой огород. Бильше не можно терпеть. Я ж русский человек, гражданин комиссар... Заарестуйте меня.

— Сучий ты сын,— с сердцем сказал Баковецкий.— Видно, без японского шомпола и совесть не чешется!

Глава десятая

...Знакомая каменистая тропинка бежала вдоль берега моря. Она прыгала с камня на камень, кралась по краю обрыва, исчезала в кустарнике и вдруг появлялась снова, лукавая, вызолоченная хвоей и солнцем.

Глядя на нее, Сато подумал, что пора бы теперь расстаться с ботинками. Еще в порту он купил пару отличных гета с подкладкой из плетеной соломы. С каким наслаждением он сбросил бы сейчас тупорылые ботинки и вонючие носки! Сато даже присел было на камень и взялся за обмотки, но вовремя спохватился. Нет, он явится домой в полной солдатской форме — в кителе, застегнутом на все пять пуговиц, в шароварах, обмотках и стоптанных ботинках (фельдфебель оказался изрядным скрягой и отобрал новые). Вопреки приказу начальства, он даже не спорол с погон три звездочки, на которые имеет право только ефрейтор.

Сато с облегчением подумал, что никогда уже не увидит материка с его унылыми холмами, глиняными крепостями и рыжей травой. Он даже обернулся, точ-

но желая в последний раз взглянуть на обрывистый берег Кореи, но море было бескрайно, как радость, переполнявшая отпускника.

Неясные, только что родившиеся облака висят над водой, пронизанной утренним светом. Волны робко толпятся вокруг мокрых камней, где сидят, подставив солнцу панцири, багровые крабы. Над ними мечутся чайки. Их короткие крики звучат, как визжанье блоков на парусниках.

Сато шел и громко смеялся. Мокрые сети, растянутые через тропинку, били его по лицу. Он не старался даже уклоняться. Он вдыхал запах Хоккайдо, исходивший от этих сетей,— запах охры, смолы, рыбы и водорослей. Еще два мыса, зыбкий мост на канатах — и откроется дом.

Он прошел мимо рыбаков. Рослые парни в синих хантэн с хозяйскими клеймами на спине сталкивали лодки в прозрачную воду. Они спешили в море выбирать невода, изнемогавшие под тяжестью рыбы.

По зеленым вельветовым штанам Сато узнал Яритомо: два года назад на базаре в Хоккайдо приятели выбрали одинаковые штаны и ножи с черенками в виде дельфинов. Правда, Яритомо утонул возле Камчатки во время сильного шторма, но Сато нисколько не удивился, увидев утопленника, дымящего трубкой на корме лодки. Ведь о шторме рассказывал шкипер Доно, любивший приврать.

Он перевел взгляд на другую лодку и без труда отыскал седую голову самого шкипера. Возле него почему-то сидели господин ротный писарь и заика Мияко.

Кунгасы вереницей уходили от берега и прятались в дымке — предвестнице жаркого дня.

— Ано-нэ! — крикнул Сато, сложив руки рупором.

Рыбаки подняли головы. Видимо, никто не узнал Сато в бравом солдате, обремененном двумя сундуками. Только Доно что-то крикнул, отвечая на приветствие. Шкипер взмахнул рукой, и флотилия исчезла среди солнечных бликов.

...Как трудно разговориться после долгой разлуки! Вот уже полчаса отец и Сато обмениваются односложными восклицаниями.

Ставни раздвинуты. Блестят свежие циновки. Отец хочет, чтобы все односельчане видели сына в кителе

и фуражке с красным околышем, со звездочками ефрейтора на погонах. Рыжими от охры, трясущимися руками он подбрасывает угли в хибати, достает плоскую фарфоровую бутылку сакэ и садится напротив.

Они сидят молча, протянув руки над хибати,— солдаты, герои двух войн,— и слушают, как потрескивают и звенят угли. Сестра Сато, маленькая Юкико, движется по комнате так быстро, что кимоно не успевает прикрывать ее мелькающие пятки.

Она ставит перед братом соба [1], квашеную редьку, соленые креветки и засохший русский балык — лакомство, доступное только отцу.

Они молчат. Они так редко встречаются, что отец не знает даже, о чем спросить удачливого сына.

— Вероятно, у вас мерзли ноги? — говорит он, глядя на ботинки Сато.

— Нет, мы привыкли,— отвечает Сато небрежно.

Между тем дом наполняется гостями. Приходит аптекарь Ватари, плетельщик корзин Судзумото, шкипер Кимура. Появляется гадальщик Хаяма, высокий неряшливый старик в котелке, предсказавший Сато жизнь, полную приключений и перемен. Хаяма рад, что предсказания так быстро сбываются. Он треплет Сато по плечу и дышит винным перегаром. Отец, сделав приветливое лицо, с тоской и неприязнью смотрит, как господин Хаяма, бесцеремонно завладев чашкой с лапшой, со свистом втягивает клейкие нити... Если не подойдут остальные, этот обжора съест и креветки, и соленый миндаль, и балык.

Но Юкико уже пятится от входа, кланяясь и бормоча приветствия. Сам господин писарь, услышав о приезде Сато, решил засвидетельствовать почтение новоявленному герою. Вытирая клетчатым платком свое раскисшее лицо, он здоровается с собравшимися и косится на миловидную Юкико.

Вместе с писарем входит учитель каллиграфии господин Ямадзаки — маленький, кадыкастый, с широким ртом, где зубы натыканы как попало. Сато раскланивается с ним особенно почтительно. После отца старый сэнсэй [2] для него самая почтенная фигура в деревне.

---

[1] Соба — лапша из гречневой муки.
[2] Сэнсэй — учитель.

Подогретое сакэ делает гостей разговорчивыми. Сато ждет, когда его будут расспрашивать о службе и последних подвигах армии, но гости наперебой начинают делиться собственными впечатлениями.

— Перед тем как идти в сражение,— вспоминает господин Ямадзаки,— росскэ нагревают над кострами свои шубы... Однажды возле Куачензы...

Всем известно доблестное поведение господина Ямадзаки в стычке с казаками, когда на одного учителя напали шесть великанов в бараньих тулупах,— но никто, из боязни проявить неучтивость, не прерывает рассказчика.

Наконец Сато получает возможность говорить, но все рассказы, приготовленные заранее, когда он поднимался по тропинке, вылетели у него из головы.

— У них трехмоторные самолеты,— начинает он невпопад.— Мы видели их каждый день...

— Они купили их на деньги от Китайской дороги! — с возмущением кричит учитель.— Купили во Франции... Вы видели закрашенные знаки французов?

— Нет... Они были высоко.

Наступает пауза.

— Я всегда предсказывал ему повышение,— бормочет господин Хаяма, бесцеремонно почесываясь.

— Вы знаете новость? — спрашивает писарь.— Сегодня умер полицейский Миура. Говорят, от разрыва сердца. Он сильно огорчался последнее время.

Несомненно, что господин Миура, весельчак и бабник, мог умереть не от огорчения, а только от пьянства, но слушатели почтительно склоняют головы.

— Теперь освободилась вакансия... Если соединить настойчивость и хорошие рекомендации...

Все многозначительно смотрят на Сато. Отец — с гордостью, соседи — с почтением, Юкико — с испугом: она не может даже представить брата с такой же толстой красной шеей, как у господина Миура.

— Надо подумать,— говорит Сато с важностью, хотя чувствует, что готов сию минуту бежать в канцелярию.— Я подумаю,— повторяет он, наслаждаясь впечатлением.

Вдруг учитель приподнимается и, ухватив плечи Сато своими худыми цепкими руками, злобно кричит в уши отпускнику:

— Вот новость! Он хочет подумать... Встать! Живо!

И сразу пропадает все: море в светлых бликах, тропинка, рыбаки, отец, писарь, Юкико...

В казарме полутемно. На потолке мигает фонарь «летучая мышь». Фельдфебель, сдернув с Сато одеяло, грубо трясет его за плечи.

Одним рывком Сато надевает штаны. Полурота выстроилась на дворе возле казармы. Пока нет команды «смирно», солдаты трут уши, щиплют себя за плечи и ляжки, стремясь стряхнуть остатки сна. Косо летит снежная пыль.

— Говорят, красные перешли в наступление,— шепчет, лязгая зубами, Мияко.

— Но ведь пока еще...

— Прекратить разговоры! Смирр-но!

Господин фельдфебель выкликает по списку солдат. В морозном воздухе, точно отрывистый лай, звучат застуженные солдатские голоса. Стрелки ждут приказания, вытянув руки по швам, боясь прикоснуться к покрасневшим на морозе ушам.

Господин поручик скороговоркой поясняет задачу:

— ...Пользуясь миролюбием правительства, росскэ нарушили границу и захватили часть территории Маньчжоу-Го — от мельницы до знака номер семнадцать... Солдатам второй роты выпала честь доказать росскэ, что такое истинный дух сынов Ямато. Двигаться в полной тишине. Возможен бой с превосходящим по силе противником... Надеть металлические шлемы... Наушники не опускать.

...Рысцой солдаты сбегают в падь, пересекают дорогу и углубляются в лес. Здесь теплее и тише. Звезды еле видны в путанице черных сучьев. Сухие листья гремят под ногами. Крепкий, морозный воздух, быстрое движение отряда и неизвестность цели опьяняют Сато. Он чувствует, как начинают гореть щеки.

Они идут долго. Пот выступает через шинели и оседает инеем на сукне. Лес давно исчез в морозном тумане. Они идут гуськом между скал, по дну пересохшего ручья. Под ногами лопаются ледяные корки, и фельдфебель то и дело предостерегающе поднимает руку.

Потом солдаты долго ползут в кустарнике, где, несмотря на мороз, сочится вода. Перчатки Сато намокают. Он чувствует, как влага проникает сквозь двойную материю на коленях...

Перед ними поляна, клином врезавшаяся в лес. Справа из темноты проступает крыша мельницы. Здесь проходит граница.

Охваченный волнением, Сато смотрит на высокий столб, раскрашенный белыми и зелеными полосами... Он так высок, что, даже протянув руку, нельзя достать до железного герба. Какие, однако, ловкачи эти росскэ, сумевшие так быстро присвоить поляну!

— Здесь! — говорит шепотом фельдфебель.— Осмотреть оружие! Приготовить гранаты!..

В разведку уходят двое: ефрейтор Акита и рядовой Мияко. Туман расступается и сразу смыкается за ними.

Лежа в жесткой траве, солдаты поглядывают на столб и растирают озябшие пальцы.

Глава одиннадцатая

— Тише! — попросил Нугис.

Он согнулся над старым шестиламповым приемником, силясь поймать Москву.

Это было нелегким делом. С тех пор как Илька разбила шестую лампу, Москва отодвинулась на лишнюю тысячу километров.

— ...волновый... переда...

Восемь теней на потолке замерли, даже игроки в домино осторожнее застучали костяшками. Где-то выше антенны, выше дубов, окружающих заставу, несся тихий голос Москвы:

— ...рит... расная площадь...

И снова поросячий визг, щелканье, дробь морзянки вырвались из-под терпеливых пальцев Нугиса. Как всегда бывает в Октябрьские дни, разговаривали сразу сотни станций...

Во Владивостоке выступал китайский театр. Глухо гудел бубен. Точно ивовая дудочка, звучала горловая фистула певца.

В Хабаровске вынесли микрофон в городской сад, к обрыву над Амуром, и дикторша, торопясь, говорила:

— ...Вот вижу лодки с флагами на корме... На всех гребцах синие береты и желтые майки... Вот четыре катера... Вот плывет пароход... А на палубе танцуют мазурку... Вот...

— ...лейтенант Вдовцов исполнит арию Хозе,— предупреждала радиостанция города Климовка.— У рояля жена воентехника третьего ранга Клавдия Семеновна Воробьева.

В радиостудии Николаевска-на-Амуре собрались старики партизаны. Второй час сипловатый стариковский басок, перебиваемый морзянкой, не спеша вспоминал:

— ...Тогда, оставив в затоне шесть раненых, мы решили дать бой и пробиться к товарищу Шилову. На ут...

— Крути назад! — крикнул Корж.— Дай партизан послушать.

— Хочу про японцев,— сказала Илька.

Но Нугис только мотнул квадратной головой. Он страшно торопился. Перед ним лежали часы. Было без четверти пять по местному и около десяти по московскому...

С минуты на минуту должен был начаться парад. Нугис упрямо пытался пробиться к Москве сквозь позывные пароходов, плывущих вдоль тихоокеанского побережья, сквозь кабацкие фокстроты, летевшие из Харбина. Капитаны краболовов поздравляли друг друга и спрашивали об уловах, японский диктор без конца повторял какое-то рекламное объявление, радисты передавали, что в бухте Ольга опять битый лед...

А Москва, лежавшая на другом краю мира, все еще молчала.

Бойцы сидели вокруг Нугиса торжественные, одетые по случаю Октября в свежие гимнастерки. Пулеметчики, снайперы, стрелки, проводники собак терпеливо ждали конца путешествия Нугиса по эфиру.

— Пощелкай,— посоветовал повар.— Бывает, лампы застаиваются...

Подняли крышку, и Нугис осторожно пощелкал по стеклам, чуть освещенным изнутри золотистым сиянием.

Раздался оглушительный визг. За окном горестно взвыла овчарка, грянул хохот.

Нугис был раздосадован неудачей. Он встал и спрятал часы.

— Отставить! — объявил Корж.— Задержка номер четыре...

— Пойду поищу запасные,— сказал Нугис упрямо.

Но старый приемник уже не внушал бойцам доверия. Кто-то из пулеметчиков заметил:

— Опять парад проворонили...

— Хоть бы танки послушать...

— А у нас в Верхних Кутах сегодня оладьи пекут,— вспомнил неожиданно пулеметчик Зимин.

Это случайное замечание точно распахнуло стены казармы. Сразу стали видны барабинские степи, Новосибирск, Смоленск, Свердловск, Полтава, Елабуга — все, что лежало по ту сторону тайги. Каждому бойцу захотелось вспомнить добрым словом родные города и поселки.

— А у нас в Мурманске на каждой мачте — звезда,— сказал Белик.— Днем флаги, ночью иллюминация. Ледокол «Чайка» портрет Буденного вывесил. Весь из рыбьей чешуи... Серебряный чекан, и только! Его норвежцы у себя в Тромсе склеили и в подарок рыбакам привезли. Начальник порта хотел в Третьяковскую галерею отправить, да ледокол не отдал.

Повар стал было описывать, из какой чешуи был сделан портрет, но Белика перебил Гармиз.

— Нет, ты послушай! — закричал он, вскочив с табурета.— Какой Мурманск! Ты Лагодех видел? Через Гамборы ночью ходил? Там есть поляна — каждому дереву тысяча лет. Больше! Две с половиной! Листья с ладонь. Всю ночь пляшем. Внизу на дорогах арбы скрипят, виноград, вино в город везут... Потом девушек провожаем... В горах темно... Фонари к звездам идут. Крикнет один — тысяча отвечает... Послушай! Какой ветер у нас! Станешь спиной к пропасти, раскинешь рукава... Весь день будешь стоять... Вот!

Гармиз взмахнул руками и замер, обводя всех глазами, точно ища того, кто усомнился бы в силе гамборских ветров.

Никто не ответил... Сибиряки, украинцы, белорусы, татары — бойцы сидели задумавшись... Молчал даже Корж, беспокойный, не умеющий минуты прожить без острого слова.

Он сидел верхом на табурете и силился представить, что делается теперь дома. Он так редко бывал в деревне, что сразу не мог сообразить, чем занят сегодня отец.

...Сейчас десять утра. Вероятно, отец вместе с Павлом находится в кузне... Кузня низкая, точно вырубленная из сплошного куска угля... В раскрытые двери видны горн, руки, взлетающие над наковальней. Когда молот опускается, открывается отцовское лицо — черное, с толстыми солдатскими усами, из-под которых сверкают зубы...

Маленький длиннорукий Павел раздувает горн. У него, как у всех Коржей, светлые озорные глаза и большой рот. Он приплясывает на одной ноге, насвистывает и бесстрашно лезет короткими щипцами в самый жар, где нежно розовеет железо.

Весело смотреть на отца с сыном, когда они в два молота охаживают толстенную полосу, а железо вьется, изгибается, багровеет, превращаясь в тракторный крюк или шкворень фургона...

Впрочем, какая же сегодня работа!.. Наверно, все сидят за столом. Мать выскоблила доски стеклом, поставила берестяную сахарницу и голубые...

— Внимание!.. Красная площадь,— негромко сказал репродуктор.— Все глаза обращены... асской башне... Через... уту... чнется парад.

Корж вскочил. Все обернулись к приемнику.

— Я нечаянно! — закричала Илька, поспешно отдернув руку.

Говорила Москва. Затухая, точно колеблемый ветром, звучал голос диктора. Он описывал все: простор площади и свежесть осеннего утра, освещенные солнцем звезды Кремля, появление делегаций, стальные шлемы пехоты, скульптурную группу напротив ворот Спасской башни, называл людей, стоявших у Кремлевской стены,— имена, знакомые всем, от чукотских яранг до поселков горной Сванетии.

Накапливались войска. Оживали трибуны. Кому-то аплодировали, где-то музыканты пробовали трубы. Прозрачный неясный гул висел над Красной площадью.

И вдруг сразу стало тихо, как в поле. На том краю мира не спеша били часы.

— Десять,— сказал тихо Белик, и все бойцы услышали дальний звон подков.

Ворошилов объезжал войска, здороваясь и поздравляя бойцов. Площадь отвечала ему всей грудью, дружно и коротко.

Потом они услышали глуховатый голос наркома. Он говорил, сильно паузя, отчетливо и так просто, что забывалась торжественная обстановка парада. Он напоминал о том, что было сделано за год, о силе и целеустремленной воле народа. Последние его слова, обращенные к Красной Армии, были заглушены треском атмосферных разрядов, точно по всей стране прогремели орудийные залпы салюта.

...Вошел на цыпочках Дубах и сел сзади бойцов. Илька вскочила к нему на колени.

— Танк больше лошади? — спросила она.

— Тсс... Больше.

— Значит, главнее. А почему пустили вперед академию? Она больше танка?

Сделав страшные глаза, Дубах закрыл Ильке рот ладонью... Сквозь марш пробивались отчетливые, мерные удары. Разом впечатывая многотысячный шаг, проходила пехота.

— Товарищ начальник,— спросил Корж,— что сначала идет, артиллерия или конница?

Дубах подумал. Он ни разу не видел московских парадов и стыдился в этом признаться. Ездить приходилось много, но всегда по краю страны. Негорелое, Гродеково или Кушку он знал лучше Москвы.

— Как когда,— ответил он осторожно.— Сегодня — не знаю...

По камням Красной площади хлестал звонкий ливень... Скакала конница. Вихрем летели к Москве-реке тачанки.

Потом наступила долгая пауза. Странное, еле слышное пофыркивание неслось из Москвы.

— Вся площадь в автомашинах...— пояснил диктор.— Теперь движутся гаубицы... их колеса обуты в резину.

И вдруг какой-то странный рокочущий звук ворвался в казарму, точно над Москвой разорвался длинный кусок парусины.

— Слышали? — спросил рупор поспешно.— Это истребитель... Он похож...

Голос его потонул в низком реве пропеллеров, в лязге танковых гусениц. Парусина над площадью рвалась беспрерывно.

— Девятнадцать... двадцать... двадцать семь... сорок два...— считал Белик,— сорок три... пятьдесят!

— Это целый дредноут! — крикнул диктор.— У него четыре башни. В нашем здании стекла дрожат!

...Зажгли лампу. Закрыли ставни. Восемь бойцов — сибиряков, белорусов, украинцев — стояли на площади.

Они видели все: бескрайнее человечье половодье, освещенное солнцем, красногвардейцев с седыми висками, сталеваров, народных артистов, горделивых московских метростроевцев, академиков, старых ткачих, детей, сидящих на плечах у отцов,— сотни тысяч лиц, обращенных к Кремлю.

Они стояли бы на Красной площади до конца праздника, но батареи питания заметно слабели, шум демонстрации становился все тише и тише, точно Москва отодвигалась дальше, на самый край мира, и, наконец, приемник умолк...

— Семичасный, Кульков, Уваров, в наряд! — крикнул дежурный.

Мягкий треск полевого телефона вывел Дубаха из дремоты. Не открывая глаз, он протянул руку и снял трубку. Говорил постовой от ворот:

— Две женщины и лошадь с повозкой — к вам лично. Прикажете пропустить?

— Пропустить,— сказал начальник, безжалостно скручивая ухо, чтобы прогнать сон. Он сидел, навалившись грудью на старенький самоучитель английского языка. Лампа потухла. Сквозь ставни брезжил рассвет.

Дубах успел одеться прежде, чем часовой закрыл за приехавшими ворота, и встретил женщин вспышкой карманного фонарика.

Одна из них, птичница соседнего колхоза, была знакома начальнику. Он не раз охотно беседовал с домовитой хозяйкой, терпеливо выслушивая ее долгие рассказы о муже, утопленном интервентами в проруби.



То была опытная, рассудительная женщина, умевшая отлично залечивать мокрец и выводить собачьи глисты.

Ее спутница, девочка с суровым, испуганным лицом, одетая в ватник и мужские ичиги, сначала показалась начальнику незнакомой.

— Ой, лишенько! — сказала Пилипенко, едва начальник показался на крыльце.— Ой, маты моя... Ой, идить сюда скорийшь, товарищ начальник...

— Что за паника? — удивился Дубах.— Откуда у вас эти дрючки?

— Боже ж мий!.. Колы б вы знали... Ось дывытесь...

Не выпуская валежины из рук, птичница подошла к телеге и разгребла солому. Открылись тонкие ноги в распустившихся обмотках, короткий зеленый мундирчик, затем глянуло чугунное от натуги лицо японского пехотинца. Во рту полузадушенного, скрученного вожжами солдата торчала фуражка.

— Ось злодий! — сказала птичница, дыша злобой и возбуждением.— А ось тесак его. Вин, байстрюк, мини усю робу распорол.

И громким плачущим голосом она стала рассказывать, как это случилось.

Они с дочкой ехали в город — забрать лекарство. У кур развелось так много блох, что полынь и зола уже не помогали. Были еще и другие дела. Гапка хотела купить батиста на кофточку. По дороге дочка накрылась кожухом и заснула. Они ехали дубняком... Нет, не возле мельницы... У них в колхозе дурнив нема, чтобы нарушать запрещение. Сама Пилипенко тоже сплющила очи. И вдруг выходит той злодий, той скорпиен, блазень, байстрюк с тесаком, той японьский офицер, и кажет...

— Прошу в канцелярию,— предложил Дубах.

Птичница кричала так громко, что из казармы стали выскакивать во двор полуодетые бойцы.

Увидев на столе начальника бумаги и малахитовую чернильницу — подарок уральских гранильщиков, Пилипенко перешла на официальный тон... Нехай товарищ начальник составит протокол. И пусть об этом случае заявят самому наркому. Если бы не Гапка, она осталась бы там, в лесу, а шпион подорвал бы мост...

Когда она остановила лошадь, он спросил по-русски, где Кущевка, а потом, как бешеный, кинулся с тесаком. Спасибо, что на дороге была глина и злодий поскользнулся. Офицер только оцарапал птичнице шею и пропорол кожух. Они упали на повозку, прямо на Гапку, а девка спросонок так хватила японца, что злодий выпустил тесак. Он царапался и искусал Гапке руки, но женщины все-таки связали офицера вожжами.

— Это солдат,— заметил Дубах.

Пожилая женщина в унтах и распахнутом кожухе, открывавшем сильную шею, взглянула на пленника сверху вниз.

— А я кажу, що це офицер,— сказала она упрямо.— Верно, дочка?

— Офицер,— сказала Гапка, с уважением посмотрев на мать.

— Вин разумие по-русски...

— Скоси мо вакаримасен[1],— сказал торопливо солдат.— Я весима доруго брудила.

— Это видно,— заметил Дубах.— Отсюда до границы четыре километра.

— Годи! — крикнула Пилипенко, со злобой глядя на стриженую голову солдата.— Я стреляная. Чины знаю. Три звезды — офицер. Полоса — капитан.

— Мамо,— сказала вдруг Гапка баском,— а мабуть, вин скаженый?

И она с тревогой показала багровые подтеки на своих смуглых сильных руках. От волнения и страха за дочку Пилипенко расплакалась.

Женщин успокоила нянька Ильки — Степанида Семеновна. Она увела казачек к себе, приложила к искусанной руке Гапки примочку из арники, вскипятила чай.

Они сидели, долго перебирая подробности нападения и ожидая Дубаха. Птичница вспомнила, как пятнадцать лет назад японцы, расколотив пешнями лед, загнали в прорубь мужа. Аргунь была мелкой, снег сдуло ветром, и все проезжие видели, как ее Игнат из-подо льда смотрит на солнце. Днем труп нельзя было вырубить. Она приехала на санях ночью со

[1] Ничего не понимаю.

свечкой и топором. Так, замороженного, в виде куска льда, она привезла мужа домой и заховала его во дворе.

Она обернулась к Гапке, чтобы показать, какую девку она все-таки выходила, но дочка уже не слышала беседы. Забравшись на тахту начальника, утомленная и спокойная, она заснула, забыв об офицере и своей искусанной руке.

Глава двенадцатая

Светало. Звездный ковш свалился за сопку. В сухой траве закричали фазаны. Предвестник утра — северный ветер — пробежал по дубняку; стуча, посыпались перезревшие желуди.

Солдаты ежились, лежа среди высокой заиндевелой травы. Терли уши шерстяными перчатками, старались укрыть колени полами коротких шинелей. Поручик демонстративно не надевал козьих варежек. Сидел на корточках, восхищая выдержкой ефрейторов, только изредка опускал руки в карманы шинели, где лежали две обтянутые бархатом грелки.

Акита не возвращался... Уходило лучшее время, растрачивалась подогретая водкой солдатская терпеливость. По приказанию поручика двое солдат, стараясь не звенеть лопатами, выкопали и положили в траву погранзнак. Теперь Амакасу с досадой поглядывал на поваленный столб. Стоило два часа морозить полуроту из-за такой чепухи!

Закрыв глаза, он пытался представить, что будет дальше... К рассвету он опрокинет заслон и выйдет к автомобильному тракту. Пулеметные гнезда останутся в двух километрах слева. Застава будет сопротивляться упорно. Русские привыкли к пассивной обороне... Они даже имеют небольшой огневой перевес, но при отсутствии инициативы это не имеет значения. К этому времени полковнику постфактум донесут о случившемся. По крайней мере министерство еще раз почувствует настроение армии... Он ясно представил очередную ноту советского посла, напечатанную петитом в вечерних изданиях, и уклончиво-удивленный ответ господина министра.

Только осторожность удерживала Амакасу от броска вперед. Благоразумие — оружие сильных. Он вспомнил готические окна академии и пренебрежительную вежливость, с которой полковник Гефтинг объяснял японским стажерам методику рейхсвера в подготовке ночных операций... «Благоразумие — оружие сильных»,— говорил он менторским тоном... Амакасу презирал толстозадых гогенцоллерновских офицеров, проигравших войну. Они не понимали ни японского устава, ни наступательного духа императорской армии.

И все-таки Амакасу слегка колебался. Молчание противника было опаснее болтовни пулеметов.

Наконец, явился ефрейтор Акита. Рассказ его был подробен и бессвязен... Вместе с Мияко они прошли весь лес, от солонцов до заставы. Нарядов не встретили. Окна заставы темны... Потом пошли отдельно... Слышно было, как проехала крестьянская повозка.

— Почему крестьянская? — спросил поручик раздраженно.

— Пахло сеном, и разговаривали две женщины.

— От вас пахнет глупостью!

— Не смею знать, господин поручик.

— Где Мияко? Подумайте... Ну?

— Вероятно, заблудился,— сказал ефрейтор, подумав.— Он ждет рассвета, чтобы ориентироваться.

Разведка оказалась явно неудачной, но ждать больше было нельзя. Амакасу отдал приказ выступать...

...Два глухих взрыва сорвали дежурного с табурета. Это было условным сигналом. Наряд Семичасного предупреждал заставу гранатами: «Тревога! Ждем помощи. Граница нарушена...»

Люди вскакивали с коек, одним рывком сбрасывая одеяла. Света не зажигали. Все было знакомо на ощупь. Руки безошибочно нащупывали винтовки, клинки, разбирали подсумки, гранаты. В темноте слышались только стук кованых сапог, лязг затворов и громыхание плащей. Бойцы, заснувшие всего час назад, хватали оружие и выскакивали во двор, на бегу надевая шинели.

Люди двигались с той привычной и точной быстротой, которая свойственна только пограничникам и морякам.

Через минуту отделение заняло окопы впереди заставы. Через три — небольшой отряд конников, взяв на седла «максим» и два дегтяревских, на галопе пошел к солонцам.

Сигнал Семичасного, еле слышный на расстоянии двух километров, отозвался эхом на соседних заставах. Бойцы «Казачки» седлали коней, когда дежурные на «Гремучей» и «Маленькой» закричали: «В ружье!» Здесь тоже все было известно на ощупь: маузеры, седла, пулеметные ленты, тропы, камни, облюбованные снайперами, сопки, обстрелянные сотни раз на учениях.

Проводники вывели на тропы молчаливых овчарок. Конники на галопе пошли по распадкам, с маху беря ручьи и барьеры из валежин. Пулеметчики слились с камнями, хвоей, пропали в траве.

Наконец, десятки людей услышали беспорядочные слабые звуки — точно дятлы вздумали перестукиваться ночью.

Прошло полчаса... Соседние заставы, выславшие усиленные наряды, продолжали ждать. Никто не имел права бросить силы к «Казачке», оголив свой участок.

И вдруг зеленая ракета беззвучно поднялась в воздух. Описав огромную дугу, она долго освещала мертвенным светом вершины голубых дубов и лесные поляны. Дятлы опешили, а затем застучали еще настойчивее. Дубах вызвал начальника отряда.

— В Минске идет снег,— предупредил он спокойно.

Эта метеорологическая сводка настолько заинтересовала начальника, что он тут же поделился новостью с маневренной группой и авиачастью, находившейся в ста километрах от границы.

— Два эскадрона к Минску, галопом! — приказал он маневренной группе.— Предупреждаю: в Минске снег,— сообщил он командиру авиачасти.

— Греемся,— лаконично ответила трубка.

...В остальном в Приморье было спокойно. В полях возле Черниговки гремели молотилки. Посьетские рыбаки уходили в море, поругивая морозец. На амурских верфях электросварщики, работавшие под открытым

небом, зажигали звезды ярче Веги и Сириуса... Летчик почтового самолета видел огненное дыхание десятков паровозов. Шли поезда, груженные нефтью, мариупольской сталью, ташкентским виноградом, учебниками, московскими автомобилями. В шестидесяти километрах от места перестрелки рыбак плыл по озеру в поселок за чаем, вез белок, вспугивал веслами глупую рыбу и пел, радуясь тишине осеннего утра.

Ни один чехол не был снят в эту ночь с орудий укрепленной полосы.

Сопка Мать походила на казацкое седло. Широкая, затянутая бурой травой, она лежала между падями Козьей и Рисовой. Правым краем это седло упиралось в ручей, против левого расстилались кусты ежевики и солонцы — плешивый клочок земли, истоптанный и изрытый зверьем.

Отделенные от сопки широкой поляной, стояли по ту сторону границы невысокие голые дубки. Траву на поляне и сопках никогда не косили. Дикой силой обладала рыжеватая почва, не видевшая никогда лемеха. Будяки вытягивало здесь ростом с коня, ромашки разрастались пышнее подсолнухов. Щавель, лилии, повилика, курослеп, лебеда, лютик, гвоздика соперничали в силе, ярости и жестокости, с которой они душили друг друга. Иногда властвовали здесь ромашки, делавшие поляну чистой и строгой. Иногда лиловым пламенем вспыхивал багульник или ноготки заливали сопки медовой желтизной. К осени все это пестрое сборище выгорало, твердело, превращаясь в густую пыльную шкуру.

...Конники спешились у рисового поля за сопкой. Три пулемета ударили с каменистой вершины по взводу японцев, обходивших сопку с флангов... Клещи разжались, освободив наряд Семичасного, изнемогавший под огнем «гочкисов».

Лежа в каменной чаше, среди заиндевелой травы, Корж долго не мог отдышаться. Бешено билось сердце, разгоряченное скачкой. Кажется, взяли от лошадей все, что могли. И все-таки не успели. Кульков, запевала, редактор газеты, тамбовский столяр, лежал плотно — пальцы в траву, щека к земле, точно слушал, идут ли. У Огнева пробитая пулей ладонь была вывернута на сторону.

Рядом с Коржем лежали Белик и связная собака Барс. Тревога застала повара на кухне, и Белик не успел даже снять фартука. Теперь он был помощником наводчика. Быстро присоединив пароотводный шланг, он установил патронную коробку и помог Коржу продернуть ленту в приемник...

Три пулемета брили траву за солонцами. «Гочкисы» огрызались с той стороны поляны отчетливо, звонко. За спиной Коржа рикошетили, волчками крутились на сланцевых плитах пули...

Прошло полчаса. Вдруг Дубах, лежавший в двенадцати метрах от Коржа, поднялся и крикнул:

— Стой!

Пулеметы поперхнулись, не дожевав лент. Из дубняка, помахивая белым флажком, вышел молодцеватый солдат в каске и короткой шинели. Трава закрыла его с головой. Каска покачивалась, как плывущая черепаха.

Обвешанный репейником пехотинец взобрался на сопку и молча передал Дубаху записку.

Написанная по-русски печатными буквами, она походила на издевательство:

«Русскому командиру (комиссару). Покорнейше приказываю немедленно прекратить огонь и отойти в расположение заставы. Сохраняя жизнь доблестных русских солдат, остаюсь в полной надежде.

Амакасу».

— Дивная нота,— проворчал Дубах, поморщившись.— Желаете хамить до конца?

— Вакаримасен,— сказал солдат быстро.— Дозо окакинасай [1].

Дубах вырвал листок из блокнота и вывел тоже печатными буквами:

«На своей территории в переговоры не вступаю. Рассматриваю ваш отряд как диверсионную банду».

Потом подумал и приписал:

«Покорнейше приказываю прекратить провокацию».

Маленький солдат отдал честь и, сохраняя достоинство, стал погружаться в заросли будяка. Корж

[1] Не понимаю. Пожалуйста, напишите.

посмотрел ему вслед. Он в первый раз видел японца вблизи.

— Молодой, а до чего коренастый,— заметил он насмешливо. На левом фланге противника подняли маленький флажок с красным диском. Несколько пуль взвизгнуло над самым гребнем сопки.

Вдоль горы, от пулемета к пулемету, прокатилась команда:

— К бою!.. По перебегающей группе... очередями... пол-ленты... Огонь!

— Огонь! — крикнул Корж, и пулемет задрожал от нетерпения и бешеной злости

Дубах не сидел на месте. Негромкий голос его слышался то на левом краю седловины, то возле пулеметчиков Зимина и Гармиза, то возле ручья, где отделком Нугис с группой бойцов наседал японцам на фланг.

Усатый, в широком брезентовом плаще и выгоревшей добела фуражке, Дубах походил на мирного сельского почтальона. В зубах начальника торчала погасшая трубка.

Он отдавал распоряжения так спокойно, точно перед ним была не полурота японских стрелков, а поясные мишени на стрельбище. За полчаса он успел несколько раз изменить расположение пулеметов и направление огня. Это была вдвойне удобная тактика: она не позволяла противнику как следует пристреляться и путала его представление о числе огневых точек на сопке.

Глядя на Дубаха, ободрились, повеселели бойцы, смущенные было численностью японо-маньчжур.

Начальник ни разу не повысил голоса, но потухшая трубка сипела все сильнее и сильнее.

Дела пограничников были далеко не блестящи. Нугису удалось перейти ручей и уничтожить пулеметный расчет, менявший ствол «гочкиса», но одно отделение и дегтяревский пулемет были не в силах сковать продвижение полуроты стрелков.

Все чаще и чаще, в паузах между очередями, Дубах прислушивался, не звенят ли в Козьей пади копыта.

— Корж перенес огонь вправо,— доложил командир отделения.— Зимин устраняет задержку.

Дубах ответил не сразу. Сидя на корточках, он плевался, но вместо слюны шла розовая пена. По губам командира отделком угадал приказание:

— Рассеянием... на ширину цели... огонь!

Начальника оттащили вниз, к распадку, где стояли кони. Расстегнули рубаху, начали бинтовать. Но Дубах вдруг вырвался и, как был, с окровавленной волосатой грудью и волочащимся бинтом, полез на четвереньках в гору. У него еще хватило сил влезть в яму и отдать распоряжение о перемене позиции. Дубаха беспокоила соседняя сопка Затылиха. Она запирала вход в падь, и каски наседали на нее особенно нахраписто. Потом он вздумал написать записку командиру взвода Ерохину. Морщась, полез в полевую сумку и сразу обмяк, сунувшись носом в колени.

Ответ Дубаха обрадовал Амакасу. Он с удовлетворением отметил твердый почерк и решительный тон записки. Было бы скверно, если бы русские отступили без боя. Глупо с отрядом стрелков торчать на месте возле столба. Но еще хуже двигаться в неизвестность, рискуя солдатами.

Дружные голоса пулеметов вселяли в поручика уверенность в счастливом исходе операции. Он знал твердо: это новая страница блистательного романа Фукунага. Она будет перевернута, прежде чем министерская сволочь успеет продиктовать извинения. Сила не нуждается в адвокатах. Стиснув зубы, русские будут пятиться и бормотать угрозы до тех пор, пока их не заставят драться всерьез.

Между тем перестрелка затягивалась. На правом фланге, возле солонцов, лежал взвод маньчжур. До тех пор пока не требовалось двигаться дальше, солдаты держались неплохо. Многие, по старой хунхузской привычке, стреляли наугад, упирая приклад в ляжку. Они выбирали неплохие укрытия и готовы были вести перестрелку хоть до обеда.

Как все крестьяне, они были прирожденными окопниками — медлительными, абсолютно лишенными солдатского автоматизма. К свисту пуль они прислушивались старательнее, чем к окрикам фельдфебелей.

В конце концов показная суетня маньчжур привела поручика в ярость; он приказал выставить в тылу

взвода «гочкис»,— только тогда солдаты, прижимаясь к земле, медленно двинулись к сопке. У края солонцов они снова остановились. Память о разгроме армии Ляна под Чжалайнором[1] была еще свежа в Маньчжурии. Никакими угрозами нельзя было заставить солдат продвинуться вперед хотя бы на метр.

Лежа на второй линии, Сато с восхищением поглядывал на Амакасу. Поручик сидел выпрямившись, не обращая внимания на пыль, поднятую пулеметами пограничников. Из-под зеленого целлулоидного козырька, защищавшего Амакасу от солнца, торчали обмороженный нос и жестяной свисток, на звук которого подползали ефрейторы. Изредка он отдавал распоряжения своей обычной ворчливой скороговоркой.

Заметив восхищенный взгляд солдата, Амакасу поднял согнутый палец... Он вызвал еще рядовых второго разряда Тарада и Кондо и в кратких энергичных выражениях объяснил солдатам задачу.

— Храбрость русских обманчива,— заявил Амакасу.— Русские пулеметчики или пьяны, или сошли с ума от страха... Чтобы привести их в себя, нужно пересечь солонцы, зайти к пулеметчику с левого фланга и швырнуть по паре гранат... Разнесите их в клочья. Они еще не знают духа Ямато! — С этими словами Амакасу снова взялся за бинокль.

Три солдата поползли к солонцам.

— Прощайте! — крикнул товарищам Кондо.

— Вернемся ефрейторами! — отозвался Тарада.

— Хочу быть убитым...— сквозь зубы сказал Сато. Суеверный, он надеялся, что смерть не исполняет желаний.

Пулеметчик на левом фланге противника работал длинными очередями. Гневное рычание «максима» становилось все ближе, страшнее, настойчивей. Возле солонцов Сато остановился в раздумье. Не так-то просто было двигаться дальше по голой площадке, покрытой вместо травы какими-то лишаями. Если русский солдат действительно сошел с ума, то его пулемет сохранил здравый рассудок. Пули посвистывали так низко, что голова Сато против воли сама уходила в плечи. «Дз-юр-р-р»,— сказала одна из них, и Сато почувствовал резкий щелчок в голову. Он осторожно

[1] Конфликт на КВЖД с белокитайцами в 1929 году.

снял каску. На гребне виднелась узкая вмятина, точно кто-то ударил сверху тупой шашкой.

Между тем Кондо успел переползти солонцы и вскарабкался до половины склона.

— Получи! — крикнул он, размахнувшись.

Граната упала, не долетев до гребня, и покатилась обратно. Вслед за ней съехал на животе Кондо. Донесся звенящий звук взрыва. Пулемет поперхнулся. Русский стал менять ленту.

— Иду! — крикнул Сато.

Он разбежался и кинул гранату прямо в брезентовый капюшон пулеметчика. Клочья материи и травы взметнулись в воздух. Рота ответила торжествующим криком...

Зубами Сато вырвал вторую шпильку. «Хочу быть убитым, хочу быть убитым»,— повторял он упрямо, зная, что слова эти прочны, как броня. Пулемет был бессилен, он молчал. Зато все громче и громче раздавались голоса солдат, воодушевленных удачей.

Вся рота видела, как Сато добежал до половины холма, взмахнул рукой и вдруг, точно поскользнувшись, растянулся на склоне. Раздался приглушенный взрыв, и тело солдата сильно вздрогнуло.

Пулемет заговорил снова. Рыльце его высунулось из камней метрах в двадцати от места взрыва. Солдаты слились с землей, утопили в траве свои круглые шлемы. Лежали молча, ожидая сигнала, чтобы рвануться вперед.

Сато грыз землю — чужую, холодную, твердую. Не понимая, что произошло, он выл от ужаса и боли и, наконец, затих, выбросив ноги и раскрыв рот, набитый мерзлой землей.

В полукилометре от него Амакасу смочил палец слюной и выбросил руку вверх.

— Сигоку[1],— сказал он улыбнувшись.

Ветер гнал с юго-востока в сторону сопок грязноватые облачка.

...Два пулемета били с каменистого гребня. Уже кипела вода в кожухах и дымились на винтовках накладки, а конца боя еще не было видно.

---

[1] Сигоку — отлично.



Гладкие стальные шлемы, сужая полукруг, выползали к солонцам. Отчетливо стали слышны жестяные свистки и резкие выкрики командиров, подымавших солдат для броска.

Подготовляя удар через солонцы, японцы старательно выбривали гребень сопки. Высушенная морозом земля, на которой пулеметы сосредоточили свою злость, дымилась пылью, точно тлела под зажигательными стеклами.

Иней исчез. Небо стало глубоким и ярким. Перепелки, не обращая внимания на выстрелы, вылезали из кустов греться на солнце.

Семь пограничников удерживали сопку Мать. Они не лежали на месте. Земля дымилась под пулями. Лежать было нельзя. Послав пару обойм, они искали новую складку, камень, яму, бугор. Стреляли... Снова увертывались...

Семеро знали сопку на ощупь. Три года назад они пережили здесь страхи первых дежурств. Они видели сопку, заваленную снегом, сверкающую всеми красками уссурийской весны, голую после осенних палов. Каждая складка, куст, камень, родник стали близки, как собственная ладонь.

Эта горбатая, беспокойная земля была пограничникам более чем знакома. Она была своей.

Нахрапистый противник не озадачил бойцов. Бывало и хуже. Семеро сибиряков били расчетливо, по-хозяйски. Не спешили, не заваливали мушек, придерживали дыхание, спуская курок.

Стрелки занимали седловину. Пулеметы были вынесены на края. Зимин отжимал правый фланг, работая очередями, короткими, как укусы. Левый фланг и соседнюю сопку Затылиху прикрывал Корж. Барс лежал рядом, повизгивал, хватал воздух зубами, когда осы пролетали над ухом.

В десяти шагах от Коржа отделенный командир Гармиз разрывал пакеты с бинтами. Черт знает сколько горячей крови было в начальнике! Она вышибала тампоны, пробивала бинты и рубахи, дымилась на промерзших камнях. И все-таки волосатое тело Дубаха не хотело умирать, дышало, ежилось, вздрагивало.

Гармиз был плохим санитаром. Он извел четыре бинта, прежде чем спеленал командира.

Странное дело: кровь уходила, а тело становилось все грузнее и грузнее. Наконец, оно стало таким тяжелым, что Гармиз понял — придется драться одним. Он прикрыл начальника плащом и побежал к Зимину менять диск.

Брезентовый плащ мешал Коржу работать. Он скинул его и остался в одной гимнастерке. Холода он не замечал. Трое солдат, медленно извиваясь в траве, ползли к солонцам. Он перенес на них огонь, раздавил одного. Двое успели укрыться.

Гармиз взял плащ и, оттащив его метров на двадцать в сторону, поднял сучками капюшон над травой.

— Пускай упражняются,— сказал он, вернувшись.

— Где начальник? — спросил Корж.

— Возле ручья.

— Ранен?

— Не знаю.

Очередью, короткой, как окрик, Корж придержал группу солдат возле дубков. Два японца слева снова оживились и перебежали через солонцы.

Лента кончилась.

— Упустил! — крикнул Корж.

И вдруг капюшон плаща разлетелся в клочья. Белик кинулся навстречу гранатометчику, но Зимин уже сшиб со склона два шлема.

«Максим» гулко раскашлялся навстречу бегущим солдатам. Затем наступила пауза, прерываемая только отрывистыми винтовочными выстрелами. Барс выставил вперед уши и звонко чихнул.

— Салют микаде! — заметил Корж.

— Отступают? — спросил Белик, обрадовавшись.

— Нет, перекурку устроили.

Острый камень колол Коржу бок. Он отшвырнул его, лег еще плотнее, удобнее. Никакая сила не могла вырвать теперь его из каменной чаши, усыпанной гильзами. Он слышал голоса товарищей, окликавших друг друга. Красноармейцы отвечали командиру взвода, как на утренней перекличке: приемисто, коротко. Трое не ответили вовсе. Но когда голоса добежали до левого фланга, Корж громко ответил:

— Полный!

Барс снова чихнул. Из дубняка тянуло не то кислым запахом пороха, не то кизячным дымком.

Корж выглянул из-за щитка и выразительно свистнул. Горели луга. Рваной дугой изгибалось неяркое, почти бездымное пламя. Было очень тихо. Над лугами дрожал горячий воздух. Японцы молчали.

Вскоре ветер усилился. Костры, зажженные солдатами в разных частях поляны, слились в один полукруг. Три полосы: голубая, рыжая и седовато-черная — дым, огонь и выжженная трава — приближались к сопке. Сладковатый запах гари уже пощипывал ноздри. Несколько красноармейцев вскочили и стали вырывать траву на гребне. Затем смельчаки спустились еще ниже, чтобы поджечь багульник и создать защитную полосу пепла прежде, чем на сопку взберется огонь. Тогда с той стороны заговорили винтовки и «гочкисы».

Вслед за пламенем перебегали солдаты. Стали видны простым глазом их жесткие стоячие воротники, гладкие пуговицы и бронзовые звезды на касках. Маленькие и настойчивые, они напоминали назойливых насекомых.

Корж прижимал их к земле. Он чувствовал злость и могучую силу «максима». До тех пор пока пулемет пережевывал ленту, солдаты были во власти Коржа. Он мог нащупывать их за камнями, подстерегать, настигать на бегу. Охваченный яростью к цепким ядовитым тварям, он не терял головы. Искал... отбрасывал, рассекал.

...Тем временем пламя подкралось к сопке и исчезло из глаз. Сильнее потянуло дымом. Белик поплевал на пальцы и смазал глаза. Корж сделал то же. «Чадит,— подумал он с облегчением,— значит, кончилось». Внезапно стая фазанов выскочила из травы и, размахивая короткими крыльями, помчалась по гребню. Их сиплые голоса звучали испуганно. Пара бурундуков наткнулась на Барса, подпрыгнула и, точно по команде, бросилась вправо. За бурундуками зигзагами бежали перепелки. Подгоняя рыльцем подругу, прошел еж. Все, что жило в этой рыжей траве,— пернатое, четвероногое, покрытое иглами, мехом,— карабкалось по склону, спасаясь от огня.

Потянуло сухим зноем. Воздух над сопкой поплыл волнами.

Горбы сопок стали двойными.

— Рви! — крикнул Корж.

Белик скинул плащ и выполз вперед. Он запустил руки по плечи в могучую пыльную шкуру сопки. Ломал, мял, выдергивал жилистый щавель, стволы будяка, рвал крепкую, как проволока, повилику. Но что могли сделать пальцы бойца, если косы не брали здешнюю траву?

Огонь опередил его, забежал с тыла к Коржу. Белик схватил плащ и, ползая на коленях, душил желтые языки. Барс метался сзади, цеплялся за гимнастерки пулеметчиков и звал людей назад.

Люди не шли. Нельзя было уйти, потому что Мать своим грузным телом закрывала две пади. Тот, кто терял гребень, уступал точку опоры.

Четыре стрелка били с сопки. Били расчетливо, по-хозяйски. Не спешили, придерживали дыхание, спуская курок.

Ветер дохнул в лицо Коржу огнем. Пулеметчик утопил голову в плечи. Языки проскользнули под «максим», и краску на кожухе повело пузырями.

Пулеметчик крикнул Белика, но вместо повара отозвался кто-то картавый, чужой.

— Эй, русский! — крикнул картавый.— Оставь напрасно стрелять.

Корж хотел крикнуть, но побоялся, что голос сорвется.

— Вр-р-решь! — ответил «максим» картавому.

— Эй, брат! Оставь стрелять!

— Вр-р-решь! — отозвался «максим».

Раздался взрыв ругательств. Озлобленные неудачей, прижатые пулеметом к земле, солдаты обливали руганью обожженного, полумертвого красноармейца.

Они кричали:

— Эй, жареная падаль!

Они кричали:

— Ты подавишься кишками!

Они кричали:

— Собака! Тебе не уйти!

Пулеметчик не слышал. Ему казалось, что горит не трава — кровь, что живы в нем только глаза и пальцы. Глаза искали картавого, пальцы давили на спуск.

Наконец, пулемет поперхнулся. Солдаты взбежали на гребень.

— Стой! Оставь стрелять! — закричал Амакасу
— Вр-р-решь! — ответили «максим» и Корж.
Это было последним дыханием их обоих.

Глава тринадцатая

— Они попали в мешок,— сказал Дубах, придерживая коня.— Мы приняли лобовой удар, а тем временем эскадрон маневренной группы... Видите вот этот распадочек?

Всадники обернулись. Всюду горбатились сопки, одинаково пологие, мохнатые, испещренные яркими точками гвоздик. Всюду синели ложбины, поросшие дубняком и орешником.

Был полдень — сонный и сытый. Птицы умолкли. Только пчелы, измазанные в желтой пыли, ворча, пролетали над всадниками.

— Не различаю,— признался Никита Михайлович.

— Не важно. Падь безымянная. А сыну вашему придется запомнить: эскадрон на галопе вышел отсюда и смял левый фланг японцев... Одной амуниции две тачанки собрали.

— Говорят, им по уставу отступать не положено.

Дубах улыбнулся — зубы молодо сверкнули под пшеничными усами. Даже от черной повязки, прикрывающей глаз, разбежались колючие лучики.

— Ну, знаете, они не формалисты,— сказал он лукаво.— Господин лейтенант, как его, Амакаса. тот, я думаю, сто очков братьям Знаменским даст.

— Ушел?

— Нет, раздумал. Вернее, его Нугис уговорил. Не видали? Очень убедительный человек. Любопытно вот что,— заметил Дубах, вводя коня в ручей.— Когда стали перевязывать раненых, оказалось, что почти вся самурайская гвардия под хмельком. С маньчжурами еще удивительнее: зрачки расширены, сонливость, потеря чувствительности. Врачи утверждают — действие опия.

— Под Ляоянем нам водку давали,— вспомнил Никита Михайлович.— Полстакана за здоровье Куропаткина.

Он собирался уже начать рассказ о памятной маньчжурской кампании, но Павел поспешно перебил отца:

— А как же японцы?

— Возвратили... Двадцать три гроба, шестнадцать живых. Нам чужого не нужно.

— С церемонией?

— Не без этого. Их майор даже речь закатил. Говорил по-японски, а кончил по-русски: «Я весима радовался геройски подвиг росскэ солдат». Пересчитал трупы, подумал и еще раз: «Очиэн спассибо!» Капитан Дятлов по-японски: «Не за что, говорит, а качества наши всегда при себе».

Они подъехали к заставе. Здесь было тихо. Двое красноармейцев обкладывали дерном клумбу, насыпанную в виде звезды. Возле них в мокрых тряпках лежала рассада. На ступеньках казармы сидел белоголовый, очень добродушный боец. Он подтачивал клинок бруском, как делают это косари, и комариным голосом вытягивал длиннейшую песню.

За ручьем, где лежал манеж, фыркали кони, слышалась отрывистая команда.

Как всегда, казарма жила в нескольких сутках сразу: для одних день был в разгаре, для других еще не начинался. В спальнях, на подушках, освещенных солнцем, чернели стриженые головы тех, кто вернулся из тайги на рассвете.

Начальник подошел к окну и опустил штору. Подбежал дневальный.

— Не надо зевать,— ворчливо сказал Дубах.

На цыпочках они прошли в соседнюю комнату. Здесь за столом сидели Белик и Илька. Повар наклеивал в «Книгу подвигов» газетные заметки о Корже. Илька обводила их цветным карандашом.

На снимках Корж был суровей и красивей, чем в жизни.

Илька оглядела Павла и строго спросила:

— А вы правда Корж? Вы сильный?

Павел согнул руку в локте.

— Ого! А вы на турнике солнце можете сделать? А что вы умеете? Хотите, покажу, как диск надевать?

— Началось! — сказал Дубах смеясь.

Хмуря брови, Илька обошла вокруг Павла.

— Заправочки нет,— заметила она озабоченно.— Ну, ничего. Только, пожалуйста, в наряде не спите.

— Хотите видеть нашу библиотеку? — спросил Дубах. Он открыл шкаф и вынул огромную пачку конвертов.

Все полки были заложены письмами. Здесь были конверты, склеенные из газет, и пергаментные пакеты со штампами, открытки, брошенные на железнодорожном полустанке, и большие листы, испещренные сотнями подписей. Телеграммы и школьные тетради, стихи и рисунки.

Никита Михайлович нерешительно развернул один из листков. Это было письмо мурманского кочегара.

«Извините за беспокойство,— писал кочегар.— У вас сейчас дозорная служба, а я человек, свободный от вахты, и мешаю участием. Горе наше общее и гордость тоже. Пересылаю вам поэму на смерть товарища Коржа (тетрадь первая). Остальное допишу завтра, потому что с шести мне заступать. Товарищ командир! Прочтите ее, пожалуйста, как голос советского моряка, на общем собрании».

— Все зачитать было нельзя,— сказал Белик.— Там, где касается японцев, он как бы на прозу срывается.

Никита Михайлович молчал. Он растерянно рылся в пиджаке, перекладывая из кармана в карман то очечник, то пулеметную гильзу, подобранную утром на сопке. У него тряслись руки. Ни путешествие к месту боя, ни вчерашний выход в наряд вместе с товарищами сына не взволновали старика так, как этот переполненный письмами шкаф.

Он торопливо надел очки, сел за стол и громким стариковским тенором стал читать письма, адресованные заставе. Писали московские ткачихи, парашютисты Ростова, барабинские хлебопеки, подводники, геологи, проводники поездов, народные артисты, ашхабадские шоферы. Писали из таких дальних городов, о которых старый Корж никогда прежде не слышал.

Это были письма простые и искренние, письма людей, которые никогда не видели и не знали Андрея, но хотели быть похожими на него.

«Дорогие товарищи пограничники! — читал Никита Михайлович.— Мы не можем к вам приехать сегодня, потому что, во-первых, идут зачеты по географии и русскому языку. А во-вторых, Алексей Эдуардович сказал,

что ехать сразу — это будут партизанские настроения. Просим вас записать нас заранее в пулеметчики. Мы будем призываться в 1943 году и сразу приедем на смену товарищу Коржу. Пока посылаем пионерский салют и четыре лучшие мишени».

— Эту штуку надо списать,— сказал Никита Михайлович.

Но писем было так много, что он вздохнул и стал читать дальше.

«...Цоколь памятника предлагаю высечь из лабрадора, а самую фигуру поручить каслинским мастерам. Пусть медный боец вечно стоит на той сопке, где он отдал Родине жизнь».

«...Верно ли, что он умер от потери крови? Да неужели же такому человеку нельзя было сделать переливание или вызвать из города самолет?»

«...Мы, шоферы 6-й автобазы, обещаем подготовить четырех снайперов».

Бережно разглаженные ладонями Белика, лежали телеграммы, слетевшиеся сюда со всех краев Родины:

«...Медосвидетельствование прошел. Имею рекомендацию ячейки и краснознаменца директора. Разрешите выехать на заставу».

«...Телеграфьте: Калуга, Почтовый ящик — 16. Принимаете ли добровольцами девушек. Имею значок ГТО. Образование среднее».

«...Выездная труппа будет в первых числах мая. Готовим «Платона Кречета», «Славу». Сообщите, можно ли доставить вьюками часть реквизита».

«...Молнируйте: Москва, Трехгорная мануфактура. Имеет ли товарищ Корж детей. Берем ребят свои семьи».

Давно вернулись с манежа бойцы. Ушел, извинившись, начальник, и Белик увел с собой Павла. В казарме уже собирались в дорогу ночные дозоры, а Никита Михайлович все еще сидел за столом и громко читал взволнованные письма незнакомых людей.

Никогда еще он не чувствовал, что мир так широк, что столько тысяч людей искренне опечалены смертью Андрея. Он вспомнил размытую дождями дорогу к Мукдену, штаб полка, письма с тонкой черной каймой, наваленные в патронный ящик, и кислую бабью физиономию писаря, проставлявшего на бланках фамилии

мертвецов. Получила бы жена такой конверт, если бы его, Никиту Коржа, разорвала шимоза?

...Перед ним лежала груда писем. Горячих, отцовских. Не ему одному — всем был дорог озорной остроглазый Андрюшка... Он перевел взгляд на стену, где висел портрет Андрея Никитича Коржа. Художник нарисовал сына неверно: рот был слишком суров и брови черные, но глаза смотрели по-настоящему молодо, ясно, бесстрашно.

Никита Михайлович снял очки и облегченно вздохнул. В первый раз после памятной телеграммы он не чувствовал боли.

...Он вышел во двор. На площадке перед казармой бойцы играли в волейбол. Это был крепкий, дружный народ, возмещавший недостаток тренировки волей к победе. Черный мяч, звеня от ударов, метался над площадкой. Раскрасневшиеся лица и короткие возгласы показывали, что бой идет не на шутку. На ступеньках крыльца с судейским свистком в зубах сидел Дубах.

В одной из команд играл Павел. Маленький, большеротый, густо крапленный веснушками, он поразительно походил на Андрея. Только глаза у него казались светлее и строже.

Младший Корж играл цепко.

— Держи! — крикнул Нугис.

Это был трудный, «пушечный» мяч. Он шел низко, в мертвую точку площадки.

Павел рванулся к нему, ударил с разлету руками и растянулся на площадке. Мяч, гудя, пролетел над сеткой и упал возле Нугиса.

Дубах забыл даже свистнуть. Он посмотрел на отчаянного игрока и зашевелил усами:

— Ого! Узнаю Коржа по хватке!

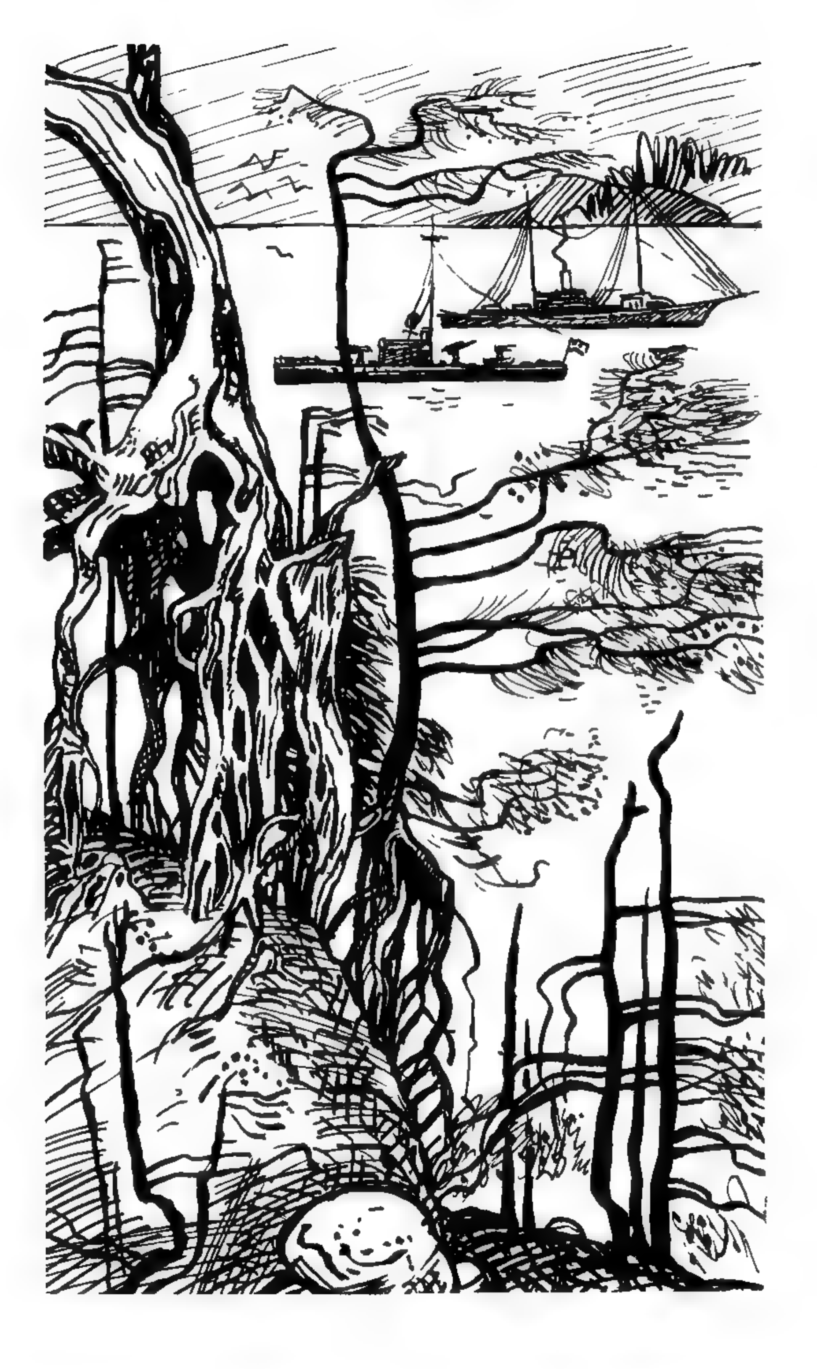
Никита Михайлович приосанился, гмыкнул.

— Какова березка, таковы и листочки,— сказал он с достоинством.

— Каков лесок, такова и березка,— ответил начальник.

1937

Рассказы



РЫБЬЯ КАРТА

Трое суток я ехал степью, среди неоттаявших пашен и мертвой, высокой травы.

Шел март. Лед еще резал у берега рыбацкие каюки[1], но голубые чистые тропки уже разбегались из лиманов к повеселевшему морю. Все чаще и чаще попадались мне старые байды, изнемогавшие под тяжестью ветра и рыбы, темные конусы соли и чаны, полные льда и тарани.

Я объезжал лиман, разыскивая Григория Гончаренко, неутомимого следопыта тарани и сельди. Старика знали всюду. Но легче было встретить осетра в грудах камсы или тюльки, чем седую голову Гончаренко среди тысяч ловцов, населяющих берега урожайного моря.

Судя по рассказам соседей, он был неистов в погоне за рыбой. Настоящий морской охотник — упрямый и крепкий, как мореный дубок. Трудно было сказать, когда Гончаренко обедал, где спал и сушил сапоги.

Он жил на краю Кущевки в щегольской хате, крашенной голубой крейдой. Я заезжал туда дважды, и каждый раз жена Гончаренко — рослая сутулая старуха в ватнике и железных очках — отвечала сурово:

— У мори...

А море дышало туманом, и тысячи байд, похожих друг на друга, как овцы в степи, паслись между Азовом и Керчью.

— Бабусю... бабусю, где же он ночует?

---

[1] Каюк — плоскодонная лодка.

Глухая, а быть может, упрямая, она повторяла все тем же суровым баском:

— Кажу вам... у мори.

И снова навстречу коню бежали столбы, и звонкий шлях, и ветлы с мелкими брызгами зелени.

Я продолжал погоню вдоль берега, от костра к костру, от пристани к пристани, надеясь застать Гончаренко в родной обстановке, среди тарани и влажных сетей, на фоне азовской воды,— и не мог угнаться за парусом.

Однажды совсем близко поднялся передо мной столб дыма. Я кинулся к берегу, но ветер уже заметал следы Гончаренковой байды.

Наконец дрожки вытрясли из меня последние остатки терпения. Я хотел уже вернуться в Азов, когда в плетенку подсел пропыленный дядько, подпоясанный обрывками сети.

— Кажуть, вы тоже по Гончаренкину душу? — спросил он, обрадовавшись.— Тоди идемо до Кущевки.

И мы снова помчались к знакомому дому с флюгерком из сухого осетра, где пятый день Гончариха грела на печке шерстяные носки.

Спутник мой оказался ходоком из-под самого Мариуполя. Ехал он действительно «по Гончаренкину душу», с трудным заданием переманить удачливого бригадира в рыбацкий колхоз «Долг моряка».

— И вы думаете, Гончаренко к вам перейдет?

— Ежака голой рукой не достанешь,— сказал мой спутник уклончиво.— Треба лаской... За сердце цеплять.

Он посмотрел на меня испытующе, точно сомневаясь, стоит ли доверить первому встречному тайну, и вздохнул:

— Е у мене...

Я сделал вид, что интересуюсь стаей скворцов. Ничто не успокаивает подозрительность лучше, чем равнодушие.

Поколебавшись, он снял шапку и достал из подкладки лист добротной бумаги с надписью: «Сальдо».

— ...Е у мене одна пидманка.

Подскакивая на дрожках, мы силились разглядеть неясный почерк «пидманки».

— Читаты не треба,— сказал «сват» терпеливо.— Ось слухайте... Хата новая под черепицею — раз, колодезь дубовый — то два... Пятьдесят вишен-трехлеток и семьдесят абрикосов — то три. А що вы скажете про ледник? А две железные кровати з иллюстрацией маслом? А венские стулья?

Были тут еще ульи, теплый собачник, полгектара огорода, четыре мешка угля, парниковая рама и даже медная лампа с двумя абажурами.

— Что ж у вас рыбы нет? — спросил я, когда «сват» спрятал в шапку «пидманку».

— Рыба-то е, да миста незнаемо.

— Места?

— Ну а як же ж,— заметил «сват» философски.— Люди шлях мают в степу, птица у неби... А рыба що? Дурна она була б, колы шляху соби не шукала.

— Гончаренко тот шлях знает?

— Гончаренко все знае,— сказал «сват» угрюмо,— у нього на рыбу секрет е.

Было уже изрядно темно, когда по разбитой дороге мы добрались, наконец, до Кущевки. Заметно свежело. Волны уже переговаривались глухими басками. Крутой ветер скачками мчался вдоль берега, и высокое, чистое пламя гудело в степи, где школьники жгли бурьян.

Гончаренковцы только что вернулись с моря. Человек пятнадцать ловцов стояли по бокам сети, растянутой вдоль темного сарайчика. То был отменно рослый, молчаливый и крепкий народ, одетый, точно по форме: на всех были черные шапки, ватные куртки с кожаными обшлагами, красные кушаки и неимоверные сапоги, которых не берут ни соль, ни камни, ни лед, ни морская вода.

Они работали молча. Слышно было только, как в углу шипит примус, придавленный котлом со смолою.

— А шо, толсто шла рыба? — спросил мариуполец, плохо изобразив равнодушие.

— На нас хватит,— осторожно ответили старики.— А вы кто?

— Инспектора,— отважно соврал мариуполец и тут же попятился, потому что рыбаки стали дружно ругать скверную снасть и протравку, от которой «тарань мре, як от воспы».

— Добре, добре... Товарищ Гончаренко вернулись?

— А бачите чеботы?

И точно: огромные, будто отлитые из чугуна сапоги висели возле двери Гончаренковой хаты. Так же неправдоподобно велик был окаменевший брезентовый плащ, еще сохранивший отпечаток тела хозяина.

Но больше, чем великанская одежда, удивил нас сам Гончаренко. Вместо богатыря рыбака мы увидели плешивого босого старичка, сидевшего на скамье возле печи. Голые пухлые ноги его были погружены до колен в лохань с горячей водой.

Увидев нас, Гончаренко смутился.

— Ревматизм наша болезнь,— сказал он заулыбавшись.— Лечусь вот.

Никак не походил на прославленного бригадира босой и ласковый старичок, скакавший перед нами, точно мальчишка, на одной ноге, чтобы не замочить половиц.

Мы разговорились, и мариуполец с места в карьер стал жаловаться на подвесные моторы, что пугают своим треском тарань. Гончаренко не возражал, но и не поддакивал гостю, вздыхал, гмыкал, подкручивал лампу и, наконец, предложил чаевать.

Пили долго. Хозяин о деле не спрашивал. «Сват» подмигивал мне украдкой, давая понять, как тонка и деликатна игра в свои козыри. Опытный сердцевед, знаток уловок тарани, он знал, как опасна поспешность.

Наконец, он начал издалека, точно подтягивая своими огромными багровыми ручищами сеть, полную рыбы.

— Скучная у вас, Григорий Максимыч, природа...

— Га? Скучная? А ничого соби,— благодушно сказал Гончаренко.

— Кажуть, воздух тут вредный... гнилой...

— Гнилой? А мабуть, и так.

Мариупольский «сват» плел разговор прозрачный и длинный, как невод, и только когда Гончаренко стал позевывать, была извлечена из шапки «пидманка» и приступлено к делу.

Гончаренко слушал молча, кивая головой каждому пункту. Видимо, чтение доставляло старику откровенное удовольствие. Он жмурился, посмеивался и все время подталкивал нас локтями.

— А ну, ще раз,— сказал он. —Як це там? Хата... Колодезь... Три бочки... Ступа...

«Пидманка» была зачитана снова. И счастье чтеца, что он не заметил ядовитой стариковской усмешки, гнездящейся в усах Гончаренко.

— Ну, так як же? — спросил мариуполец.

Хозяин вздохнул и подумал.

— Тонули у нас в позапрошлом году в страшенный мороз трое коней,— сказал он негромко, — мабуть, слыхали? Кобылка и два меринка... В море тонули... Ой, тяжко ж гибла худоба! Колгосп молодый. Рыбаки новонаплывшие... Я в разводье с ножом. «Хлопцы, рижьте постромки! Хватай за гривки!» Так нет же, трусятся. Смотрят, як старик рачком по льду лазит.

— Ну, и що же? — спросил мариуполец.

И вдруг Гончаренко озлился.

— Как що? — закричал он стариковским застуженным тенорком.— А с кого десять часов ледяная корка не слазила? С меня или с вас? Нашли себе дядю... Мне ревматизм кость перегрыз.

Разобиженный, ощетинившийся, он долго фыркал в темноте, когда все улеглись спать. И, засыпая под мерные залпы прибоя, я услышал, как мариуполец пошел с последнего козыря.

— Григорий Максимыч,— прошипел он отчаянно,— кажуть, е у вас секретная рыбья карта. Вы же старый... продайте... Ей-богу, продайте.

— Карта не карта, а тезис могу одолжить.

— Нехай буде тезис,— сказал «сват» покорно,— абы рыба шла.

— Ну, так слухайте.— Он откашлялся и, точно диктуя, важно сказал: — Моя куртка не от моря, от пота соленая. Шукать рыбу треба. Рыба красный флачок не выкидывает.

— Ну?

— Ну и все.

— Жадный вы человек,— сказал мариуполец с искренней грустью.

Я проснулся от стука и не узнал Гончаренко. Погруженный в тяжелые сапоги, накрытый, как колоколом, огромным плащом и зюйдвесткой, из-под которой

торчали седые усы, теперь он, бесспорно, был флагманом рыбацкой флотилии.

Шагая на цыпочках, он снял со стены дешевый школьный компасик, повесил на шею пестрые варежки и вместе с мариупольцем вышел во двор.

Я быстро оделся и нагнал их среди огорода. Гремя плащом, Гончаренко рысцой спускался под гору. Рядом со стариком, сбиваясь с тропы на огородные грядки, шел высокий взлохмаченный «сват».

Они прошли через сад, затопленный запахом рыбы и мокрой коры, и направились к берегу. Ветер упал, и рыбаки уже стаскивали на воду плоскогрудые байды. У самого берега я услышал, как мариуполец прогудел над головой бригадира:

— Григорий Максимыч, так як же, вы ж уважаете сливы?

— Я все уважаю,— сказал Гончаренко сердито.— Все, кроме дурнив. Бувайте здорови.

Он прыгнул в лодку. Медленно развернулся сырой, толстый парус, и байда ходко пошла к Утиной косе.

Тут я заметил, что «сват» смотрит на меня нехорошо, с неприязнью, точно на пройдоху соперника.

— Чи вы не з «Красного хутору»? — спросил он тревожно.

— Нет... Я... инспектор.

«Сват» не понял шутки. Снял шапку и нащупал в подкладке «пидманку».

— Треба козу додаты,— сказал он упрямо.— Старики молоко обожают.

1935

ГОРЯЧИЕ КЛЮЧИ

Разрешите, я свечку задую. Разговору темнота не помеха, а комарам — все меньше соблазна.

Если случится ехать в Актюбинск, через реку Илек, вспомните Федора Павловича. Скажу, не хвастаясь,— мост славный. Деревянный, без свай, а середочка выгнута аркой. Я, как зажмурюсь, сразу его представляю: для плотника воображение — первое дело.

У сосны, дорогой товарищ, жизнь по кольцам считают, а у нашего брата — по новым домам. Вот и прикиньте: в Самаре домов моих не мало, с десяток, в Ардатове — шесть, в Актюбинске — двадцать пять штук. На фосфорном комбинате бараки тоже нашей руки.

Телеги, бочки и кадки разные, ясно, в счет не идут. Хотя тоже вспомнить приятно. Живешь на Камчатке, а колеса твои черте-те где, по чувашским проселкам стучат. Великая сила — плотники! Без топора люди и посейчас бы в обезьянах ходили. Я б тому человеку, что топор изобрел, поставил бы медный статуй на горе Арарате. Сто сажен! И надпись бы выбил: «Вот он, настоящий Адам человечества».

...Сколько срубов загнило, топорищ изломалось, сколько щепы Волга угнала, а я все живу. Удивительно жилистое существо человек!

Три раза о гроб спотыкался, ребра помял, а душу не вытряс. У плотников она по-хозяйски — на столярном клею. Один раз под Казанью всерьез замерзал. Спасибо татарам,— как леща, в бочке оттаяли. Из-за

этого случая у меня — окаянное дело! — каждый февраль чирьи вскакивают и ногти секутся.

А еще был случай на фронте. Там нас немцы коечем угостили. Газ, что роса, светлый, веселый: лесом свежим, ландышем тянет. А пройдет день — и завял человек, точно в лицо купоросом плеснули. Прежде у меня глаз был плотницкий, верный. Стружку снимал — хоть самокрутку верти. Бревна без бечевки тесал. А теперь...

Всего не расскажешь. Разно в жизни случалось. Дома ставил, плотников обучал, веялки правил, ободья гнул, шорничал понемногу, а как перевалило за шестьдесят — сел под Алатырем в «Парижской коммуне». Ну, думаю, сточу последний топор — и баста. Да вдруг и махнул на Камчатку.

Вдруг — это только так говорится. Меня конюх знакомый подбил. «Почитай, говорит, газету. Требуются на Камчатку люди обоего пола, любых специальностей. Поездка в оба конца за государственный счет». Вот тут-то я и задумался. Если бы в Самару позвали, с твердой совестью отказался,— мало я там щепы нарубил? Иное дело Камчатка, край необжитòй, лес по топору, земля по плугу скучает.

Понятно, я не сразу поехал. Стал прислушиваться. Одни говорят: Камчатка на манер Сахалина. Сверху туман, вокруг — лед вековой, а питание консервное. Воробьи и те не выдерживают — от сырости у них перья не держатся.

Другие говорят — ничего. Климат нормальный. Вулканы свое отыграли. Береза растет, тополь. А заработки такие, что инженерам даже не снятся. Простые ловцы по восемь тысяч за сезон получают.

Рассказывать, как собирался, не буду. Дарья Григорьевна, жена моя, огородница, на Камчатку со мной не поехала. Истомишься, говорит, в море. Не всем бродягами быть.

Четыре сына живут отдельно, тоже затею мою не одобрили.

— Неладно, батя, задумал. Топор-от оставь. Тесать нечего будет. Кругом мох да синий лед океанский.

— Погоди,— отвечаю,— отца хоронить. Я еще до-

мов с полсотни свяжу из камчатского леса. А там увидим.

Ладно. Поехал со мной сын Андрей и еще тридцать пять плотников. Мастеров я сам отбирал.

Мечтал я всех тридцать пять довезти. Да не уберег. Растащили ребят в Приморье по стройкам. Доехал на Камчатку сам-дюжина, и сын Андрей в том числе.

Удивления у нас Камчатка не вызвала. Воробьев, правда, не видно. Щуки не водятся. Пчел не встречал. Остальное все то же.

Между прочим, когда скажут, что камчатский лес трухлявый, а земля слабосильная, отвернитесь и плюньте. Тополь здесь добрый. Береза камчатская, если пропарить да высушить, заповедному чувашскому дубу не уступит. У меня в сенцах бруски лежат: заденешь ногой, как чугунки звенят. Камчатское дерево растет не спеша, с натугой, борется с ветром, пургой, оттого и жилисто.

А земля здесь богатая. Видели у меня огурцы в кадке? Думаете, материковские? Нет, самые камчатские. Капуста кочнуется славно, лист крутой, чистый. Картошки штук по двадцать под корнем, и любая с кулак. Тут бы по-настоящему сеять ячмень двухрядный да гречу.

Да. Так я опять в сторону сбился.

На комбинате рыбном школу заметили? Сруб там чужой, а двери нашей работы. Меня всегда по дверям можно узнать. Станешь закрывать — ни скрипа, ни стука не будет. Только фукнет слегка. Хорошая дверь всегда с духом должна закрываться.

Мост на висячих канатах — тоже наш крестник. На Камчатке реки не больно широкие, но с характером — трехпудовые камни, как репу, швыряют.

Направили меня бригадиром на Горячие ключи сани делать. Приехал я сюда — и ахнул. Лежат голые камни, меж ними кипяток бьет. А из одной ямины через каждые семнадцать минут фонтаном вода поднимается. Сначала со дна пузырьки скачут, точно искры, потом кипяток начинает шуметь. Пошумит минуту и снова в камни уйдет.

Сначала я боялся от землянки далеко ходить. Вокруг горячие лужи, иные грязью плюются, иные на

манер чайников пар выпускают или дышат тихонько, будто во сне. Потом привык. Вода здесь целебная, серой пахнет, не уступит йоду. Как-то порубил я себе ногу, выкупался в горячем ключе, и стала рана затягиваться.

Ужасная сила! Тут по соседству в скале охотники ванночку вырубили. Наловчились лечиться. Теперь без фельдшера какие хочешь болезни вытравляют. Ревматизм — пара боится, туберкулез — серы; чесотка — кислой воды. Если же пальцы дрожат или сердце заходится, нужно железную воду пополам с грязью мешать... Вы не смейтесь! Один рыбак сухорукий год у меня прожил, все главную жилу распаривал. Полный курс не осилил, сердцем размяк, зато сани левой рукой здорово гнуть научился. И на этом спасибо!

Вы меня, товарищ, за болтливость простите. Место здесь тихое, галок и то не видать. В прошлом году я душу на одном ученом отвел. Вы его по Москве должны знать. Алексей Павлович. Собой плотный, немного на бабу похож, а шея от комаров полотенцем обмотана. Все температуру ключей измерял.

Теперь у нас вроде поселка. Сосед — тоже плотник. Поставили два дома да мастерские. Вокруг ключей земля жирная, сильная — огороды разбили.

На Горячих ключах дерево распариваем, дужки, полозки выгинаем. Стульев штук триста для рыбаков делали. Сорок конных саней — свистни, сами пойдут,— тридцать нарт собачьих да полста лыж с нерпичьей шкуркой.

Андрюшка мой на комбинат подался, к девкам поближе. А я вот живу, изба моя на теплых камнях стоит. Зимой, если зябнется, открою половицу — теплом снизу веет. Сопки в снегу, а гейзер шумит, кипятится. Не поверите, зимой трава растет — тонкая, шелковистая.

Кипяток тут круглые сутки бесплатный. Я уже забыл, когда самовар раздувал, все с чайником к гейзеру бегаю. Медвежью тушу на вертеле в один час увариваем.

Вы меня извините — людям спать не даю. А у меня от планов бессонница. Хотел бы я над самым главным гейзером вышку построить, чтобы народ сухим паром лечился. Я так полагал: вышку строить на манер ка-

ланчи. Наверху решетка из березовых брусьев, над решеткой полотняный конус с окошечком. Так у человека тело в пару будет, а голова на чистом воздухе. Можно, конечно, для порядка градусник вывесить и санитара с часами поставить. Надо бы только трубу да медных кранов штук десять. Вы не из техников? Дали бы ящик гвоздей трехдюймовых. Жалко, поди? Вот и все так инспекторы, губами почмокают, а вышка — в мечтах.

Ладно. Дело десятое. Я хотел вам про самое главное. Видели Охотское море? Вода очень невзрачная — серенькая, рябая. Кажется, против Каспия или Черного моря пшик один. Иная рыбеха километров за полсотни от моря заберется,— воды в речке с ладонь, так нет, ляжет на бок, плещется, прыгает, и все вверх, вверх.

На лосося под осень страшно смотреть: нос загнется крючком, зубы торчат, на спине горб. До того изобьется о камни, что мясо лохмотьями. Уж глаза-то не видят, а живет, тянется вверх. Материнская сила сильнее смерти. Хоть погибни — да потомство оставь.

Есть такой рыбий закон — где лосось народилась, там она икру мечет и смерть принимает. Два года камчатская рыба бродяжит, всю Японию кругом обойдет, в Америке побывает, а на третий год тоска возьмет по речной сладкой воде. Тучей на родину рыба идет, точно по всем морям сбор проиграли. И никогда реку не спутает. Удивительно домовитая тварь!

Почему это так, судить не берусь. Возможно, лет с тысячу назад какая-нибудь рыбья парочка отнерестилась в реке, а потомство этого случая забыть не может. Моря обмелели, реки повысыхали, лосось же все ходит по старой тропе.

Спите, товарищ? Если надоело, скажите: я буду про себя говорить. Алексей Павлович, тот замечательно слушать умели. Сам седьмой сон досыпает и все-таки носом тихонько поддакивает: гм-угу, гм-угу. «Это, говорит, у меня университетская закалка».

Для Камчатки рыба — что для Кубани пшеница. Удивительно урожайное море. Люди рыбу вычерпывают, чайки клюют, собаки, нерпы круглый год кормятся, медведи и те рыбачат, а все косякам края не видно.

Я, когда в первый раз настоящий рыбный ход увидел, глаза руками протер. Верите, вода в речке кипит. Катер пройдет, за винтом полоса рыбьей крови. В 1935 году дохлая рыба на берегах метровым навалом лежала.

Сказать по правде, не рыбаки здесь рыбу ловят, а она — рыбаков. Сельдь невода топит, горбуша сама в руки скачет, треска на голые крючки налетает. Здесь народ набалованный. Если за один раз черпанет меньше ста центнеров, так уж и нос воротит. На середину моря никто не заглядывает. Все сверху берут, фарта, дикого счастья ищут. Начерпает человек за неделю тысячу бочек — год будет руки в карманах держать.

Насмотрелся я в деревнях, как дуракам богатство идет. Вижу однажды — стоит на костре ведро, полно свежей красной икры. Бабка старая трубочку курит, варево щепкой помешивает.

— Зачем, старая, варишь?

— А собацкам.

И верно: на привязи сидят псы, облизываются.

— Знаешь,— говорю,— старая, за такое ведро на материке двести целковых дадут.

— Нам это ни к цаму.

— Разве не солите?

— А ты цто, икрянщик?

— Нет, я плотник.

Посмотрела на меня бабка и махнула рукой.

Вот я и думаю. Заводов у нас на Камчатке немало, размах есть, а хватки хозяйской не слишком заметно. Земля по уюту скучает. Поставить бы сюда хорошего начальника из военных или из плотников. Он бы из кеты соки выжал. Мясо на консервы, брюшки в коптилку, хвосты в клееварку, чешуйку на жемчужный завод. А другую рыбу вместо рассола прямо на лед и в натуральном виде на материк. Полагаю, что так оно вскоре и будет. Порядок только сначала следует навести.

На комбинатах люди, как птицы, живут. Весной в палатках галдеж, ярмарка, а чуть лист пожелтел, море зашумело, и берег пустеет. Одна память, что консервные баночки на песке. Смотреть неприятно.

Во сколько миллионов такая цыганская жизнь обходится, сказать невозможно. Я бы на месте Калини-

на такое безобразие воспретил. Пусть рыба бродит, или зверь, или птица. Ими вместо мозгов живот управляет. Человек же должен на месте сидеть и землю себе подчинять.

Каждому важно свое назначение найти. Я, например, плотник и парикмахером, так полагаю, не буду. А вот обследователь один приезжал, тот семь специальностей переменил. Так же вот ночью разговорились.

— Я,— объясняет,— теперь экономист, а прежде был финансистом, а еще раньше товароведом и старшим инспектором.

— Значит,— отвечаю,— вы вроде Михайлы Ломоносова, все достигли?

— Не все, но немного есть.

— Скажите тогда, ради бога, как отличить горбушу от чавычи?

— Ну, это мне неизвестно. Я экономист вообще.

— Значит,— говорю,— скоро на материк?

— Из этого вовсе ничего не значит. Куда нас поставят, там мы и будем народу служить.

Поговорили еще с полчаса. Разнежился он на медвежьей шкуре и сознался:

— А впрочем, дед, верно, уеду. Жена в Москве, а мне туман местный на сердце влияет.

Думается мне, товарищ, что много бродит по Камчатке посторонних людей. Сам — здесь, чемодан — в дороге, а жена — в Таганроге. Экономисты для своего кармана.

Спите, товарищ? Сказать вам по совести, скучаю немного. Знать, что на Камчатке останусь,— привез бы ульев с десяток, яблоню антоновку или пару анисовок. На вишню не надеюсь, а яблоня — твердо знаю — на Камчатке привьется.

Перезимую, а по весне поеду в Чувашию колхоз поднимать. Народ в меня верит, пойдет. Я уж и места здесь для домов приглядел. Сына моего Андрюшку женить пора. Здешние девки — дерзкие, верченые. Поеду волжаночку поищу.

Вот тогда и приезжайте в Ключи. Антоновку не обещаю, а мед камчатский к чаю будет.

1937

ЕГОР ЦЫГАНКОВ

В семьдесят лет потянуло Егора на север. Не бродить, не искать, как прежде, жар-птицу в тайге, а пройтись по земле не спеша, без пилы и лопаты, легким шагом милого гостя.

Пить бы чай на базарах, спать на сене, беседовать в поездах и дойти, наконец, до золотого ключа, что шумел когда-то от Байкала до самого Питера.

Здесь он первый построил шалаш из корья, первый принял в ладони окатное, тусклое золото.

Был Егор знаменит по-дурному — пестро, горласто. Носил шаровары синего плиса и золотую серьгу, катал в тарантасе голых арфисток, запивал солонину шампанским. Жил лихо, угарно — год в тайге, день в трактире. И слава носилась, как тень, за курчавым, хмельным приискателем.

«Егоркин ключ» — так было отмечено на всех картах и написано на деревянном столбе возле первого шурфа. Егоркин ключ! Навек! Навсегда!

Он часто с тревогой и болью вспоминал о столбе. Если что и осталось от легкой Егоркиной славы, так только бревно: смоленое дерево переживает людей.

Миллионщика из Егора не вышло. Через тридцать лет, помятый, остывший, испробовав все, что возможно, он пошел в сторожа на молочную ферму. Работа была нетрудная, но обидная. Не в характере Егора было ходить по ночам вдоль коровника.

Он часто рассказывал приятелям о знаменитом ключе, где жили в приисковой лесной простоте: дымно, страшно, весело, дико. Рассказы были как солдатские сказки — бравые, озорные, но с какой-то непо-

нятной горчинкой, точно Егор и жаловался на что-то и тайно завидовал.

Да, пожалуй, так и было. Хоть и бежал он от золота, от цинги, от таежного гнуса, хоть женился и вырастил трех сыновей, а беспокойство осталось. Рано ушел... Ослабел. Не дождался, когда золото снова улыбнется с лотка. Тайные мысли, как табачная пыль в кармане: хочешь — мой, хочешь — тряси, а положишь в него кусок хлеба — и опять старая горечь махорки.

Если слушали Егора, то с усмешкой. Никто из приятелей не верил ни в золотой ключ, ни в самородки величиной с конскую голову. И частенько, прохаживаясь один вдоль забора, Егор-приискатель отводил душу с Егором-сторожем, и оба были довольны.

...Сыновья помогли Егору деньгами. Старший, счетовод кондитерской фабрики, обстоятельный и важный (отец его немного побаивался), медленно отсчитал двести сорок тройчатками. Младший, шофер такси, говорун и насмешник, неожиданно отвалил восемьсот. «Дурак, легко кидаешься»,— подумал Егор с неприязнью, но деньги взял и даже поцеловал сына в щеку.

Зная, как страшна дорога на прииск, он тщательно подготовился: кроме парадных сапог из плотной гамбургской кожи, заказал пару ичиг — просторных и легких, точно чулки, насушил ржаных сухарей и в мешок, вместе с продовольствием и носильными вещами, положил тополевый лоток, бересту, накомарник и спички в железной коробке.

И ушел.

Отговаривать его не пытались, да и надоел всем Егор своей глухой воркотней. Он был из той упрямой стариковской породы, для которой рожь в старину была выше, солнце ярче, куриные яйца крупнее. Рослый, носатый, с жестким ртом хитреца и колючими голубыми глазами.

...На шестые сутки Егор слез в Чите и обрадовался городу, как милому другу. Все здесь было знакомо по прежним поездкам: и прямые, тихие улицы, и театр с фасадом в виде лиры, и сад за белой оградой, и краснощекие бурятки в стеганых шапках с кистями, и

песчаная нагорная часть, где сосны растут в палисадниках, как на юге акации.

Целый день он ходил по городу, открывая знакомые улицы и дома, и постепенно радость сменялась досадой. Стало заметно, что мил друг не брит. Заборы рассыпались, тротуары сносились, обшарпанные дома глядели невесело. Вместо извозчиков, увязая в песке, ездили два грузовика с фанерными будками, в каких обычно возят хлеб. Кондуктора называли их горделиво — такси, а пассажиры — собачьими ящиками. Сразу было заметно, что сильный город находится на заштатном положении.

Но еще досаднее стало Егору, когда он пропустил подряд шесть поездов на восток. То ли другие пассажиры были нахрапистее, то ли не в ту очередь Егор попадал, но каждый раз, когда он добирался до кассы, окошко было закрыто.

Он собирался втихую протиснуться в тамбур и уже соображал, как вернее обойти контролера, но в последнюю минуту кто-то из соседей сказал:

— Эх, отец! Было бы у тебя денег потолще — летел бы самолетом! Приисковые все летают.

Приисковые! А почему бы и нет? Егор даже обиделся. Мало, что ли, пито-сорено в этих местах? Самокрутки из сторублевок крутили. Всю Аргунь спиртом поили. А портянки из бархата? А верблюжьи тройки в парчовых попонах? Да помнит ли кто Егоркино дикое золото? Фартовые деньги что степные ручьи: вздулись, отшумели, а караси опять на мели.

Стакан коньяку, пропущенный натощак у буфетной стойки, окончательно разрушил сомнения старика. Триста целковых? Ну и что ж! Разве нельзя пошуметь немного под старость?

И только на аэродроме, получив талон с голубой полосой, Егор понял, что сделал глупость.

Летчик, мальчишка в волчьей куртке и фетровых сапогах, не понравился старику: тонкорук, жидок, вертляв. Да и машина была ненадежная — слишком легка, обшитая крашеной парусиной.

В тесную кабину влезли вдвоем с молодым техником, добиравшимся на север из Крыма. В городе техник купил арбуз, но доесть не успел и держал остаток на коленях завернутым в бумагу. Они летели в одном

направлении. Егор — на Егоркин ключ, техник — в город Удачный, где выстроили недавно химический комбинат.

Не успели они расположиться удобнее, как винт взревел, увлекая машину вперед. Мимо бортов понеслись клочья травы, бумага, солома. Самолет затрясся, пробежал по площадке и замер. «Не берет!» — подумал Егор облегченно. Он уже хотел вылезти и потребовать деньги обратно, но, взглянув за борт, испугался.

Самолет низко висел над дорогой, а навстречу неслись крыши, утренние, длинные тени стогов, телеги, коровы, кусты. В морозном воздухе слоями плыл дым. Чита уходила на запад, подмигивая светофорами, стеклами, последними фонарями... Боком, боком упала вниз галка, нырнул под крыло самолета паровоз. Иней на плоскостях самолета сверкал нестерпимо — шли прямо на солнце.

Вдруг город накренился, завертелся степенно и плавно, точно карусель на разбеге, а небольшое озерко за мостом стало боком — вот-вот опрокинется в степь.

Арбуз упал и покатился под ноги. «С ума спятил, чертов мальчишка. Лево! Лево! Эх, жизнь!» И Егор поспешно вобрал голову в плечи.

Так, зажмурившись, вцепившись в борта, с бородой, задранной к небу, он готов был принять обидную смерть. Но мотор ревел теперь глуше, спокойнее. Ветер стал неожиданно мягок, а сквозь веки просвечивала ровная солнечная теплота. И Егор осторожно открыл один глаз.

Перед ним в круглом зеркальце виднелся край шубы и легкая белая масочка мальчишки-пилота. В узких щелях поблескивали озорные глаза. «Шалыган какой-то,— подумал с обидой Егор.— Наблюдаешь? Обрадовался?»

Он с трудом поймал бороду и, заправив ее за ворот овчины, сделал вид, что зевает: подумаешь, самолет,— и мы, однако, летали достаточно.

...Шли на большой высоте над просторной землей. Всюду горбатились сопки, заросшие бурой кабаньей щетиной. Река лениво покачивалась в просвете между верхним и нижним крылом. Кое-где над тайгой сто-

яли озерки молочного дыма. Горело мелколесье. Бледные огоньки еле шевелились в хвойной шкуре, оставляя седые подпалины.

На полдороге к прииску техник вдруг расщедрился и предложил Егору докончить арбуз.

Они ели его на ветру, собирая семечки в горсти. Липкий сок тек от кисти к локтю, вызывая озноб. Техник вскоре ослаб и хотел выбросить за борт горбушку, но Егор не позволил. Он доскреб мякоть ложкой, а сок выпил из арбуза, как из чашки.

Потом они стали беседовать, крича во все горло, но не понимая друг друга.

— Что? Иркутск? Да-да... Викентий Корнилыч... Не слышу! Да-да... Четыре шурфа...— кричал техник.

— Во-во, в девятьсот третьем... Кириллыч... Во-во! Обратно на ключ!

Егор сидел на мешке, согнув колени, удивляясь, почему ветер задувает с хвоста самолета. Вытянуть ноги мешали педали, все время качавшиеся на дне кабины. Стоило упереться в одну из них, как педаль упруго возвращалась на место, а летчик в зеркальце грозил кулаком.

Вокруг было все то же. Тайга, ленивые реки, распадки, дымки. В оранжевом воздухе кружились тончайшие ледяные иголки.

Тайга... урчание мотора... солнце... тайга... И Егор задремал.

До прииска было далеко. Егор помнил это отлично. Стерлись имена, лица, названия рек и станиц, но прочно осталось ощущение бесконечной, нестерпимо тяжкой дороги тайгой. Вьюками и на плотах добирались на ключ двадцать семь суток.

...Пролетели горное озерко, миновали угрюмый хребет Оловянный, пожарище, плюгавую реку Чижовку и вышли, наконец, к городу Удачному, где работал спутник Егора.

Городок был горный, красивый, с белыми каменными домами и садом в виде звезды. Рядом с ним, в котловане, точно овцы, теснились старые избы. А по широкой дороге к заводу шли десятки, если не сотни машин.

Егор хотел было спросить, какой продукт выпускает завод, но вовремя остерегся, вспомнив, что химия — дело секретное. Да и поздно было: сильно стреляя, самолет шел на посадку.

Техник сразу выскочил из кабины и побежал по тропинке к поселку, а Егор с наслаждением вытянул ноги и утопил нос в овчине. Он оглох, размяк от долгого шума мотора. Что ни говори, а на твердой земле спать спокойней.

— Да вы что? — спросил пилот удивленно.— Укачались?

— Ступай, ступай,— строго ответил Егор.— Хочу — сплю, хочу — песню пою, мое место плацкартное.

Он так разворчался, что и слушать не хотел мальчишку-пилота, болтавшего разные глупости. Мало ли что самолет никуда не пойдет. Триста целковых заплачено! Если мотор барахло, пусть дают другую машину, хоть на руках несут до ключей.

И только когда подошел толстый начальник с крылышками на рукаве и объяснил, что Егоркин ключ и город Удачный — одно и то же; старик разом стих и позволил вынуть мешок из кабины.

— Значит, Егоркина ключа теперь нет? — спросил он тревожно.

— Значит, нет,— ответил начальник.

— Что же, кончилось золото?

— Нет, не кончилось. Вы к кому?

Улыбочки, которыми обменялись пилот и начальник, неприятно кольнули Егора. «За сезонника принимают»,— подумал он с горечью, но вслух сказал нарочито важно и строго:

— Про то нам известно. К самому главному.

Пошатываясь (еще гудело в ушах), он спустился под гору и пошел вдоль заводского поселка, недоверчиво спрашивая на каждом углу:

— Это что, прииск? Егоркин ключ тут?

Пожилые отвечали утвердительно, молодежь пожимала плечами, а большинство встречало Егора либо подмигиванием, либо смехом. Рослый старик в сбившейся шапке казался пьяным, и так как ответы не сходились, тревога охватывала Егора все сильней и сильней.

Мало ли за Байкалом схожих долин и ключей. Раньше была тут гора, крутая, лобастая, до вершины заросшая кедрачом. Теперь возле дороги высились груды белого щебня.

Егор помнил: вот здесь, под увалом, стояла китайская харчевня с красным бумажным тюльпаном у входа,— ханьшу разливали прямо из жестяных контрабандных бачков. А рядом — знаменитый чуринский магазин под цинковой крышей, с ковровой дорожкой, выбегавшей в грязь навстречу старателям. Тут была площадь... Колодец... Чугунное било... Изба с голубой вывеской «Вена» и зеркалами у входа. А где же сам поселок Рассыпка — мелкоглазые избы-землянки, шалаши из корья, все щелястое, вшивое, слепленное наспех руками будущих миллионщиков?

Да был ли тут прииск? Охваченный тревогой, он шагал все быстрей и быстрей, заглядывая во дворы. Ручей... мост... Тот ли? Всюду рядами стояли белые двускатные дома-близнецы, двухэтажные бараки, палатки со стеклами. Строились здесь по-заводскому, навек, с чугунными трубами, дренажем и фундаментами. Кое-где вдоль фасадов торчали даже прутики саженцев. И солидность эта, странная для прииска, особенно смущала Егора. Он знал твердо — золотая жила что лисий хвост: вильнет, поманит и снова уйдет. Лес в Рассыпке шел больше на гробы, чем на избы.

Наконец, он нашел то, что искал. Не Рассыпку, но частичку ее — низкую черную баньку возле ручья. Теперь здесь не мылись. Во дворе лежал на козлах керосиновый бак, внутри фанерной пристройки громыхали железом, но все-таки Егор сразу узнал дом по ставням с вырезами в виде трефовых тузов. Он сам сколотил эти ставни за пять золотников рассыпного.

К нему постепенно вернулась былая уверенность. Нашелся дом, найдутся и старики, помнящие молодого Егора. Пускай, кому нравится, называют прииск Удачным. Первый лоток и первый шалаш были Егоровы. И гора Егорова, и ключ, и поселок!

Не спеша отыскал он контору, поручил курьершам мешок и вошел в приемную «главного», улыбаясь затаенным своим мыслям о встрече.

Открывать себя сразу Егор не хотел. Пусть попробуют разгадать птицу по перьям.

К директору было добраться не так-то легко — мешала пытливая секретарша. В приемной толпились какие-то люди с бумажками и чертежными кальками. Но Егор взял хитростью. Он стал возле самой двери, делая вид, что читает плакат, а когда вышел какой-то военный, расправил бороду и двинулся вперед всех.

В кабинете сидело человек десять старых и молодых, по виду начальников. Егор не спеша обошел их всех, вежливо кланяясь и подавая мясистую ладонь. С последним поздоровался он с директором, коротеньким человеком в военном костюме.

Все начальники смотрели вопросительно. И Егор, улыбнувшись, сказал:

— Ну, вот и мы... Прибыли, наконец.

— Вижу,— ответил директор.— Чем я обязан?

— А ничем... Сорок лет не видались.

Директор пристально посмотрел на счастливое, потное лицо посетителя и поморщился:

— Понимаю... Вы, кажется, уже с утра...

— Ни боже мой,— закончил спокойно Егор.— Натощак не балуемся.

Он хотел еще немного поиграть в простачка, в чужого для прииска дядю, но директор уже потянулся к звонку. Приходилось поневоле ходить с главного козыря.

Егор все же дождался истопника и, только когда его взяли за локоть, торжественно объявил:

— А ведь Егор-то... Цыганков...— это я!

Все с недоумением посмотрели на здоровенного носатого старика в распахнутой шубе, под которой виднелся ватник. Он походил на загулявшего сторожа склада. А Егор подмигивал инженерам хитрыми голубыми глазами и медленно свертывал самокрутку, наслаждаясь произведенным впечатлением.

Теперь немного смутился директор. Только на днях областная газета упрекнула его в черством отношении к людям.

— Ах, Цыганков! — сказал он, силясь что-то вспомнить.— Позвольте... Егор Цыганков.. Ну конечно...

— Мирон Львович,— сказала секретарша,— да ведь это калильщик буров с восьмой-бис! Вы его сами посылали на грязи.

Но Егор покачал головой. Он не хотел принимать чужой славы.

— Егор, да не тот,— ответил он важно.— Прииск-то нашего имени.

Его не сразу поняли, а поняв, не сразу поверили. Пришлось достать из шапки клееночку и показать все, что сохранил Егор на память о прииске: и чуринский счет на солонину, и порох за 1906 год, и штрафную квитанцию, и карточку, где молодой курчавый старатель был снят навытяжку между граммофоном и фикусом.

Директор слегка удивился: основатели приисков ни разу ему не встречались. Но так как он был человек практичный, склонный к решительным действиям, то сразу пригласил редактора приисковой газеты.

— Случился один казус,— сказал он, кивнув на Егора.— То есть никакого казуса нет. Этот товарищ — тот самый Егор... Открыватель. Познакомьтесь... Устройте. Используйте... Что было, что есть. Он вам расскажет.

И «открыватель» отправился за редактором. Сначала в столовую, потом к главному инженеру, потом в бюро ИТР, завком, гостиницу, клуб и, наконец, в редакцию «Красного золота».

Весь вечер шустрый человечек в ковбойке и крагах, чмокая губами, записывал рассказ приискателя. А на следующий день Егор, с трудом узнав в газете свой портрет по бороде и пробору, прочел, что «глаза ветерана при виде крупноблочных трехэтажных домов подозрительно заблестели».

Так слава, расставшаяся с приискателем лет сорок назад, снова улыбнулась Егору. Он не искал ее, скорей сторонился, мечтая пройти по знакомым местам втихомолку,— она сама брела за ним, постаревшим, спокойным, заставляя здороваться с десятками незнакомых людей.

К нему прикрепили провожатого — краснощекого, восторженного техника в круглом пенсне. И тот, стараясь рассказать о золоте все, что сам недавно узнал, говорил без умолку, не давая Егору вставить ни одной фразы.

Первым делом он повел Егора к конусам белого щебня, таким высоким, что их хватило бы замостить всю долину.

— Обратите внимание на характер псевдокальцитов! — воскликнул провожатый, умащивая стеклышки на носу.— Рудное золото, по гипотезе Кедрова, результат интрузии магмы... Интрузия...— как бы вам объяснить? — это вроде школьного опыта. Ртуть под давлением проходит сквозь пробку. Так и здесь. Когда-то в гору под страшным давлением ворвалась золотоносная масса. Ворвалась, и вот... миллиарды брызг, недоступных глазу... мельчайших! Это губка, которую мы теперь выжимаем.

Он поглядел на Егора снизу вверх с почтительным любопытством. И каждый раз, переходя через канаву, поддерживал рослого старика под локоть.

Техник старался говорить понятно, но Егор уловил только одно: была гора — и нет больше горы. Одни ямы да грядки белых камней.

Он терпеливо ждал, когда техник покажет бутару[1], но они шли все дальше и дальше, мимо копров, дробилок, железных решет, под висячими канатами, перекинутыми с сопки на сопку, а старателей все еще не было видно. Навстречу им попадался странный, совсем не приисковый народ: горластые девки в резиновых сапогах, шахтеры с лампочками на брезентовых шляпах, машинисты в лоснящихся ватниках.

Егор не выдержал:

— А где же золото моют?

— А мы его не моем,— ответил провожатый смеясь.— Мы грызем, извлекаем...

Он показал на машину, присевшую у дороги, точно большая лягушка. Мерно раскачивая чугунной челюстью, она жевала белые глыбы, и сквозь скрежет, вопли и писк доносился торжествующий голос человека в пенсне:

— Бутары — хлам, ветошь... Здесь хозяева — отбойный молоток, аммонал, растворители... Нам дикого счастья не нужно. Прежде был фарт, теперь — арифметика. Четырнадцать граммов на тонну. Понятно?

---

[1] Бутара — станок для промывки золотоносной породы.

«Да видел ли ты настоящее золото?» — подумал Егор, а вслух сказал ядовито:

— Чудно-о... Вроде мельницы...

Они спустились под гору, к низкому бревенчатому сараю, где была прежде бегунная фабрика, и Егор с облегчением услышал знакомые мельничные перестуки и гул. Все здесь было по-старому: так же, погруженные наполовину в мутную воду, вертелись чугунные бегунки, так же блестела на медных листах амальгама и шумела вода в желобах. Вся эта карусель, заведенная бельгийцами в 1903 году, кружилась не спеша, массивная и скрипучая.

Техник махнул на нее рукой.

— Дедова мельница! — сказал он громко.— Циан — самое верное дело.

Они пошли дальше, к сопке, уставленной голенастыми вышками. Но на полдороге провожатый неожиданно свернул к больнице. И как Егор ни ворчал, техник заставил его пройти по всем палатам нового корпуса, где кровати отражались в половицах, точно в воде.

Ему показали странные круги с дырочками, шлемы, белые кресла, синие лампы, гармоники с матовыми стеклами и медные шары, о которые с треском билась лиловая искра.

Маленький сутулый врач, щуря близорукие глаза, быстро перечислял:

— Шарко... Дарсонваль... Соллюкс... Горное солнце... Рентген...

Белый халат резал Егору подмышки. Он шел на цыпочках по скользкому полу и, стараясь сохранить равнодушие и строгий вид бывалого человека, говорил:

— Известно... Шаркюв... Он своего требует...

Под конец Егору показали маленькую комнату и кровать, где из подушек торчал пепельный нос и доносилось покряхтывание.

Врач сказал с гордостью почти отцовской:

— Уникум! Рана в сердце... ножом... Шов — два сантиметра.

— А у нас в околотке зарезали фельдшера,— вспомнил некстати Егор,— садовым ножиком. Вот сюда.

Он не спеша расстегнул ворот и показал ямку над левой ключицей.

До рудника они добрались только к обеду. Егора долго водили с шахты на шахту, и в одной из них восторженный техник, представляя гостя сменному инженеру, воскликнул:

— Вот вам живой бретгартовский тип.

— Ну, а как же,— ответил, не расслышав, Егор.— Видали, конечно.

Шахты были просторные, с канатной тягой и трубами, шипевшими под ногами. Кое-где горели в железных намордниках лампочки.

Егор удивился длине штолен. Вся сопка, такая тихая с виду, была пронизана узкими ходами, огоньками, наполнена скрипом деревянных лестниц, шумом насосов, треском пневматиков. И в каждом тупичке он видел кружок света, спину в брезентовой робе и молоток — упрямый, жадный, неистовый, погрузивший в кварц дрожащее жало.

Изредка их останавливали в какой-нибудь щели, заставляя переждать взрыв, и тогда могучий и мягкий толчок встряхивал гору так сильно, что крепи отзывались испуганным треском.

Все это было настолько не похоже на прииск, что Егор рассматривал шахту спокойно, с легким любопытством постороннего человека. Но постепенно подземные толчки и вид прогнувшихся бревен наполнили Егора боязливым уважением к людям, настигнувшим жилу на такой глубине.

А когда они очутились, наконец, на заводе, для которого пять тысяч людей день и ночь разрушали окрестные сопки, Егор совсем растерялся.

В большом, гулком зале, совсем как на бойне, стоял мутный рев. Что-то живое, огромное, мокрое ворочалось среди цеха. Раскачивались чугунные лапы, чавкали измазанные глиной губы, с тяжким грохотом поворачивалось железное брюхо, застегнутое на заклепки. Временами из-под колес вырывался скрежет или надсадный визг камня, обреченного на смерть: гора шла в размол с глухим ропотом, стонами, точно не желая расстаться с золотой пылью.

Зато в соседнем помещении, где струилась широкая тропа ременной передачи, было тихо и холодно. На высоких деревянных чанах белели плакаты: череп с костями. И у каждого рабочего висела на поясе тупоры-

лая масочка. Егор наклонился над чаном: грязная пена пахла неожиданно — миндалем.

— Осторожней, отравитесь! — предупредил провожатый.— Слышите? Здесь циан.

Он заговорил о каком-то странном яде, растворяющем золото, словно сахар. Но Егор слушал плохо. Возле него по высокому мостику расхаживал полный достоинства курносый мальчишка в белом халате. Время от времени он доставал черпачком воду из чана и нес ее к столику, где за книжкой сидела девица в очках и берете.

— Так вот какие теперь прискатели...— заметил в раздумье Егор.

— Я не прискатель, я лаборант,— отозвался быстро парнишка.

— Все едино. Целковый есть рубль. Как фарт?

— Не знаю... У нас норма.

Егору стало грустно. Куда делся добрый шлих [1]— тусклый, грузный, который прочесывали большими магнитами.

— А где же золото?

— Да вот оно! — ответил техник смеясь.

Он показал на чан, полный бирюзовой воды. Глупая шутка рассердила Егора.

— Вижу,— сказал он сухо.— Веселый вы человек!

— Я серьезно.

— Варил один солдат из топора щи...

Он долго сопел и косился на техника, пока тот не догадался отвести старика в литейный цех, где ноздреватые губки переплавляли в кирпичики.

Здесь в квадратной печи гудело короткое белое пламя, на столах под стеклянными колпаками стояли весы, а пахло в зале не то москательной лавкой, не то аптекой.

От синих очков Егор отказался, опасаясь подвоха. Усталый и оглушенный грохотом барабанов с рудой, он долго смотрел в круглое стеклышко. Пламя было нестерпимо, по щекам текли слезы. Однако Егор стоял твердо, силясь разглядеть в изложницах золотые кирпичики.

— Понятно... Пробу в градусах нагоняете,— сказал он загадочно.

---

[1] Шлих — измельченная золотоносная порода.

Инженер улыбнулся и вместо ответа подал Егору теплый кирпичик. Слиток был настоящий — зеленовато-желтый и такой тяжелый, что у Егора заныла рука, но все-таки он усмехнулся и горько сказал:

— Похож карась на орла!.. Только перышки разные.

— Не понимаю...

— А нам ясно. Легко, и проба не та.

Инженер засмеялся:

— Вот вы какой... Фома.

— Нет-с... я Егор.

На вопросы он отвечал сдержанно, односложно, подозревая, что самое главное все-таки скрыли. И даже по дороге в поселок все еще посапывал и бубнил насчет дошлых химиков.

Ночевал Егор на горе, в легком деревянном флигеле с башенкой. Комната была слишком большая для одного. На оранжевых стенах висели чудные картины: петухи, зайцы, морковь, голые дети.

— Это спальня трехлеток,— объяснила девушка в белой наколке.— Интернат теперь на Серебряной речке.

Она бесшумно прошла по комнате, открыла окно и исчезла — точно растворилась в сумраке коридора.

Потолок был высок, воздух легок и чист, но спал Егор плохо: мешала драга. Всю ночь она выла, кашляла, скрежетала в луже под горой, разбивая значительные и важные мысли, накопившиеся у Егора за день. Временами сквозь фрамугу врывался круглый прожекторный столб — машина с рудой спускалась под гору,— тогда по стене пролетали перекошенные тени деревьев и рамы.

Среди ночи, ворочаясь под фланелевым одеялом, Егор вспомнил, что у двери нет задвижек, а сапоги стоят на виду. Вытяжки были богатые, гамбургские. Стой хоть месяц в воде. Обеспокоенный, он вытер сапоги о коврик и уложил их под матрац. Стало немного легче, но сон не пришел. Хотелось высказать вслух суждение о руднике, поспорить, хотя бы просто поворчать при постороннем человеке.

Он вскочил и долго разгуливал по половицам. Краска еще не устоялась, и ступни слегка прилипали

к холодному полу. «Лазарет...» — думал с досадой Егор.

На рассвете он не выдержал. Завязал в холстину лоток и крадучись вышел из дому. Не терпелось встретиться с землей один на один. Ведь осталось где-нибудь настоящее золото, грузное, ковкое, податливое и ногтю и зубу.

Он быстро спустился к реке и зашагал вдоль странных грядок, которые заметил еще вчера, по дороге на прииск. Островерхие, голые, они занимали всю восточную часть долины. И чем дальше уходил Егор от поселка, тем больше удивлялся человеческой силе и жадности. Похоже было, что вдоль реки прошли великаны с плугами. Они содрали со всех сопок хвойную шкуру, обнажили, поставили дыбом мерзлую глину, а потом пустили по горам и падям огромные бороны; там, где прошли их тяжкие зубья, тянулись теперь крутые отвалы: мокрая галька, камни, песок.

Было холодно. На теневой стороне отвалов и ям лежал снег.

Вскоре Егор нашел то, что нужно. Под обрывом рылся в сучьях и гальке ручей. Кое-где на излучинах темнел песок — крупный, тяжелый, с редкими блестками пирита и кварца. Место было верное,— у Егора сразу вспотели и ослабли руки, совсем как сорок лет назад, когда артельщик снимал с бутары печать.

Он выбрал место, где вода казалась уносистей, поддел песок краем лотка, и сразу, повинуясь нетерпеливым рукам, камешки затанцевали, закружились по шершавому дереву.

Он нисколько не разучился. Руки его, ритмично покачиваясь, встряхивали лоток мягко и сильно. Первой сползла земля, потом мелкий песок. По самому краю заскакали пустяковые, но упрямые камешки. Егор скинул их щепкой и снова принялся гонять по лотку тяжелую массу. Он был увлечен, глух ко всему, кроме шуршания песка и камней. Смывал... подкидывал... отбрасывал мелочь, стараясь не глядеть в знакомую лунку.

Как всегда, золото хитрило, пряталось в самых тяжелых железистых крупинках. Но Егор знал твердо: оно улыбнется под самый конец, когда руки готовы опрокинуть лоток.

Посмеиваясь, он вынул из кармана магнит и медленно разгреб черную кучку. Подкова сразу обросла бородой.

Он нагнулся... Ерунда!.. Кварц, железняк. Что ж! Первый лоток всегда холостой.

Он зачерпнул и промыл горсть песку. Ни крупинки! Это бывает. Надо бы подняться чуть выше. Промоина — верное место.

Шесть пустых лотков нисколько не смутили Егора. Тем лучше. Значит, козырь в колоде. И он отправился вверх по ручью, сначала к промоине, затем к бочажку, излучине, перекату, останавливаясь изредка у подозрительных мест, чтобы снова взять пробу.

Чем выше поднималось солнце, тем сильнее росло нетерпение прискателя. Напрасно он пытался успокоить себя воркотней. Пусто! С таким же успехом можно было искать золото в калужских суглинках.

Он стал горячиться. Швыряя на лоток комья земли, скатывал, торопясь, и тряс... тряс... тряс... старческими, лиловыми от холода руками, точно стремясь вырвать у земли признание в преступлении.

Наконец, он устал. Бросил лоток, а задубевшие руки сунул за пазуху.

— Шабаш! — сказал он с обидой.— Кончился фарт!

Кто-то негромко засмеялся. Он оглянулся и увидел девушку в берете и лыжных штанах. Она стояла на обрыве возле треножника и нацеливалась трубкой на пеструю палку.

— Смешной вы человек,— сказала она мягко.— Ведь здесь прошла драга.

— Ну и что же?

Вместо ответа девушка улыбнулась. Вероятно, он был действительно смешон — измазанный глиной, с багровым от досады лицом.

— Боюсь, вы ничего не найдете,— сказала она.

Егор озлился. Он терпеть не мог, когда его учили, особенно бабы. Он скривил было рот, собираясь сказать что-нибудь ядовитое, но девчонка была совсем молоденькая, длинноногая, с ясными глазами зверька, и Егор сдержался.

— Гляди в трубку... жужелица! — сказал он презрительно.— Нам лаборантов не требуется.

И ушел, вытирая руки о ватник.

Техник уже ждал его у столовой. На этот раз он повел его прямо к луже, где среди щепы и битого льда плавала драга — странное сооружение, похожее сразу на баржу, элеватор и морской кран. Она беспокойно ворочалась на месте, подгрызая ковшами обрыв, а из длинной железной трубы беспрерывно сыпались камни и сочилась вода.

После неудачной утренней разведки с лотком Егору не хотелось смотреть на машину.

— Это нам известно,— сказал он ворчливо.— На ядах работает.

— А вот и ошиблись. Тут золото рассыпное, старательское. Кстати, на драге старичок любопытный. Должно быть, вас помнит.

Они поднялись наверх и в стеклянной будке нашли капитана. Маленький волосатый человечек в охотничьих сапогах грыз копченую рыбку. Увидев гостей, он немного смутился и накрыл завтрак газетой.

Егор первый узнал капитана:

— Мурташка! Милок, это ты?

Удивленный фамильярностью, капитан сухо ответил:

— Да... То есть... Муртаза Ахмет — это я.

И тут же заулыбался, узнав старого друга.

Они расцеловались.

— К нам, навсегда?

— Нет, друг,— сказал довольный Егор.— У нас свое назначение.

— Служишь? А кем?

Егор помедлил с ответом. Стыдно было признаться, что сорок лет прошли зря. Он важно соврал:

— Кем? В инспекторах числюсь... Тысяча двести целковых...

— Ну-ну,— сказал изумленный Мурташка и даже покрутил головой.

Старики помолчали. Они так долго не виделись, что говорить было не о чем.

— Чего ж ты молчишь? — спросил гость.— Прежде ты браво рассказывал.

— Вольтаж меня режет,— сказал капитан.— Норма сто двадцать, дают — девяносто.

— Только?

— Ну да.

— Табак твое дело,— заметил Егор равнодушно.

Они посмотрели в окно на отвалы. Ковши лезли вверх, блестя отточенными краями. Слышался визг, точно отворяли сотню ржавых дверей. Железный пол в рубке дрожал так сильно, что Егор с непривычки лязгал зубами.

Он покосился на Мурташкины сапоги. Полуболотные... Целковых четыреста. Поди, заважничал капитан.

Вспомнив разговор с девчонкой у ручья, он кивнул в сторону каменных грядок:

— Так это ты вычерпал золотишко?

— Да, это я,— ответил тот просто.

Егору стало немного спокойнее. Как ни говори, своя приискательская рука.

— Так я и думал,— сказал он облегченно.— Одним лаборантам не взять.

Вскоре техник ушел, и Мурташка увел гостя наверх. Он и в самом деле считал себя капитаном, хотя драга за сутки проходила не больше двух метров. И слова тут были морские: трап, палуба, навигация, вахтенный журнал. Даже мальчишку-лодочника, отвозившего посетителей на берег, называли здесь гордо матросом.

У входа в маленькую комнатушку сидел милиционер. Заметив Егора, страж вскочил и взялся за кобуру.

— Посторонним нельзя,— сказал он поспешно.

Но капитан протолкнул гостя вперед:

— Инспектор... С разрешения дирекции.

И Егор снова увидел настоящее золото.

Контролер, важный седоусый старик, держа одной рукой совок, другой прикрывал его сверху, точно боялся, что крупинки разлетятся от ветра.

Золото ссыпали в чашку весов. Оно было ровное, чистое и светилось мягко, словно сухое пшено. Трое стариков склонились над ним, и каждый по привычке ругнул тощую землю.

Впрочем, все трое были довольны: «пшено» наполнило доверху холщовый мешочек.

Они посидели еще немного, вспоминая знаменитый в прошлом столетии ключик Желанный. Но беседа не разгоралась. Мурташка все время поглядывал на часы.

— Однако прощай,— сказал капитан неожиданно.— Вечером приходи.

— Прощай, однако,— машинально ответил Егор.

Он спустился по трапу, оглушенный, притихший, унося в ушах томительный визг драги, и до вечера ходил по поселку, отыскивая знакомые углы и друзей.

Стариковская память капризна. В семьдесят лет уже не мог сказать Егор, как звали приисковую мамку, бабу ласковую, падкую до курчавых, но подарок ее — берестяную табачницу с незабудками — и полушалок ее, красный, с большими стручками, и счастливый смех глупой бабы в шалаше из корья — помнил твердо. А вот с кем ушла от него, Егор не припомнил.

Кроме Мурташки, никто во всем городе не мог вспомнить Егора. Да и сам он шел по земле, не узнавая ни лиц, ни домов. Больше всего удивлялся Егор строгости жителей. То ли водки завозили небогато, то ли разучились старатели пить, но пьяных на прииске было мало. Один только раз, возле приискового ресторанчика, увидел Егор настоящего, всерьез загулявшего приискателя.

Толстогубый, чубатый парень, в плисовых шароварах, кушаке и сапожках гармоникой, лежал на спине посреди шоссе и грозил кулаком машинам.

Несколько раз шоферы оттаскивали пьяного на обочину. Но едва машина трогалась, приискатель, изнемогая от хохота, приползал и ложился на старое место.

Егора развеселила пьяная настойчивость приискателя.

— Эх, пофартило парню, колупнул золотишка!

Но какой-то прохожий сердито ответил:

— Это наш счетовод... москвич... Начитался романов, балда!

И Егору снова стало обидно и грустно. И этот не настоящий. Плисовые штаны... Мальчишка! Дурак!

Он посмотрел на счетовода с досадой, точно на фальшивый гривенник, а когда пьяный снова остановил машину, Егор схватил его за ноги и с наслаждением оттащил под откос.

— Лежи, ферт несчастный! — сказал он сердито.

Зайти к Мурташке Егор не успел. Вечером приехала машина и увезла его в клуб. Здесь гостя уса-

дили за стол, рядом с главным инженером и барышней с карандашиками, и председатель сказал, кивнув на Егора:

— Тут, между прочим, сидит наша живая история. Знаменитый старатель Егор Цыганков. Просим его рассказать про царскую каторгу.

Все захлопали, и Егор поклонился. «Помнят все-таки,— подумал он, щурясь.— То ли дальше будет».

Он не спеша влез на трибуну и громко сказал:

— Привет вам и здравствуйте, дорогие старатели-горняки! Расскажу вам все по порядку, как видел и что испытал понемногу... Жили мы обыкновенно, можно сказать, исторически... Больше в землянках. Год цингуем, неделю гуляем... Мальчиком я сотенный билет только один раз видел — на пасху, во сне. А тут сразу почти в миллионщики вышел.

Он рассказал про знаменитую четверговую дележку, когда прискатели, смеха ради, напоили свинью коньяком и сожгли вместе с китайской харчевкой.

— Крику было! — сказал, жмурясь, Егор.— Мадама китайская в одних исподниках выскочила. Хозяин сначала за ведро, потом плюнул... Сам хворост подкладывал, крыша горит — он громче прочих хохочет. Знал, как старатели забаву оплачивают.

Он подумал и стал рассказывать про сумасшедшего конторщика Чиркова, который даже тарелку с кашей принимал за лоток, потом про рябчика, указавшего клювом на знаменитую россыпь Желтуху.

Зал был просторный, гулкий, как бочка. И Егор, сгоряча говоривший громко и складно, вскоре начал сбиваться. Он никогда не выступал перед большими собраниями, а озорные истории, которые так хорошо рассказывать хмельной компании, звучали в этом огромном зале неумно и невесело. Неожиданно он вспомнил старую обиду на бельгийца Роберта Карловича и рассказал, как управляющий обсчитал его на одиннадцать золотников, что никому не было интересно. Потом сообщил вдруг, как воровали золото на кабинетских участках, унося его в ноздрях, в сальных волосах и на подошвах смазанных дегтем сапог.

Он хотел рассказать еще о драке на троицу, когда зарезали писаря Шашнева, но председатель уже звонил в колокольчик.

— Вот так и жили,— сказал Егор, уходя.— Весело жили!

Аплодировали дружно, но многие, особенно в передних рядах, переглядывались и откровенно смеялись.

Егор слышал, как инженер, наклонясь к председателю, заметил:

— Ну, к чему?.. Вот вам живая история!

А когда закрыли занавес, старичок истопник, всегда дававший оценку ораторам и артистам, сказал Егору неласково:

— Лучше б ты, дед, не срамился.

Неприятное впечатление сгладилось только в буфете. Там за столиками с пивными бутылками Егор целый вечер рассказывал незнакомым людям о прииске. Иногда его просили повторить, он начинал снова, в тех же словах, с теми же паузами и жестами, как двадцать — тридцать лет назад.

Лучше всего удавались ему истории о дележе мировой ямы и пожаре в трактире — событиях в жизни прииска самых значительных.

Впрочем, вскоре Егор устал, захмелел и даже о знаменитой драке на троицу рассказывал вяло, без особых подробностей.

— ...Артель на артель... Двое суток, как в германскую. У Михайлы винчестер, потом в ножи перешли. Девять на месте, семь в околоток!.. Большой кровью заплачено.

Очнулся он ночью в гостинице на горе, куда его привезли прямо из клуба. Кто-то заботливый расстегнул ему ватник и снял сапоги.

Спать уже не хотелось. В ушах все время звучал то шум драги, то обидный, громкий смех приискателей, то ворчание откровенного истопника. А когда Егор вспомнил, что завтра с утра обещался зайти разговорчивый техник, захотелось одеться и уйти подальше от вежливых объяснений и слишком умных машин.

...Не простившись ни с кем, Егор в сумерках вышел из города и часов через пять, одолев крутой заснеженный перевал, добрался до станции.

Здесь было тихо. Люди спали у печки вповалку. Горела свеча. Возле нее, распахнув полушубок, немо-



лодая женщина кормила грудью ребенка. Темное лицо ее было величаво и строго, ресницы опущены. Стойкое пламя освещало золотые метелки бровей, сердитые круглые ноздри и зеленые лохмы овчины, из которых поднималась сильная шея.

Егор сел напротив и долго разглядывал женщину. После трудной, скучной дороги тайгой хотелось согреться беседой. Рассказать умно, не спеша о пропавшей горе, о чанах с бирюзовой водой, о своей законной обиде.

Он снял мешок, отдышался, но тяжесть осталась. Рассказать, что ли, бабе? Поймет ли? Он предпочитал для солидных бесед мужскую компанию. Но со всех сторон неслись бормотанье и храп. Только одна женщина боролась со сном в этой комнате, наполненной теплым дыханием.

Он сказал (не бабе, себе самому):

— Однако пропало золото. Вес не тот, и проба не та.

Вздрогнув, она ответила медленно (не Егору, своим тайным мыслям):

— Ушел?.. Ну и что ж... Видно, в приискателях слаще.

— Теперь приискателей нету, одни лаборанты.

Он сел поудобнее и вкусно улыбнулся. Голос бабы, сонный, покорный, сулил бесконечные, робкие ахи-охи, которые нужны хорошему рассказчику, как писарю запятые.

Наконец-то он мог не спеша поделиться обидой.

Но женщина смотрела мимо Егора, в угол, суровым, пристальным взглядом.

— За винегретом ушел,— сказала она в пустоту.— Три рубля взял, кольцо... Где ж искать тебя, пес лукавый?

Егор не расслышал.

— ...спи, ясынька. С нами не баско.

Она совсем очнулась от сна и заговорила громко, заглушая дребезжание Егора. Видимо, женщина рада была неожиданному собеседнику. Но и Егор не сдавался. Не слушая друг друга, как два больших глухаря, токующих рядом, они спешили рассказать самое главное.

— ...Прежде немцы по бедности в такой дряни копались...

— Он хитер, кудлатый, хитер...

— Мельница... Всю гору в размол...

— Теплые пеленки себе на портянки...

Кто-то высунул голову из-под овчины и смотрел на них, как на сумасшедших. А старик, заросший до глаз колючей белой щетиной, и пожилая женщина с ребенком у голой груди сердито выкрикивали бессвязные фразы. В зале долго гудел непонятный дуэт двух рассказчиков. Наконец, Егор рассердился.

— Не скули,— сказал он строго.— Молчи! Ты послушай!

— Молчи ты! — приказала женщина гневно.— Я Сибирь пройду, я найду!

Он пробовал возражать, но она говорила, говорила, говорила, блестя сухими глазами, охваченная неудержимым желанием освободиться от слов, щекочущих горло.

И Егор понял, что женщина сильнее его, и боль ее глубже, и обида важнее.

— Ну что ж,— сказал он с покорной досадой.— Рассказывай ты...

1938

БОЙ

(Из жизни 2-й Краснознаменной стрелковой Приамурской дивизии)

Взводный приподнял полог палатки, выглянул наружу, и тотчас же его лицо покрылось крупными каплями.

— Эх, и сечет...— сказал он, стряхивая с волос брызги,— аж дышать нечем.

Разговоры умолкли. Несколько секунд красноармейцы прислушивались к дождю. Намокшая палатка глухо гудела под ударами капель. Ветер, обтягивая парусину, свистел в щелях. Временами распахивался полог, и тогда брызги влетали в палатку, точно маленькие стеклянные бомбы.

Дождь шел, почти не переставая, шестые сутки. Небо, точно намокшая парусина, грузно легло на сопки. Благовещенск, обычно отчетливо видимый из лагерей, маячил теперь только туманным силуэтом каланчи. Палатки стояли точно на островках, окруженные рябыми от капель озерами. Превратившиеся в реки ручьи несли к Амуру сучья, сено, рыхлые желтые клочья пены. Дождь лил с такой силой, что, запрокинув голову, можно было, не отрываясь, напиться, как из крана. Казалось, над землей больше воды, чем воздуха...

— Сорок сегодня, сорок — завтра,— ворчливо сказал Кабанов, оттирая щепкой с подметок жирные пласты грязи.— С таких переходов не то что сапоги, и сам в два счета развалишься.

Он повторял это каждый день. К высокому скрипучему голосу привыкли, как привыкали к ветру, шуму дождя. Кабанов брюзжал каждый день из-за длинных, трудных переходов по сопкам, из-за мокрых шинелей, частых стрельб. Ворчал монотонно и надоед-

ливо, «принципиально», придираясь к каждой мелочи... Только подвижной, неугомонный Шурцев находил терпение, чтобы отвечать Кабанову.

— Завел шарманку,— заметил он.— А что бы с тобой на фронте стало?..

— На фронте другое дело. Нужно рассудить...

Он не докончил. Сквозь пелену дождя приглушенно донеслась протяжная команда:

— Ста-но-вись!

Нахлобучив на голову фуражку, Шурцев первый выскочил из палатки. Нагнув голову, бежал он навстречу стегающим струям, ослепленный, задыхающийся. За ним неслось невнятное бормотанье Кабанова. Рядом, затягивая на ходу пояс, грузно хлюпал по лужам длинноногий Лутько. Из палаток, пригнувшись, торопливо выбегали красноармейцы. Кто-то, поскользнувшись на траве, упал, через него перескакивали другие...

На опушке, в сотне шагов от крайней палатки, быстро росла шеренга.

Удар грома точно разорвал небо пополам. Молния окрасила в ослепительный лиловый свет мокрые вершины сопок, сверкающую листву деревьев, палатки, тачанки. Ветер перегнул деревья на одну сторону, и казалось, листья вот-вот оторвутся и улетят вместе с косыми струями дождя.

Шурцев тщетно пытался разглядеть, что делалось в нескольких шагах от него. Но видел немного: часть шеренги, задернутой серой туманной шторой. Рядом с Шурцевым дергал головой, ежась от попадавшей за ворот воды, сосед по палатке Кузнецов. Вспышки молнии, тяжелый грохот разрывавшихся туч создавали какую-то особенную напряженную обстановку. Шурцев почувствовал, что его дергают за рукав.

— Зея... разливается!.. Подходит к элеваторам! — почти прокричал Кузнецов.

Ротный, скользя подошвами по мокрой траве, пробежал вдоль шеренги и исчез, точно растворившись в воде.

Увлеченный необычайной картиной грозы, Шурцев не слышал команды. Он опомнился только, когда секретарь партячейки Сизов, стоявший рядом с ним, рванулся вперед, точно его толкнули в спину.

Шурцев несколько минут не мог сообразить, бежит он впереди своих товарищей или сзади. Перед ним колыхалась чья-то вздувшаяся пузырем рубаха. Молния на миг вздернула тусклую завесу, и Шурцев увидел растянувшиеся далеко по дороге черные силуэты.

Шурцев прибавил ходу. Он легко обогнал коротконогого фыркающего Москалева, обошел сбоку Лутько, поднимавшего тучи брызг, и теперь бежал рядом с Сизовым, почти касаясь его плечом.

Шинели быстро впитывали струи дождя, голенища, наполненные водой, назойливо жали икры. Через каждые десять — пятнадцать минут приходилось останавливаться и поднимать кверху то одну, то другую ногу.

За базаром кто-то, задыхаясь, крикнул:

— Ходу! Ходу!.. Зея у элеваторов!..

Крик прибавил силы. Жидкая грязь, покрывавшая улицы, разлеталась под ногами, от рубах поднимался пар. Двенадцать верст от лагерей до элеваторов рота пробежала почти в час.

Еще издали была видна темно-желтая полоса воды с зачесанными белыми гребнями. Мелкие волны набегали друг на друга в нескольких метрах от складов. Другой берег Зеи скрывала мутная завеса ливня. В полукилометре синел разлившийся до горизонта Амур.

Вбежав вместе с другими в широкие двери элеватора, Шурцев остановился, изумленный обилием хлеба,— тысячи мешков поднимались вверх, точно стены необычайной, еще не оконченной стройки. Воздух, насыщенный мучной пылью, казался почти съедобным... Только сейчас Шурцев заметил, что он стоит в луже, натекшей с шинели. Оставляя следы, он пошел на другой конец склада, где пожелтевший от тревоги и бессонницы заведующий, взобравшись на мешки, объяснял бойцам, в чем дело.

Он говорил о затопленных Зеей полях, о размытых насыпях железной дороги. Наводнение могло лишить край урожая. На элеваторах лежали миллионы пудов пшеницы — от их спасения зависела судьба затопленных районов, ожидавших помощи. Эти миллионы мешков нужно было быстро поднять на два метра вверх. Опасность приближалась.

Вздувшаяся река несла мутную воду почти у самых складов, по улицам Благовещенска плавали смытые ливнем деревянные тротуары. Вода брала город штурмом. Но никто из бойцов, начиная от командира роты и кончая кашеваром, не думал, что Зея может их победить.

Не было лишней беготни, суматохи, выкриков. Каждый понимал, что нужно было делать. Партийцы первые схватились за мешки. И пошло.

Пока на другом конце двора сооружали помост из бревен, подбежали другие роты, и непрерывная человеческая лента потянулась от помоста к мешкам. Нужно было подхватывать пятипудовые мешки и бежать вслед за другими по лестнице из таких же мешков. Горы зерна росли на глазах у всех. Шум воды и дробный треск дождевых капель по крыше лучше слов говорили об опасности...

Не было усталости. Энтузиазм утроил силы. Шурцев, обычно еле поднимавший пятипудовик, сейчас, удивляясь самому себе, спокойно подставлял спину и легко двигался вслед за другими... Каждый раз, возвращаясь обратно, он встречал Сизова. Красный от натуги, секретарь бежал, придерживая мешок обеими руками. Мучная пыль густо покрывала его рубаху, стриженные ежиком волосы, шею. Встречаясь с Шурцевым, он подмигивал, точно хотел сказать о чем-то очень значительном. Почти наступая Сизову на пятки, бежал и ворчун Кабанов. Его веснушчатое круглое лицо было необычайно сурово. Сбрасывая мешок, он говорил про себя сипловатым баском:

— Шестнадцатый, семнадцатый...

У Лутько, захватывавшего по два мешка сразу, от напряжения из носа пошла кровь. Тонкая красная струйка смачивала напудренный подбородок. Лутько размазывал кровь рукавом и торопливо подставлял спину под новые мешки.

Ленивый, медлительный Кабанов сейчас удивлял Шурцева своей подвижностью. Торопясь подхватить лишний мешок, он забегал вне очереди. Но малейшая заминка могла остановить людскую живую цепь, и Кабанова немедленно осаживали на место.

— Не сбивать очередь! В затылок!

Никто из таскавших мешки не учитывал времени,

не чувствовал усталости. Шурцев не поверил, когда комиссар, подававший мешки, легонько толкнул его в плечо:

— Одиннадцатый час работаете. Ступайте в клуб, через двор налево.

Обернувшись у входа, Шурцев почувствовал нечто вроде гордости: на ступенях круто поднимавшейся наверх лестницы были сложены тысячи кирпичей-мешков.

Через двор Шурцев шел вместе с Лутько. Тот широко размахивал руками и хлопал Шурцева по плечу.

— Перенесем, сколько там? Миллион? Все перетащим... Ка-ак работают, черти!..

— Перетащим,— сказал Шурцев, вытирая пот.— Смотри, что четвертая рота делает!

На дворе строили насыпь из кольев и мешков с землей. Этой наспех рожденной плотиной думали защитить элеватор. Вода просачивалась ручьями сквозь щели, размывала прутья, глину. Вспененные волны лизали края насыпи. Ее поднимали все выше, стараясь опередить прибывавшую реку. Человек в разорванной до пояса рубахе, забивавший топором кол, повернул к Шурцеву забрызганное грязью лицо. Трудно было узнать обычно гладко причесанного, аккуратного политрука.

— Семь с половиной выше ординара,— сказал он, тяжело переводя дыхание,— шалишь, не прорвешься.

В нескольких метрах от насыпи, вровень с нею, плыли крыши домов, плетни, телеги, огромные скирды сена. Буксирный пароход, взлохмачивая колесами воду, тащил против течения баржу, и сирена выла, захлебываясь в дожде...

Зея, спокойная, мелкая Зея, несла теперь через грядки порогов тысячи бревен. Бойцы, стоя по пояс в холодной воде, ловили их баграми и подтаскивали к берегу. Тучи обрушивали на их головы новые ведра дождя.

Когда Шурцев подошел к клубу, около крыльца стояла толпа красноармейцев. Кто-то в штатском выворачивал клещами замок.

На сон было дано полтора часа. Бойцы, обжигаясь, глотали чай и, ложась вдоль стен, засыпали в мокрых шинелях, не раздеваясь. Нужно было выгадать

каждую минуту отдыха. От ночевки в памяти Шурцева остался только обжигающий ободок алюминиевой кружки и чья-то подошва, прикорнувшая к щеке. На девяносто первой минуте его разбудил Сизов.

Спотыкаясь от усталости, дымясь от пара, в клуб навстречу идущим на работу шли очередные кандидаты на отдых.

Хлебная гора все круче поднималась к потолку, но ряды мешков на другом конце складов казались неисчерпаемыми. В эти дни на элеваторах и ближайшем заводе работали не одни красноармейцы. Окружной исполком мобилизовал все население,— Шурцева то и дело окликали знакомые комсомольцы из городских ячеек. Рабочие кожевенного завода, партийцы, комсомольцы, служащие, кустари-китайцы насыпали зерно в мешки, шли в одной цепи с красноармейцами. Но всем было ясно — передовым, наиболее организованным, наиболее самоотверженным в этой схватке со стихией был отряд красноармейцев.

Сейчас уже отдыхали каждые четыре часа: многие начали падать от усталости. Однако воодушевление не покидало бойцов. Лутько, голый по пояс, улыбался, стиснув зубы; потный, багровый Сизов, взбираясь на самую верхушку лестницы, находил время, чтобы хриплым голосом подтрунивать над чихавшим от пыли Кузнецовым.

А вода прибывала. Скачущая полоска на щите давно перешла за восемь метров. Проходя через двор, Шурцев каждый раз видел безбрежную реку, покрытую крутящимися воронками. Далекие сопки казались плавающими на поверхности воды. Бревна, точно громадные окаменевшие рыбы, кувыркались и подпрыгивали на порогах. Плоты рассыпались от напора воды. Баржи трещали, срываясь с причалов.

Исчезали остатки незатопленного берега, но с каждым часом росла уверенность в победе. Новорожденная дамба — плотина на дворе — выросла в крепостную стену, и командиром крепости был до неузнаваемости вымазанный в грязи политрук, бегавший по насыпи. Его сильный голос, казалось, был слышен одновременно во всех концах двора.

В ночь на третьи сутки внезапно явился духовой оркестр. Он пришел подбодрить бойцов. Но первые

звуки веселого марша были встречены возмущенными криками:

— Ка-ак, играть?!. К хлебу, товарищи!

Марш оборвался на полутакте. Оркестр был обезоружен. Капельмейстер и барабанщик стали рядом с командиром роты и красноармейцем.

Лутько, подававший теперь мешки, взвалил на спину кларнетиста пятипудовик.

— Так-то лучше, браток... и без музыки... справимся.

К концу четвертых суток вода дотянулась до восьми с половиной метров и лизнула пол элеватора. Одновременно последние мешки зерна легли на вершину белой горы. Крутые ступеньки поднимались на несколько метров кверху. Трудно было поверить, что люди, копошившиеся у подножия сооруженной ими горы хлеба, могли проделать эту чудовищную работу в четверо суток.

К вечеру прекратился дождь. По благовещенским улицам люди плавали на плотах и лодках. Лошади по брюхо в воде брели к исполкому, очутившемуся на берегу широкого озера. Ветер, наконец, прорвал тучи. Бледно-желтый круг солнца, почти касаясь воды, низко висел над туманным горизонтом. Дома, сверкающая зелень деревьев, крыши, заборы, оседланные мальчишками, казались залитыми охрой. Зея, вспененная и грязная, точно после ледохода, несла по затопленным полям соломенные крыши, доски и бревна.

В толпе красноармейцев на дворе элеватора Шурцев встретил Лутько, старавшегося раскурить на ветру сырую папиросу.

— Забыл, черт их дери,— сказал он улыбаясь,— за четыре дня первую в рот беру. Не слыхал, сколько перетащили?

— Говорят, миллион,— ответил Шурцев, вытирая грязные руки пучком травы.

— Миллион? — переспросил Лутько.— Только-то?..

И, крепко затянувшись, стал равнодушно рассматривать, как ветер зачесывает на реке лохматые белые гривы.

1923

СКАЗКА О ПАРТИЗАНЕ САВУШКЕ

Есть в Приморье одна дальняя сопка. Зверь на ней не живет, деревья не держатся и трава не растет.

Говорят, будто сопка та из чистого золота. Только по-настоящему ее никто не видал: всегда она в тумане, всегда в облаках; дунет ветер, блеснет светлый краешек и снова утонет, а что в середине, одни ястребы знают.

Идти к сопке этой надо с опаской. Налево пойдешь — в трясине увязнешь, направо пойдешь — в обрыв попадешь. Только и есть одна медвежья тропа — от Гусиного озера, мимо железного камня, мимо двойчатки-сосны, через реку Бедовую. А дальше и тропа обрывается.

Ту дорогу один Савушка знал. Был такой небольшой мужичок, веселый, хромой, глаза озорные. Он в русско-японскую артиллеристом служил, там ему ногу колесом и помяло.

Жил Савушка беспокойно, как цыган. Зимой лошадей кует, плуги правит, а как дуб лист развернет, мешок за плечи — и прощайте до осени! Тайга ему голову навек закружила. Вот он все и бродил: в озера глядел, птиц передразнивал, к зверям прислушивался. Нравилось ему ключи да сопки заново открывать. Если бы Савушке вовремя азбуку показать, был бы он сегодня профессором. Да не вышло — пошел в кузнецы.

Он ружья с собой не брал. Звери Савушке вполне доверяли. Выдра ему рыбу укажет, медведь тропинку протопчет, белка орехов нащелкает.

Сопку Савва открыл, да золото добывать было некому: обложили Приморье японцы. Что тогда делалось, сказать невозможно! Печи холодны, а избы горят. Земля кровью напоена... Смеха детского нигде не услышишь!

Что ни сосна, то виселица, что ни холм, то могила. Выйдешь в поле, ляжешь ничком — слышно, стонет земля: невтерпеж ей под войском японским. Гуси дикие и те испугались: вместо осени летом снялись...

Ленин из Москвы зарево видел, войско на подмогу послал. Да генералы в то время пути заслоняли — пробиваться бойцам долго пришлось.

Решили партизаны в хребты уйти: оружие ковать, силы для боя накапливать. А сопку золотую на сохранение Савве оставили.

— Учить тебя,— говорят,— не приходится: хитер ты достаточно. Действуй!

Дали сторожу дробовик старый, шестнадцать патронов с картечиной и ушли.

Ладно. Одолжил Савушка у медведя знакомого шкуру. Сшил унты с медвежьей ступней. Стал по ночам японцев выслеживать. Часовые японские, те удивлялись сильно: какие медведи отчаянные — прямо в лагерь заходят!

А Савушка тем временем бухгалтерию вел. Были у него в тайге две березы с засечками. На одной пароходы японские, пушки, солдаты отмечены. На другой — горе народное: вдовы, могилы, дети бездомные.

Однако долго бродить Савушке не пришлось: разнюхали как-то японцы про золотую сопку, нагнали ищеек-собак и сцапали Савушку.

Генерал в ту пору Ину-сан был. Личность партизанам известная: кособрюх, зубы щучьи, ноги — будто всю жизнь с бочки не слазил.

Увидел Савушку и сразу заулыбался.

— Ваша хитрость,— говорит,— даже нам нравится. Будем знакомы.

Савушка — старик гордый, на вольном воздухе вырос — руки генералу не подал.

— Мы,— отвечает,— лещей вроде вас только за жабры берем.

Генерал даже скривился, но обиду сдержал.

— Хотите жизнь сохранить?

Савушка сразу смекнул, к чему разговор.

— Эко добро! — отвечает.— Я уж и без вас осину себе подобрал. Скучно стало землю топтать.

— Хотите, дом выстроим, пятистенку? Графский титул дадим.

— Да, не вредно, пожалуй. Дайте неделю подумать.

Отвели Савушку в камеру. Поят чаем, кормят икрой, балыками кетовыми.

Савва думает. А войска между тем пробираются. Сквозь горы Уральские, через степи Барабинские, сквозь тайгу — на Дальний Восток.

Вскоре приводят Савву обратно.

— Согласен тропу указать?

— А сапоги болотны дадите? А пороху десять кило? А жеребца племенного?

— Все дадим... Веди только скорее!

— Ой, боюсь даром отдать... Дайте еще неделю подумать.

Война разгорается. У японцев уже золото на исходе, а Савушка все торгуется. То лодку новую потребует, то жене шубу суконную, то олифы ведро. Наконец, видит, что дальше тянуть невозможно.

Обдернул пиджачок и выходит вперед.

— А ну вас,— говорит,— ко псам! Раздумал я золотом торговать.

Вот тут-то японцы себя показали. Срезали Савушке кожу на пальцах, опустили руки в царскую водку. Ни слова Савушка не сказал, только скрипнул зубами. Желчь лягушачью в жилу ввели, в угли горящие ногами поставили — и то промолчал.

Залечили — и снова. Бьются месяц, бьются другой: то шоколадом накормят, то керосина в ноздри нальют, а все не могут Савушкина характера одолеть. У генерала Ину от тихой злости лишаи по телу пошли.

Подойдет к камере, глянет на Савушку и посинеет в лице.

Между тем войска вперед продвигаются. Через Саянские горы, через Яблоновый хребет... сколько сапог износили, сколько патронов извели, сказать невозможно!.. Наконец, пробились и залегли в тайге, недалеко от японского лагеря.

Видят японцы, что Савушку ничем нельзя взять: он всякую тайную подлость, как белка пустой орех, предугадывает.

Вызвали главного химика. Генерал Ину-сан спрашивает:

— А ну, какие есть новые газы?

Тот докладывает:

— Иприт-самдерит, тило-третило, купоросный карбид. Сжигает роту в четыре минуты.

— Нет, не то...

— Тогда бим-бомо-бромо-кислый экстракт пополам с мышьяком. Ужасная сила. Десять лет на том месте трава не растет!

— Это старо. Нет ли того газа, чтобы от него человеческая совесть окривела?

Тут-то химик и сел.

— Нет,— говорит,— до этого наша наука еще не дошла, не берусь.

— Ну, так вот тебе трое суток сроку: или орден коршуна трех степеней, или один конец — харакири.

Ладно. Вскоре приносит химик черный баллон.

— Вот он,— кричит,— умослабительный ангидрид! В тюрьме на смертниках испытал. Отцов продали! Все тайны свои разболтали!

Взяли и усыпили тем газом Савушку. А на ночь возле койки посадили двух писарей, чтобы бред больного записать.

До полуночи Савушка еще так-сяк крепился, только зубами тихонько поскрипывал. А там дошел газ до самых центров. Крякнул Савушка и понес. Чешет и чешет, точно из пулемета. Писарей всех замучил.

Наутро приносят генералу те записи. Ровно тысяча двести страниц. В штабе радость. Ину-сан именинником ходит, химик дырку для ордена провертел.

Однако вызвали генерального переводчика. Воздел он на нос очки, стал читать Савушкины откровения. Да и споткнулся на первой строке.

— Виноват,— говорит,— такие слова по-японски не могут спрягаться и корни не те.

— А ну, вглядись пристальнее.

Почитал переводчик еще немного и сдался.

— Освободите,— просит,— глаза слезятся, щиплет сильно.

Спасибо, ефрейтор один подвернулся — участник русско-японской войны. Заглянул он в тетрадь и рапортует:

— Спряжения те известные, на материнской основе. Разрешите перевести.

И перевел. Генерал испариной даже покрылся. Савушка, он и раньше озорной на язык был, а тут в беспамятстве самого себя превзошел: насчет золота ни гугу, а чего другого — сколько угодно!

Наконец поняли японцы: выхода нет. Решили всех зверей допросить, где золотая сопка. Вызвали из Токио одного дрессировщика: он на всех звериных языках умел разговаривать, щуку немую — и ту понимал.

Собрали зверей, птиц таежных, дали им сладкую пищу. Медведю — кетовую головку, выдре — брюшки, соболю — мозговушку, бобру — траву речную, зайцу — кочерыжку, кроту — червяков, цапле — лягушку, росомахе — падаль лесную.

Стал дрессировщик тайну выпытывать.

Заяц уши прижал, божится:

— Наша тропа возле грядок. Другой не видал.

Соболь лукавый облизнулся, соседям моргнул:

— Еж — он грамотный, на дубовом листе все тропинки отметил.

Еж щетину поднял, забурчал:

— Нет листа... Бобер его съел.

Бобер спорить не стал. Брюхо погладил и говорит:

— Лист дубовый теперь ни при чем. Была тропа, да ее партизаны на колесо намотали, с собой увезли.

Даже крот, зверек тихий, и тот разворчался.

— Я,— говорит,— близорукий, глухонемой. Живу в стороне. Разрешите уйти.

А медведь от обиды даже взревел: он Савушке давно приятелем был.

— Ер-рунда,— кричит,— какая! Р-рыба ваша тухлая. Малины хочу!

И ушел в лес по ягоду.

Только росомаха — зверь подлый — нажралась печенки, лизнула дрессировщику руку и шепчет:

— Есть за Гусиным озером след в кедраче... Пойдешь налево — в трясине увязнешь. Направо — в обрыв попадешь. Идите мимо железного камня, мимо

двойчатки-сосны, через реку Бедовую, прямо по медвежьей тропе.

Словом, все разболтала бесстыжим своим языком.

Ладно. Наутро решили Савву казнить. Хотели ему кишки на телефонную катушку намотать. Однако генерал Ину-сан запретил.

— Это,— говорит,— не казнь — просто детское наказание. Надо ему такую муку придумать, чтобы по капле смерть в жилы вошла.

Привязали Савушку к тополю. Напротив столик поставили. Пельмешков тарелку, браги кувшин, мясо с подливой.

Генерал Ину-сан узлы все опробовал.

— Приятного,— говорит,— аппетита. Простите, что без сметаны обед!

И ушел в лес с батальоном. Впереди пулеметчики, позади пушки дальнего боя. На лошадях кожаные торбы навьючены: золото собирать.

А звери между тем тоже времени не теряли: соболь веревки Савушке перегрыз, заяц вперед побежал войска предупреждать, ястреб взвился в небо за батальоном следить, а медведь носом покрутил и проревел:

— Я им тропу укажу!..

Зашел вперед и протоптал от озера другую тропу. Даже камень железный выдернул и на новое место поставил.

А бобры — те хитрее всех оказались. Перегородили Бедовую реку плотиной и пустили по новому руслу. Батальон и пошел стороной черт те куда.

Идет день, два... неделю идет. Вокруг болота урчат. Кедрач шинели рвет, камни сами под ноги кидаются. Уж дух у солдат стал заходиться. А в тайге все просвета не видно. Тропа медвежья бежит и бежит.

Того японцы не знали, что Савушка в отряд дохромал. Давно гостям обед был в тайге приготовлен: на первое — ружейный борщок, на второе — шрапнель с пулеметной подливой, на сладкое — пирог из фугасов.

Наконец, завела тропа японцев в ущелье, где нет хода-выхода. Темнота подземельная. Стволы в четыре обхвата, мох столетний. Шепотом в таком месте — и то говорить неохота.

Видит генерал, что увязнуть возможно, подал команду:

— Кр-ругом арш!

Да уже поздно: со всех сторон партизанские ружья нацелены. Выходит из-за дерева Савушка.

— Отставить! — говорит. — Здесь наша будет команда. А теперь, дорогие гости, давайте прикинем, почем ныне фунт лиха. Разом за все посчитаемся. За жен наших, за мертвых детей, за пшеницу неубрану, за всю лютую муку, что терпела земля...

И посчитались...

Крапива навоз любит. На том месте она теперь густо растет.

1938

ТОВАРИЩ НАЧАЛЬНИК

Утром начальник открывает книгу с готическим шрифтом. Плотной ладонью он прикрывает страницу и требовательно спрашивает самого себя:

— Das Pferd? Лошадь... То есть конь.

— Das Gewehr? Ружье...

Книга залистана, изорвана сотнями нетерпеливых пальцев. Ее страницы, полные крестов, «от» и «до», высушенных клякс, топорщатся, как старая колода. Даже стеклянная резинка не может стереть искренней и страстной ненависти школьников начала нашего столетия к этому чинному старому учебнику.

Начальнику тоже не нравится ни история мальчика, потерявшего веревку, ни нравоучения хозяина. Он сам с восьми лет был таким мальчиком в станице Новохоперской. Его самого драли без меры обрывком такой же веревки. Тридцатилетний чекист вежливо и сухо как ненадежного специалиста разглядывает толстого мельника, на щеках которого отложены жир и послеобеденное спокойствие... Очень жаль, конечно, если хочется читать о Веддинге, о забастовке в Гамбурге, о старой неистовой Кларе, обрушившей с трибуны рейхстага великолепную кощунственную речь,— хочется читать, а в книжном магазине показывают пустые полки.

Ну что ж, приходится начинать с «васиздасов», как хину, проглатывать терпкие поучения мельника, терпеливо повторять по утрам нудную чертовщину:

«...Wen ich liebe? — fragst du mich.— Meine Eltern liebe ich...»[1]

Порция немецкого языка стала обязательной, как умывание, как турник по утрам. Страницами старого учебника Глезера и Петцольда открывается долгий день начальника заставы. Он пригнан плотно. Еще с вечера Гордов, точно патроны в обойму маузера, туго вгоняет в записную книжку восемнадцать рабочих часов.

«6.30 — Осмотр конюшни. Почему у Меркурия опухоль? Вызов ветеринара.

10 — Политзанятия. Дальний Восток к концу пятилетки. Сравнить с Каспием и Севером. Ответить Журавлеву, почему отдаем в аренду японцам рыбалки. Спросить Ш., где достать рыболовную конвенцию.

11 — Накрутка Костину. Как расколол ложе винтовки?

16.30 — Зачетные стрельбы. У Максимова слаба мускулатура. Подтягиваться на турнике. Узнать о щитах.

18 — Разобрать новую литературу. Почему не прислан Фрунзе?

19.45 — Вырезки о покушении Горгулова. Ст. Лабинская.

21 — Рационализаторская книга. Армейское обмундирование к нарядам непригодно. Рвется в коленях, локтях. Напомнить в отряд о кожаных костюмах (лучше яловочные и полуболотные сапоги)».

Эта книжка только мертвый циферблат дня, скромная стрелка, указывающая последовательный путь рабочих часов. Ее носят в боковом кармане и к концу каждого месяца сжигают. Но есть еще другая, страшно заветная зеленая тетрадища, сшитая из четырех общих. С нее не разрешается стирать пыль — она прячется в самом дальнем углу полки, за строгим барьером уставов. Это, конечно, не дневник, потому что у начальника нет желания посмотреть на себя со стороны или издали. И, во всяком случае, не стихи, потому что их музыка всегда удивляет начальника, как странное, дьявольски трудное словесное рукоделие.

---

[1] «Кого я люблю? — спрашиваешь ты меня.— Моих родителей люблю я...»

Не дневник, не стихи, но некоторые мысли и наблюдения за девять лет кочевок по границе. Здесь каждая прочитанная книга проходит, оставляя свои лучшие абзацы и строки. Здесь анатомирован каждый боец маленькой горстки чекистов. Наконец, в клетчатых страницах спрятаны мысли, которые не хочется терять и некому высказать на этом островке посреди тайги.

Три года длится на границе красноармейская вахта. Три раза отмечал начальник в тетради ее начало и конец, девять раз ежегодное пополнение. Каждую осень за тысячи километров военкоматы отбирали ему новое человеческое пополнение. По этим людским ручьям Гордов судил о возрастающем материальном и культурном богатстве страны. Сначала приходило немало молчаливых толстощеких крестьянских парней, испуганных прикосновением холодной машинки к затылкам. Парней упрямых, замкнутых, как их окованные жестью сундучки. Этих деревня еще провожала отчаянно, с пьянкой, после которой отливают водой у колодцев, с песнями, полными тоски.

Парни были малограмотны и безграмотны. Парни носили онучи березовой белизны. Было много пота, стрельб, политчасов, трудных, как первые роды. В те годы начальник носил шинель с оперными красными ребрами, светлый чуб и дрянные брезентовые сапоги. Он только что вернулся с фронта, сам был малограмотен и в тысячу раз лучше, чем тощую политграмоту Коваленко, знал, что динамит «ударяет в твердое», а мильс взрывается на четвертой секунде...

Потом стали приходить люди, оставившие железные седла «клетраков», первые колхозники; молодняк, знающий, что такое котлован, деррик, опалубка; напористые рабочие с беспокойными руками и кучей вопросов, грамотеи, бригадиры — люди, привыкшие сами командовать; осовцы, разбирающие винтовку с завязанными глазами.

На каждого приходили характеристики, и каждая была неопределенна, тускла, как пятиминутная фотография.

Военкомат писал:

«Михеев Василий Петрович. Член ВЛКСМ. Рабочий. Родственников за границей не имеет».

Зеленая бездонная тетрадища добавляла:

«Комсомолец с 1925 года. Наборщик. Стрелок второго класса, потому что всегда торопится и дергает спусковой крючок. Политически развит достаточно, хотя иногда скрывает знания, чтобы не обогнали другие. Решителен и поспешен в действиях. Силен физически, но выдыхается на больших переходах. Горд, о чем можно судить, например, по таким выражениям: «Я все превзошел» или: «Поди, Ваня, умойся». Вначале вступал в пререкания с младшим командиром на тему, можно ли красноармейцу носить длинные волосы.

М.— из таких людей, которых всегда следует скипидарить. К коню привыкал трудно. Пытался влиять на товарищей, говоря о конском составе: «Пусть они околеют, я пешком скорее дойду». «Не хочу я ей ж... суконкой тереть,— подумаешь, барыня». Признался в ошибке на собрании ячейки.

Хорошо проявил себя на операции у Серебряной пади, где, не растерявшись, задержал трех вооруженных к/б...[1] Из библиотеки берет Джека Лондона, Новикова-Прибоя, Фурманова, Лавренева, пишет на полях замечания. Жаден до баб, поэтому лучше через Полтавку одного не пускать, потому что уж была одна самовольная отлучка».

Сам того не подозревая, девять лет Гордов пишет историю своего роста, лоскутную биографию одного из тысячи рабочих, оторванных от заводов во имя безопасности страны. Каждый год в тетради — крутая ступень, на которую поднимается этот бритоголовый, тяжелый, медленно стареющий человек.

В двадцать третьем году с болью в висках он воевал с десятичными дробями. В двадцать четвертом разбуженная любознательность била через края тетрадей сотнями вопросов. Двадцать четвертый для Гордова — это Коваленко, Стучка, элементарная биология, парты общеобразовательных курсов... Что есть конституция?.. Нэп — отступление для разгона... РСДРП раскололась на втором съезде... Что вырабатывает желудок: витамины или пепсины... Полк, двигающийся в боевом порядке, высылает сторожевое охранение в составе...

---

[1] Контрабандистов.

Он глотал знания без меры, удивляясь неограниченному литражу человеческой головы. Он страшно спешил, потому что жизнь подгоняла, толкала его в спину, а молодость прошла в казацком седле, в землянках, на дорогах от Ростова до Симферополя, от Симферополя до Варшавы... Это было что-то вроде утреннего щучьего жора, жадности голодающего, напавшего на теплый пшеничный хлеб.

Гордов хотел знать все: почему в 1916 году генерал Макензен прорвался у Горлиц, как это у Гегеля диалектика стоит на голове, сколько орудий имеет батарея японской пехоты, что такое агрегат, бизнес, дуализм, экстракция, Кара-Бугаз, сколько киловатт выжмут из Днепра, а кстати — и что такое киловатт.

Каждая книга, прочитанная другими, вызывала в нем зависть, мучительную и неутолимую до тех пор, пока книга не раскрывалась на собственном столе. И вовсе не смешно, что, выписав Малую Энциклопедию, начальник начал изучать ее с буквы А.

На двадцать шестом году жизни он впервые прочел политэкономию Лапидуса, на двадцать седьмом — «Тараса Бульбу».

На двадцать девятом услышал оперу «Кармен» и записал в тетради:

«Опера «Кармен», сочинение Бизе. Смотрел 16 января.

Как один испанский пограничник — Хозе — из-за женщины пошел вместе с к/б. Драма. Кармен — вроде проститутки, но с разбором. Изображено очень правдиво, с замечательной музыкой и заставляет думать, какая еще есть подлая жизнь. Опера «Кармен» может быть с разъяснением использована как факт влияния отрицательных настроений. Например: Михеев по дороге через колхоз посадил на седло и вез около двух километров неизвестную колхозную дивчину, что есть лишняя нагрузка коню и нарушение дисциплины... Музыка в опере очень богатая, только неясно поют слова».

Всю жизнь Гордов постоянно кочует из края в край, с заставы на заставу. И всюду — на Черноморском ли побережье, на красноватых скалах северных озер, в Уссурийском крае — его сопровождают ору-

жие и книги. Охотник, командир, чекист — Гордов в каждом новом доме вешает над тахтой восемь предметов: выхоленный, зеркально-ясный маузер, японский карабин, граненый винчестер, трехлинейку с изрубленным прикладом, потерявший воронь наган, клинок простой, клинок кавказского образца и клинок персидский, матовое серебро которого как старческая чистая седина. Книг же не перечесть, не забыть, не выбросить. Пересекая всю страну с запада на восток, Гордов не хочет расставаться ни с ленинским шеститомником, ни даже с Коваленко. Он пересылает свое богатство почтой, заботливо обшивая посылки старыми гимнастерками, приторачивает к седлу коня, возит с оказиями и копит, копит книги, как скряга, урывая деньги от скромных получек.

Как красив боец на парадных рисунках! Вот он стоит у полосатого столба в шлеме, застегнутом под мужественным подбородком! Его шея вывернута в неестественной гордости. Брови нахмурены. Одна рука эффектно и неловко сжала винтовку, другая застыла у козырька.

Полосатый столб — значит граница. Гармонь, зубы ярче рекламы «хлородонта» — значит отдых. Стоит отштампованный боец у полосатого столба, стоит или играет из года в год.

А за тысячи километров, в тайге, ни столба, ни доски. Овраг, ветер, мороз. Лежат двое бойцов в снегу. Шлемы подобраны, хотя мороз за двадцать градусов. Пусть уши мерзнут, но слышат тайгу. Пусть пальцы прилипают к скобе, но чувствуют спуск. Рядом пройдешь — не заметишь белых маскировочных халатов, не услышишь осторожного шепота.

А в казарме гармоника дожидается вечера. Там сейчас храп и бормотанье. Днем спят? Конечно, спят... И днем и ночью... Круглые сутки... Только что вернулся наряд, гнавший всю ночь нарушителей. Вернулся, расправил по-уставному промокшие портянки, сложил гимнастерки и теперь спит. За дверями же, в углу, где бревенчатых стен не видно, за плакатами, вполголоса говорит начальник:

— Вот так здорово, товарищ Семушкин! Двадцать миллионов центнеров рыбы... А ну, вспомните вы, товарищ Величко...

И вспоминают камчатскую сельдь, и сетеснастный комбинат в Хабаровске, и биби-эйбатскую нефть, что течет уже во второй пятилетке, и слова наркома...

Что такое три кубика на зеленых петлицах? В Москве, пожалуй, никто не обратит внимания на командира в чистой, но видавшей дожди и солнце гимнастерке. Ничего примечательного. У него спокойный глуховатый голос, взгляд немного тяжелый, щупающий собеседника на мушку, неторопливые темные руки и широкая, мерная походка. Так ходят люди, привыкшие к чертовскому бездорожью.

Командир как командир, каких много в армии. Сдержанный, корректный, точный... Может быть, комроты, может быть, политрук. Он так же неприметен, как заметка, втиснутая на последнюю газетную полосу: «Харбинская белогвардейщина продолжает провокации. В ночь на... банда в составе пятнадцати человек перешла границу и была своевременно ликвидирована пограничниками Н-ской заставы».

Нелегко носить три кубика на зеленых петлицах.

Нужно держать в голове банду, показавшую нос на правом фланге, и бойца Семушкина, который перед каждым политзанятием смазывает медом белесые ресницы. Помнить о зачетных стрельбах и не забывать ремонта бани. А конь, оступившийся вчера в болоте?

Сколько терпеливых, осторожных бесед с глазу на глаз было проведено с барнаульским кузнецом Федором Грызловым! Чем ближе к увольнению, тем упрямее, жестче становился кузнец. Он давно списался с товарищами по цеху, знал уже, что потянет на поковках не менее двухсот рублей в месяц и получит комнату в новом доме. Грызлов только и ждал часа, когда можно будет поднять на плечо свой фанерный чемоданишко. В канцелярии он присаживался на краешек стула, как человек, готовый сняться и идти дальше, и в глазах кузнеца, в односложных ответах начальник угадывал решение, которое ничем не опрокинуть.

Начальник говорил ему, что «в такое время никак уходить нельзя», что сверхсрочники — костяк армии, ссылался на наркома, на товарищей, оставшихся в тайге нести четвертый год пограничной вахты. Все бы-

ло напрасно. Лучшие слова падали, как неудачные удары по лозе.

У Грызлова были свои доводы. Чего уж таиться — молодняк приходит каждый год, его не переждешь, а «такое время» на границе всегда; он уже отслужил свои три года, и вообще хочется пожить «как следует».

Последний разговор вышел совсем коротким. Грызлов выслушал начальника и спросил, еле шевеля губами:

— Это что ж, товарищ начальник, совет или так... агитация?

— А вы как думаете? — спросил начальник.— Вы член партии? Так?

— Ну, так...

— Надо подумать... Еще подумать, товарищ Грызлов.

Грызлов тер ладонями колени. Ничего, кроме нетерпения, не выражало лицо первого конника заставы. Он встал, одергивая сзади гимнастерку.

— Разрешите идти, товарищ начальник.

— Ну, так как же?

— Разрешите идти...

— Идите, товарищ Грызлов.

Наконец, сундучок был вытащен из-под койки, перехвачен веревкой. Подписанный литер лег в карман. Оставалось только, по замыслу командира и партячейки, передать молодняку винтовку, коня и клинок.

Утром после проверки выстроились вдоль казармы. Увольняющиеся держали перед фронтом коней. Думали, будет торжественно, но не вышло. С неба неожиданно начала труситься на рыхлый снег водяная пыль, лозунг на красном коленкоре раскис. Шинели потемнели... Не вышла и речь Грызлова, которую он собирался сказать от имени уходящих. Все было подобрано по порядку — рапорт о службе, обещание вернуться по первому зову, наказ молодым бойцам об оружии. Даже записка на всякий случай лежала за обшлагом шинели.

А тут сразу вылетели из головы слова о пядях земли, наказ, замечательная, поддающая жару концовка... Трудно было говорить: шоколадная, легкая на ногу кобылка дергала из рук поводок, тянулась к ладони теплыми, вздрагивающими губами... К тому же

слишком подобранный винтовочный ремень резал плечо. И вышло так, что вместо задуманной концовки Грызлов заметил совсем несуразно:

— Ну, так смотри почаще... Чуть что — она засекается... С тебя спросят...

— Знаю,— ответил первогодник.— А сколько ей лет?

— Шестой,— хмуро сказал Грызлов.— На, держи... держи...

И, побагровев, стал снимать через голову трехлинейку.

Первогодок был толстогубый, сырой. Новая шинель пузырилась у него на груди, яркий ремень лежал поверх хлястика. Торопливо и неловко, спотыкаясь о клинок, он потащил лошадь к конюшне за самый конец поводка. Грызлову стало ясно: пропала шоколадная гладкая холка. Парень наверняка будет клевать на луку, запускать испуганные пальцы в гриву.

Прямо со двора Грызлов зашел к начальнику Цветными карандашами Гордов размалевывал диаграмму. На подоконнике, как всегда, дозревали треснувшие плоды — гранаты.

— Будете в Новосибирске — зайдите по одному адреску...

Грызлов молчал, глядя в окно мимо плеча начальника.

— Что хотите сказать?

— Я насчет коня, товарищ начальник.

— Что такое?

— Нельзя ли другому Марию отдать? На Гаврилова, прямо сказать, нет надежи... Ну, дали бы ему Звездочета. Все равно скоро списывать...

Гордов с треском положил карандаш на бумагу. Сказал суховато:

— Очень хорошо. Но вам-то что, товарищ Грызлов? Вы коня сдали... Демобилизовались... Не вам с Гавриловым дело иметь... Все?

— Все.

Грызлов постоял и вышел. Действительно, нечего было сказать. Начальник же заулыбался, щелкнул языком, как довольный мальчишка, подбросил и поймал карандаш.

В этот день кузнец не успел уехать. На следующий не было поезда. А потом, когда холка действительно оказалась в крови, было и вовсе не до отъезда. Совершенно непонятно, но случилось так, что чемодан снова залез под койку, а измятый литер вернулся к начальнику... Да, трудно уйти с заставы в «такое время».

Забудьте о полосатом столбе, товарищи художники.

Нарисуйте начальника в наряде с молодыми бойцами, на комсомольском собрании, в конюшне, где он лезет под брюхо коню, на турнике, над старым «БЧЗ», не желающим ловить Хабаровск.

Нарисуйте его, всегда настороженного, точно курок на взводе. Передайте, что спичка, зажженная ночью, треск сучьев за окном срывают его с постели. Изобразите его лицо на рубке, когда плохой удар клинка, кажется, падает на угловатые плечи первого патриота своей заставы. Или, наоборот, «у окна» в мишени, пробитой снайпером, с улыбкой, освещающей суровые глаза.

Нарисуйте — и это будет Гордов.

Но есть стремительные дни, путающие записи начальника. Они врываются в жизнь заставы по следам нарушителей, с тревожным телефонным звонком, эхом далекого выстрела.

...Утром в глубоком снегу замечен след. Гремучая ледяная корка успела связать края вмятин. Ветер не тронул золу костра, но дубовые головни уже потеряли жар.

Стоя на коленях, Гордов по снегу и обломанным сучьям читает историю нарушения. Это обычная таежная дактилоскопия. Здесь вместо пальца — подошвы сапог, вместо бумаги — снег, мох, камень, вода. Есть сотни не записанных ни в какие уставы примет. Так, по теплоте лошадиного кала можно узнать, на сколько километров вперед вырвались контрабандисты. По ширине шага — вес груза, торопливость, усталость. По привалам — откуда идут. Иногда окурок харбинской сигареты скажет больше, чем часовой допрос.

Гордов читает бегло. Все ясно: прошли двое из Китая. Обувь — мягкий след кожаных ула, шаг широкий. Страх перед пулей гнал нарушителей почти бегом.

Старые опытные псы, безошибочно разматывавшие клубок запаха на десятки километров, здесь, на звериных тропах, теряли смелость, жались, подвертывая хвосты, к проводникам. Люди должны идти одни искать едва уловимые следы.

Начальник щупает рваную кайму седла. Говорит, поправляя маузер:

— Жбанков и Воронин пойдут со мной... Вместо сапог надеть ичиги.

От рассвета до сумерек начальник и двое красноармейцев — партиец и двое комсомольцев — идут тайгой. Они решают сложнейшую задачу, в которую входят оборванные на проталинах следы, остатки привалов, горные ручьи, обрывы, бурелом, путаница падей.

К полудню след становится свежее. Трое останавливаются чаще и чаще, стремясь поймать дальний треск сучьев, стук камня, летящего из-под ног. Стеклянная предвесенняя тишина лежит в тайге. Они слышат только собственное дыхание, только шум разгоряченной в беге крови.

Нарушители хитрят по-звериному. Они идут по голому камню, делают петли в сторону, бредут по воде, временами они разбегаются, чтобы, сделав прыжок, оборвать и без того неясную нить шагов.

Начальник идет быстрее бойцов. У него отличный, широкий и ровный шаг. Он знает: скоро у нарушителей будет привал. Не могут же они двадцать километров петлять без отдыха.

Красноармейцы понемногу отстают. Сначала Гордов видит их шлемы, слышит треск сучьев. Затем единственным его спутником остается тишина.

Он заботливо кладет на валежину хлеб и сало и снова начинает разматывать след.

Нужно торопиться, нужно нажимать, не чувствуя подошв и веток, раздирающих лицо. На этом участке не ходят по мелочи. Либо диверсант, либо шпион уходит в тыл.

В полукилометре на камне присел Воронин. Он кусает губы, чтобы подняться. Усталость пятипудовым мешком навалилась ему на спину.

— Товарищ Жбанков, ну хотя бы десять минут. Мы нагоним сразу. Все равно они не уйдут. Возьми сало... Еще минута... Ну, погоди. Жбанков, черт.

Его спутник молча протягивает руку за второй винтовкой. Этот усталый дружеский жест — хуже самых обидных слов.

Воронин поднимается с камня...

— Ну нет. Я еще не выдохся.

Нужно торопиться, нужно нажимать, не чувствуя подошв.

У второго костра Жбанков нагоняет начальника. Он нажимал до того, что пот выступил через шинель и осел инеем на ворсе. Сквозь дыры разодранных по камням ичиг вылезают намокшие портянки. Комсомолец размазывает кровь на скуле, расцарапанной сучком.

Они торопливо разгребают костер. Угли подмигивают одобряюще. Чуть курится сосновая ветка. Приближается встреча.

Нарушители уже чувствуют погоню на плечах. Они идут, когда идут пограничники. Прислушиваются, когда прислушивается погоня. Это походит на игру в прятки, где за промах расплачиваются смертью.

Гордов расчетлив и холоден. Он вынимает маузер и не удерживается от ругательства. Черт дернул так густо смазать револьвер! Старый дурак — выбежал, как мальчишка!

Они двигаются дальше, и каждая нога — водолаз, плетущийся по земле. И снова длинноногий упорный начальник вырывается вперед. Надо нажимать. Крупный зверь уходит в тыл.

Близкий треск сучьев кидает его вперед. Кончилась игра: две фигуры мелькают в буреломе.

— Со-о!.. Бу-ляо-цзу!..

Вместо ответа — дробный треск сучьев. Быстрее на поляну, где только что стукнула дверь. У начальника не хватает воздуха, чтобы окликнуть нарушителей. Но лучше не кричать сорвавшимся голосом.

Выбрав пень, он ложится в снег. Отдышавшись, предупреждает негромко:

— Выходи... Буду стрелять...

В фанзе молчание. Темнеющее небо накрывает тайгу. Холодеют промокшие ноги.

— Выходи!

За решетчатыми окнами мечется огонь. В фанзе готовятся к встрече. Жгут документы. И вдруг предательский короткий выстрел из щели.

Мимо...

Гордов целится в окно и снова ругает себя. Густо смазанный маузер на морозе отказывает в выстреле. Не беда — в запасе граната. Шпилька не лезет — зубами ее. В сторону кольцо. В окно гранату.

Взрыв? Нет, стреляный зверь в фанзе. Мильс не фитильная бомба севастопольской войны, что минуту вертелась и чадила на редуте. В мильсе смерть где-то между третьей и четвертой секундой.

И все-таки гранату успевают выбросить обратно.

Мерзлая земля и щепы обдают Гордова. Он снимает шлем и трогает бритую голову. Ждать так ждать. Скоро подойдут бойцы.

Промерзший маузер ложится на голый живот. От холодной стали лихорадит. Начальник лежит и подсчитывает: красноармейцы не дальше километра. Если слышен взрыв, через четверть часа будут здесь. А если нет? Ну, тогда должен обогреться маузер.

Комсомольцы подбегают вовремя. У Воронина от напряжения из носа течет кровь, задохнувшийся Жбанков не может сказать ни слова.

Они подползают, молча ложатся рядом, и две винтовки бьют по фанзе.

Казарма спит. Три ряда коек закутаны тьмой. Белеют только подушки, звонок телефона и занавески на окнах.

За перегородкой вполголоса разговаривают трое. Начальник, жена и секретарь партячейки развешивают новые плакаты: «Пулеметы Дегтярева в разрезе» и «Подвиг пограничника Коробицына». Как всегда, Гордов все хочет делать сам: вести политзанятия, пристреливать ружье, чинить клапан гармоники, стричь вырезки из газет, выпускать ильичевку, даже писать рапорт к отрядной конференции комсомола.

Страна поручила ему этот кусок границы, этот остров в тайге, эту горсть молодняка, что храпит сейчас за стеной. Поручила именно ему, Гордову, который ответит и за ружье, и за стенгазету, и за лошадиные холки. Гордов подозрителен. Доверишь что-нибудь, а

вдруг напутают. Нет, уж лучше сам... Так сила начальника превращается в слабость. Так, гордый выпестованными в тайге Жбанковым и Ворониным, начальник бессрочно ходит с «полной выкладкой» лишней работы.

Держа в зубах уйму мелких гвоздей, Гордов осторожно стучит молотком. Он непременно сам хочет повесить картину «Подвиг пограничника Коробицына на финской границе».

Начальник укрепляет раму и бормочет сквозь зубы, чтобы не выпустить гвоздей:

— Один против четырех и без укрытия. Вот это выдержка!

1932

НАША ЗАНДА

Ляо Пен-су шел осторожнее обычного. Верный контрабандной привычке, он выбирал черный бархат весенних опалин, где пепел мягок и глух, как пыль.

Он шел, почесываясь и почти хихикая от удовольствия. Старый гадальщик из Санчагоу выбрал верного бога,— зашитый в пояс, он отлично охраняет от зеленых фуражек. Только что Ляо Пен-су едва не наткнулся на них в пади. Еще минута — и двое пограничников сами сняли бы с плеча тюки с харбинским коверкотом. Но один, должно быть, молодой и нетерпеливый, окликнул слишком поспешно, и Ляо Пен-су успел скатиться вниз, в сухую траву, где с головой тонут кони.

Здесь он лежал, спрятав голову, сжимая в кулаке своего голопузого медного бога, пока умолкла трава и осторожный голос с досадой сказал:

— Темно... Надо бы взять с собой Аякса.

Ляо Пен-су едва не засмеялся. Какая разница, если вместо двух пограничников трое будут топтать сухую траву!..

Он полежал для осторожности с полчаса и снова перебрался на опалину.

Для осторожности у Ляо Пен-су были особые причины. Из-за двух килограммов кокаина стоит изображать камни даже в снеговой воде ручьев. А у Владивостокского угрозыска отвратительная привычка рассылать отпечатки пальцев. Попробуй докажи, глядя на предательски четкий рисунок кожи, что валютчик Ли Шао-чжу или банковщик Чван-фо не имеют отношения к честным рукам Ляо Пен-су!

Отпечаток — целая биография. А кому интересно перебирать старые листы допросов? Разве так важно, что Ляо Пен-су торговал бобовым творогом с мокрой, грязной доски? Или что можно рассказать о крашеных китайских девчонках с ногами, обтесанными, как ходули, которых он водил в мужские бани? Это было нетрудно и выгодно.

Десять лет набухал банковыми билетами пояс Ляо Пен-су. Это был фундамент будущей лавки, из-за которой стоило рисковать шкурой. Четыре стола, полдюжины чашек, лепешки на кирпичах — декорация для фининспектора. А настоящее — за жиденькой дверью, там, где короткие всхлипы трубок, белый дым, трехрублевый сон курильщиков опиума.

И все-таки не дозрела мечта лавочника. Черт сунул к нему комсомолок китайской совпартшколы с их роговыми очками и грифельными досками. И эта затея кончилась.

И уж совсем было неинтересно рассказывать, как попали на плечи тюки с харбинской мануфактурой. Важно, что граница позади. Еще пяток километров — и можно отдохнуть, не опасаясь зеленых фуражек.

...Ляо Пен-су для успокоения совести сделал несколько петель по росистой траве и влез на скалы. Здесь, в каменной чаше, под ветками ореха, он положил под голову тюк и заснул, довольный отсутствием погони.

Он проснулся при ярком солнце от жаркого дыхания и, рванувшись вперед, попал лицом в жесткую шерсть. Широко расставив ноги, над ним стоял маньчжурский волк — грудастый, темный, остроухий.

Волк не рвал Ляо Пен-су. Он стоял, вытянув язык, и выжидающе смотрел в сторону, где трещали сучья. Ляо Пен-су посмотрел на его влажный нос и понял, что все двадцать километров ухищрений, петли, ползанье на животе разгаданы, размотаны овчаркой.

Стоило удирать от пограничников, чтобы лежать под немецкой овчаркой! Ляо Пен-су поднялся, чтобы бежать, но спокойный голос приказал:

— Фас, Аякс!

Пушистая, пахнущая мокрой псиной грудь снова опрокинула его на землю.

Когда ему разрешили подняться, он встал, не видя противников от злости. Пропали десять тысяч рублей. Мокрый собачий нос встал поперек многолетней мечты лавочника. Тогда он сказал с наглой усмешкой человека, знающего цену предложению:

— Ваша меня не видел... Две тысячи клади сапог... Ну?

— Молчи!

Подняв руки, Ляо Пен-су пошел на красноармейца, внутренне благодаря себя за предусмотрительную привычку держать нож под рукой. Если ударить верно, можно попытаться уйти.

Старчески сгибаясь, с покорной усмешкой, он подошел вплотную и вдруг рванулся вперед. Нож вошел по рукоять. Но не в ненавистную зеленую гимнастерку, а в собачий бок — так неожиданно взвилась с земли пятифутовая серая пружина.

Следующую секунду Ляо Пен-су считал последней для себя. Мушка взлетела к бандитской переносице. Бешенство проводника собаки было готово сорваться с дула нагана, но старший сказал:

— Марш на заставу!

Так умер в 1931 году пятифутовый волк Аякс. У проводника не хватило сил приколоть его на месте. Он нес его на плечах до самой заставы и рассказывал позже, что собачье упорное молчание было в тысячу раз хуже визга.

Не всегда стреляет под каблуком ветка. Не всегда шелестом травы или стуком камней отмечен путь нарушителей.

Бывают переходы границы бесследные, как бег по хвое, как прыжок в воду. Контрабандисты прорвались через кордон. Прорвались удачно. Нет ни брошенных окурков, ни примятой травы, ни остатков костра. Шорох и тени в тайге. Для глаз же — сосновые курчавые волны до горизонта, из которых торчат каменные пальцы скал. Для ушей — скулеж ветра, застрявшего в сучьях и хвое.

Переход бесследен, и тогда на помощь уху и глазу приходит изумительный аппарат, которым располагает застава.

Весь он умещается на конце колючей волчьей морды. Влажный, черный шагреневый кусок кожи. Всегда беспокойные, всегда открытые ветру ноздри. И вдобавок к ним — квадратная грудь волкодава, уши, встречающие шорох, как проворные косые паруса ветер, белый капкан зубов, готовый раздробить бычьи кости, и, наконец, ноги степного волка.

Прибавьте к этому страсть следопыта, молодое любопытство, находчивость, рожденную трудной практикой, и это будет Занда — первая и лучшая овчарка заставы Н.

В майский, полный запахов день в ворота заставы вошли двое: Акентьев и Занда — младший командир, с лицом темнее своих белесых волос, и немецкая овчарка, почти щенок, но с волка ростом.

До сих пор застава работала без собак, и Занда вошла в высокую будку среди недоверчивых усмешек и снисходительного панибратства. Даже старогодники косо поглядывали на дрессированного щенка. Слишком уж молода, слишком самоуверенна эта красивая голова! Подумаешь, специалистка! Со школьной скамейки — прямо в тайгу. Посмотрим, что будет с тобой, Занда, когда возле твоих ушей тявкнет наган!

И Крылов, повар заставы, фанатик конного дела, отверг за щенком право на мысль.

— Конь по уму наравне с обезьяной,— сказал он, добросовестно наливая Занде щей,— но собаке догнать коня — это все равно как копытами обрасти.

Акентьев не спорил. Он поковырял в борще щепкой и отставил миску в сторону.

— Придется варить отдельно.

— Что же, не жирно? — спросил Крылов с большой обидой в голосе.

— Жир при диете не нужен. Придется отдельно.

— Суке?

— Да, Занде.

В первый же день щенок удивил заставу воспитанием. Кто-то из бойцов кинул ему мозговой мосол, от которого помутились бы глаза у любого пса. Занда же остановилась над костью в горестной задумчивости. Губы ее дрожали, хвост раскачивался, как маятник, отмечающий нетерпение, глаза вопросительно смотрели на проводника.

— Занда, фу! — сказал Акентьев, и собака, конфузясь, отошла в сторону.

Многое было сначала непонятно в дружбе человека с немецкой овчаркой. Почему младший командир, старый комсомолец Акентьев, командует одной собакой? Где грань между дрессировкой и умом? Инстинктом и находчивостью? Почему у Акентьева Занда повинуется шепоту, кошкой ползет на брюхе, по садовой лестнице взбирается на второй этаж, подает голос, берет метровый барьер, а к другим не поворачивает заносчивой морды?

И почему спокойный проводник так горячится против ласкового панибратства бойцов с собакой? Разве написано в уставе, что нельзя на досуге бойцу запустить пятерню в густую шерсть Занды?

Красноармеец Сурков, играя, щелкнул Занду по носу. Щенок сморщил нос, удивленный фамильярностью.

А Акентьев полчаса добросовестно пилил обидчика всеми параграфами устава.

— Вам командир разрешает играть с пулеметом? — спрашивал он.— Затыльник, к примеру, вынуть?

— То пулемет, а то собака.

— Умница... Ну, а что такое собака?

И оказывалось, что Занда, так подозрительно косящая глаза из будки,— друг, почтальон, разведчик,— словом, четвероногая техника, которую щелкать по носу преступно.

Дружба завязалась не сразу. Нужен был первый выход, чтобы исчезли последние усмешки скептиков. Нужен был месяц, чтобы каждый красноармеец знал:

Занда распутала семь переходов;

Занда по спичкам отыскала виновников поджога коммуны;

Занда равнодушна к выстрелам.

Только тогда собаку поставили рядом с конем. В «ильичевке» появилась статья «Наша Занда», и художник нарисовал овчарку по пояс, с ее сверкающими глазами, широкой пастью и языком, который не лижет ничьих рук.

Да, чудесного щенка привел Акентьев! В его добросовестные комсомольские руки питомник передал большеротого, глупого волчонка. А через год Акентьев

водил на поводке живую легенду границы: друга, которому, как и коню, нет цены.

Не было бы Акентьева, этой терпеливой собачьей няньки с поводком и уставом в кармане,— не было бы овчарки, стерегущей запахи на границе Маньчжурии. Пройдя в Сибири школу батрачины, Акентьев вынес из нее комсомольский билет, рваные штаны и руки, безработные только во сне. Остальное: грамотность, дисциплину, специальность, страсть к рассудительности — дала полковая школа пограничников.

Попади Акентьев не в питомник, а на Днепрострой, он так же настойчиво и упрямо осваивал бы какой-нибудь деррик, так же пилил бы каменщиков, тыкающих пальцы в машины.

Здесь на его руках был мокроносый озорной щенок с молочными глазами. Проводник Акентьев видел первый азартный прыжок собаки через барьер. Первый принял у Занды апорт. Первый сказал слово короче приказа «огонь»: «Занда, фас!»

Повинуясь только Акентьеву, большеротый щенок начал бегать за запахами, как котенок за клубком ниток. Удивительно быстро рос этот клубок. Первый месяц Занда могла разматывать его на километр — и то если запах прочен и густ. Через год она даже шорох слышала за километр. След же, исчезнувший для других собак через три — пять часов, тревожил ее беспокойные ноздри через шесть — восемь.

Она воспринимала запах не хуже, чем пальцы слепого поверхность предмета. Вероятно, запах новых сапог нарушителя тек мимо собачьих ноздрей медлительной, раздражающей рекой, чеснок жег ноздри, рассыпанный табак ослеплял, как вспышка магния.

Акентьев был младшим командиром, проводником и летописцем. За три года он исписал старательными горбатыми буквами целую книгу о подвигах Занды. Книгу рассказов по двадцать строк.

Чуть округленные в разговоре, карликовые рассказы о друге собаке выглядят так:

РАССКАЗ № 1. КАК ЗАНДА УДИВИЛА СПИРТОНОСА

«Мы ехали втроем дозором: я, Ганичкин и Буняев. Перед утром встал туман. Тогда мы слезли у тропы, и Занда подняла уши. Тут кони сильно зазвенели уди-

лами, и я испугался, как бы не было помехи. Но Занда пошла вперед и очень скоро выгнала на тропу спиртоноса. Деньги в клеенке, на сумму семнадцать тысяч триста сорок рублей, он, конечно, успел забросить в кусты. Но мы их заметили не затрудняясь.

Я спросил спиртоноса: «Сколько людей?» Он ответил: «Я один». Тогда я посмотрел на Занду и понял, что он врет. Вскоре Занда отыскала еще восемь человек. Один, в хорошем костюме, бритый, с шарфом, хотел убежать, но я сказал: «Фас!» — и Занда привела его, кусая за мягкое место. И он очень удивился, как чисто работает наша Занда».

РАССКАЗ № 2. КАКИЕ БЫВАЮТ КАМНИ

«Если вы смотрели на карту, то знаете, что ручей лежит за Карпухиной падью. Мы же тогда несли наряд на правом фланге за двадцать километров.

Едва мы прошли, как Занда взяла след. Как раз народился месяц, и мы сказали ему спасибо. Иначе кто-нибудь из нас наверняка заработал бы увольнительную без срока. Занда полезла на такие крутояры, что сил не хватало.

Потом перешли сопку Мать и вышли на болото. Потом стали идти по тропе. Так шли всю ночь, и я очень радовался Занде. Но красноармеец Школьников сел перематывать портянки и стал говорить, что это козуля прошла по скалам, а если кто из людей, то пусть его другая застава ловит. Я же видел, что Занда идет не верхним чутьем, а значит — по следу.

Мы уже совсем устали, и тут в кустах закричали птицей. Школьников, по малограмотности, посчитал, что это фазан. Но у фазана голос короче и всегда похож на простуженный. Здесь же было подражание.

Школьников хотел идти домой, потому что он «не рыжий — козуль по горам гонять». Но я сказал ему, что при такой политике можно наверняка потерять комсомольский билет.

Тут Занда стала вести меня за рукав к ручью, и мы увидели, какие «козули» ходят по ночам. Их было пять человек, причем все под видом камней лежали в ручье и так застыли, что мы их согревали, гоняя

бегом. Однако случай этот для Занды еще не так характерен, потому что шли нарушители скопом и с сильным запахом овчины!»

В этом году на заставу пришел приказ: командование перебрасывало «Занду, немецкую овчарку, суку трех лет», на другой участок, где тревожнее пахнет контрабандой, шпионажем, диверсией.

Младший командир Акентьев выслушал приказ и стал укладывать в вещевой мешок по порядку: уставы, дневник, запасной ошейник, гребешки и голубую миску Занды, так возмутившую когда-то повара. Он был спокоен. Застава освоила четвероногую технику. Занда уходила, но новый большеротый серый волчонок показывал любопытный нос из будки, и комсомолец-проводник, обученный Акентьевым, восклицал укоризненно:

— Фу, Барс!

Вся застава вышла проводить Акентьева и Занду. Старый любитель коней, повар Крылов, последним подошел к проводнику.

— Три самых умных животных есть на свете,— сказал он философски,— обезьяна, конь и Занда. Будь здоров, Акентьев!

Они уходили в широкие ворота сопок, не оглядываясь: младший командир с лицом темнее белесых волос и огромная немецкая овчарка. Тяжелый хвост собаки бил по ногам, знаменитый беспокойный нос лежал на тропе.

И было ясно: новый клубок запахов без конца разматывается перед Зандой.

1932

КОГДА ОТСТУПАЕТ ЦИНГА

Это очень томительный и вежливый спор. Он разгорается и тухнет, как сырой валежник в чугунной колонке. Он почти безнадежен. Это ясно по дымным дорогам над двумя головами и груде сердито примятых окурков.

— Ну так как же, товарищ Орлов?

— Видите сами...

Два собеседника распластали руки над печкой. Очень холодно. Очень туманно. Беличий хвост пара скачет над чайником... Ну и июнь!

— Вам известно, что на Дранке много цинготных, товарищ Орлов?

— Ну и снабженьице!

— На Ивашке ни луку, ни кислой капусты.

— Грустно, конечно... Но, знаете, нет лучше лимонной кислоты. Порошочек за завтраком, порошочек к обеду.

Какой настойчивый посетитель! Он погружен в брезентовый плащ и тяжелые сапоги кирпичного цвета из резины — прозодежду всех рыбаков Сахалина и Камчатки. У него цинготные, точно вываренные, десны, синие ногти и на молодом суровом лице прозрачным пунктиром соленых брызг отмечен штормовой путь морем. Вот он снова повторяет настойчиво:

— В поселке Лука появились цинготные.

— Север... Ох и Камчатка!

И снова пауза длиной в папиросу. Снова в комнату, процеженные сквозь туман, входят глухие басы волн, рычанье гальки и рассерженное шипенье воды.

О чем говорить, если сказано трижды: «Снабженец «Бурят» не рискнул добраться в тумане к рыбацким поселкам. Соль и мука, сети и мясо выгружены здесь, в бухте Ложных вестей, у тресколовной базы. Их надо забросить в поселки, пока не пошла сельдь и люди способны стоять на ногах».

— Вашей базе придется дать катер, товарищ Орлов.

— Деньги на бочку, товарищ Латышев. Простите, у нас хозрасчет.

Посетитель встает. Он надевает сырую фуражку, одинаковую от польской границы до мыса Дежнева,— зеленую фуражку погранвойск ГПУ

Ему очень хочется сказать пригретому печкой, фуфайкой и новыми чесанками человеку в очках:

— Какой же вы губошлеп и чиновник, товарищ Орлов. Вы не забыли захватить из Владивостока ни портфеля, ни кожаной подушки для своего зада, ни лимонных порошков. Вы распускаете в бесполезном сочувствии губы, слушая историю пятисот рыбаков, ожидающих пароходного дыма, и не можете дать ненужный вам катер. И, пока вы будете бормотать о хозрасчете, косяки сельди пройдут вдоль камчатского побережья, мимо обессиленных рыбацких поселков. Вы — глухой чурбан, с вашим почмокиванием и восклицаниями.

Но вместо этого он говорит:

— Я предлагаю немедленно дать катер.

— Ваше право... Но кто согласится в такие шторма?..

— Кончим... Распорядитесь приготовить лебедку для спуска.

Посетитель выходит в туман, и Орлов насмешливо фыркает ему в спину. Чудаки эти пограничники, рыскающие вдоль побережья Камчатки. Ну, какой черт тащит их совать нос в хозяйственные дела? Лазили бы по трапам осматривать пароходы, отбирали бы пушнину и спирт, гонялись бы на лыжах за бандами. Скажите, ну какое дело пограничникам до цинги и рыбаков из Дранки? Сорвется путина — не им отвечать. Если Латышеву хочется самому утонуть, то зачем же тащить за собою катер на двадцать пять сил?

Тот, кто смотрит на Дальний Восток с борта самолета, никогда не узнает, как однообразно огромна тайга, как медленны чугунные волны Берингова моря.

Винт самолета просверливает путь от Хабаровска до Сахалина в шесть часов. Винт парохода наматывает мили и водоросли восемь суток. Это арифметика темпов, и ко многим районам на севере она отношения пока не имеет. Есть побережье, где газету, рожденную хабаровской ротацией в шесть утра, развертывают за обедом. И есть побережья, где восемь месяцев зимовщики ожидают пароходных дымов, где каждая луковица — драгоценность к концу зимы.

Дранка, Карага, Ивашка, Лука — это восточное побережье Камчатки. Это берег в гольцах и костях кашалотов. Это ручьи, откуда осенью кету и горбушу можно вычерпывать пудами. И путь сюда только морем. Чтобы весной бросить якорь у восточного берега, нужно с гудками, с сиренами, тихим ходом пройти сквозь туман Японского моря, пересечь неряшливое, растрепанное ветром Охотское и выйти в Берингово — вечно холодную переднюю Арктику.

Это если верен маршрут, не наврано в сводках о льдах. А бывает и так, что ночью люди скатятся от удара с нар, вахтенный гаркнет: «Полный назад!», и боцман с фонарем побежит рассматривать, не пропорот ли льдиной металл.

В этом году вялая северная весна чуть дохнула на снег и, оробев перед ветром, отступила на материк. Берингово море неожиданно поднялось на дыбы. Даже старожилам тошно было глядеть на весеннюю камчатскую неразбериху, на горизонт без дыма, на лодки, законопаченные и оставленные на катках.

В июне на побережье лежал снег, пограничники еще ездили на собаках. Но керосиновые бочки в поселках уже стали гулкими, вместо ламп отцеживали свет каганцы, и остатки муки рыбаки скупо мешали со мхом.

Не легко выйти из бухты в этот ветреный день. Два моториста чертыхаются, заправляя мотор. Он еле тянет и на малой волне. А сейчас он похож на ошалевшего от воды ломового коня: вскидывает, шарахаясь с

берега, тяжелый нос, грузно бьется смоленым брюхом и каждую секунду готов сорваться со своей пеньковой узды.

Моторист оттягивает выход из бухты, долго роется в моторе и наконец бормочет:

— Товарищ пограничник! Муфта ни к боговой матери. Разболтана.

— А вы укрепите.

Он снова думает. Чешет неряшливую щетину на щеках:

— Похоже, тросу не выдержать буксировки.

— Возьмите двойной подлиннее.

Кавасаки выходит из бухты, и тотчас ветер упирается плотной ладонью в рубку. У мотора срывается дыхание, он чадит; ржавая труба свирепо отплевывается в небо огненными пучками.

Волны бьют в лоб, и Латышев успокаивается. Он вычерпывает воду жестянкой, пытается улыбаться, точно впереди не сто километров водяных ям, не туман, а солнечная дорога украинской степи. Не так-то уж плох для Берингова моря старый кавасаки. Само море подсказало японцам срезать нос, поставить по бортам толстенные балки, резко обрубить корму. Незатейливые эти суда тысячами бороздят воды Японии. Они не боятся ни прибрежной гальки, ни бортов парохода и бродят, раскачиваясь на ветру, толстобрюхими пятитонными ваньками-встаньками.

Щурясь под брызгами, зеленея от качки, Латышев смотрит, как катер рывками вытаскивает канат из воды. Если лопнут тросы, прощай солонина, бочки с капустой, мука и компот для туземной школы!

Кашляет выхлопная труба, щиплет глаза керосиновой гарью. Моторист с удивлением смотрит на пограничника, перегнувшегося над бортом. Эк травит! Эк выворачивает человека наизнанку!

...Вот и Карага — далекая цепочка построек над барьером прибоя. Латышев с тревогой смотрит назад. Теперь самое главное. Сорок тонн груза, консервы, мука, судьба десятков цинготных в руках кунгасников. Неверное движение, упущенная секунда — гроб и грузу и лодке. Кунгас станет на попа, перевернется, в лучшем случае приложившись с размаху широкой грудью о берег, сядет дожидаться конопатчиков и плотников.

Полным ходом катер тащит тупорылый грузный кунгас на берег. Тащит, разгоняет во все тридцать сил и вдруг, почти на крутой шее падающего вала, отдав буксир, бросается в сторону. Теперь кунгас — только щепка в сорок пять тонн весом. Тяжесть не спасает. На Охотском побережье лежат рядом с позвонками китов выкинутые штормом пароходы: два японца, француз и англичанин. Лежат прочно. Не снять.

Вал поднимает кунгас. Берег несется навстречу галькой, пеной прибоя, кедровником.

Удар? Нет. Якорь, вцепившись в дно, остановил шестьдесят тонн. Два тяжелых конца летят с кормы на берег навстречу приемщикам. Толчок. Валы, уже бессильные, шипя, облизывают смоленые борта.

Беспокоен июнь. Ровен северный ветер. Точно где-то настежь открыта дверь в мороз. Волны, туман, сучья сосен — все тянется в одну сторону. Деревья на побережье так и стоят «спиной» к рявкающим валам, вытянув крученые ветки подальше от берега. Одинаково низкорослые, неестественно вывернутые, они слишком слабы, чтобы сопротивляться ветру, слишком цепки, чтобы унестись на материк вместе с туманом.

...Мука, мясо, соль, масло.

По пояс в воде красноармейцы и рыбаки подхватывают из кунгаса мешки. Заодно на плечах выносят команду (вымокнет сейчас — в море сушиться будет негде).

На жесткий паек до прибытия парохода посажена Карага. А охотники в Дранке? А поселок Лука?

— Товарищ начальник, будете спать?

Он выходит на берег в тяжелых резиновых сапогах. Лицо его травянисто. Выходит, расправляя по привычке складки гимнастерки под ремнем. Он так слаб, что бойцам кажется, вот-вот начальник ляжет грудью на камни.

Но Латышев идет и хрипит перехваченным ветром голосом:

— Буду, конечно... Что же я, святой? Пушнину несли?.. Что? Стрельбы? Придется провести без меня. Проверьте, чтоб пользовались ремнями... Мотористов поднять через четыре часа...

...Мука, соль, керосин, макароны.

Месяц треплет Берингово море старый катер. Месяц забрасывает грузы Латышев. Не срываться же путине из-за того, что не смог вовремя подойти пароход!.. Уже играет первая сельдь. Не дожидаясь кунгасов, на жидких плотах свозят рыбаки свой улов. Засольщики на берегу орудуют возле брезентовых чанов. А в Ивашке еще полно цинготных. Голодные люди курят старую траву, и любители поскулить завывают под шипенье волн:

По рыбалкам камчатским кочуя,
Научился я сильно страдать.
Под кунгасом, под лодкой ночуя,
Наловчился я плакать, рыдать...

Латышев ходит морем около месяца. Чертыхается и ходит до тех пор, пока не заткнуты все рты, пока рыбалки не обеспечены солью. Выскочит на берег, обогреется у костра, приляжет, не раздеваясь, на топчан и через пару часов снова лезет в воду, пробираясь на катер.

Позже говорили: герой, исключительный человек. Да и нет. Просто начальник контрольного пункта, один из тех молчаливых инициативных людей, что работают без крика, делают много и не чувствуют груза, который они так упорно несут на крепких плечах.

Такие в трудной дороге первые вытащат из грязи автомобиль, первые на пожаре разматывают брезентовый шланг.

Всю жизнь Латышев ездит по границам страны: то на катерах по Черному морю, то на конях по ровным, как полы шинели, даурским степям, то камчатской тайгой. И везде вспоминают не его лицо, не шутки, не сутулую спину, а следы той работы, которой занят, не оглядываясь в стороны, этот рядовой из чекистов.

— Дым, товарищ начальник!

Да, это дым. Он разрастается в стеклах бинокля. Ветер несет его на берег. Вот и мачта и полукруг капитанского мостика поднялись над водой.

Голосом, ломким, как у подростка, он извещает о приходе. Вид ржавой пыли, летящей из-под якорной

цепи, радует поселок больше, чем басовитая квинта гудка.

Катер отходит от берега. По-прежнему кашляет ржавая труба, бросая в небо огненные пучки. Но Латышев не прислушивается к дыханию мотора. Он смотрит на берег, где сопят лебедки, где на катках ползут в море кунгасы и горы полных сельди бочек закрывают бараки.

Когда в первый раз он брел по камням к тресколовной базе Карагинского острова, ни одной бочки еще не было на берегу.

1934

ПЕТР АЯНКА ЕДЕТ В ГОСТИ

Ртутные градусники лопались, когда Вострецов и Строд вели из Иркутска на Охотск красные части. Позже говорили, что это был совсем неожиданный, немыслимый маршрут. Ведь даже прокаленные морозами иркутяне с трудом выдерживали ночевки в тайге и тундре. Ведь шли пустыней. Быки и кони падали, не выдержав полярного дыхания.

И это было неверно. Красные стрелки, нанесенные на карту уральским кузнецом Вострецовым, были так же мыслимы, как сивашский удар или атака под Волочаевкой. Точно только одно — неожиданность. Ни полковник Пепеляев, ни его заокеанские друзья не ожидали, что Красная Армия осмелится выйти за Полярный круг.

Если бы Вострецов желал выражаться картинно, он мог бы сказать с дровень:

— Солдаты революции! Спустя два столетия вы проходите старыми тропами казаков Хабарова и Пояркова. История Охотского края смотрит на вас с вышины этих сосен!

Но он не умел выражаться картинно. Огромный, костистый, с пропеченным лицом, на котором до смерти сохранились следы кузнечной окалины, он шел рядом с дровнями, говоря:

— На первом же привале перемотайте портянки.

И морщился, вспоминая, что на пулеметах слишком густая смазка, а у полковника Пепеляева сани бронированы ледяными плитами.

Эти ледяные броневики и теперь нет-нет вспомнит кто-нибудь из пограничников-командиров на Охотском побережье. Или расскажет на разборе тактических занятий, как однажды в затылок Строду неожиданно обрушился офицерский отряд, как, видя бойцов без укрытия, Строд отдал простой и жестокий приказ, который только пулеметные дула могли вырвать у кавалериста:

— Перестрелять лошадей и быков!

Так и не мог полковник Пепеляев достать красноармейцев, укрывшихся за обледенелыми трупами лошадей.

А еще свежее в памяти пограничников последняя вспышка белогвардейщины на севере. Только отчаяние, вера в свои ноги, в непроходимость тайги и обилие спирта могли родить этот откровенно разбойничий план: зимой, когда нет пароходов, взорвать радиостанции, зажать рот Охотскому краю и, разграбив фактории, перестреляв партийцев и сельсоветчиков, отступить подальше от побережья.

Матерые бандиты, возглавлявшие эту отчаянную авантюру, делали ставку на феодалов тайги — тунгусских князей. Щекоча национальное чувство, раздаривая ворованный спирт, они верили, что вместе с обрезами и трехлинейками по сельсоветам ударят тунгусские винчестеры и пистонки бродячих охотников.

Но к 1928 году в тайге уже было известно: кооперация расплачивается в двадцать — тридцать раз лучше, чем князь. На побережье бесплатно лечат трахому и даже строят большие юрты, где тунгуска может рожать. Вовсе не нужно отдавать за железный котел столько белок, сколько могут умять в него шкурок цепкие пальцы перекупщика. Не надо выпрашивать у купца пуд муки или десять лет отрабатывать старое ружье...

Далеко не заманчивым показался тунгусам белый северный рай.

Ружья ударили в обратную сторону. Да... Если бы не нарты и олени тунгусской бедноты, если бы не дружный отпор населения, отряд Петрова не так скоро взял бы в кольцо белый штаб в Оймяконе.

Теперь на побережье, в тайге и тундре поднят невидимый и грозный барьер. На прочный замок взята

граница, что идет по четырем восточным морям, от залива Петра до мыса Дежнева.

С моря кажется: редки рыбацкие поселки, дико щерится гольцами берег из-под шапки тайги. Кажется, никто не заметит, как выплывет на берег нарушитель. Тишина. Пустыня. Только утки ныряют в воде. Хочешь — корпус высаживай на глухие участки, хочешь — соболя бей или с тазом иди промывать золото по ручьям.

Хочешь... Но еще не добралась до берега лодка, как навстречу уже выгребают бойцы или, врезавшись в пену, тревожно стучит серый катер чекистов.

И так всюду: у серебряных скал Тетюхе, в узкой щели Татарского моря или на Камчатском, пропахшем рыбой и водорослями, побережье. Пустынной кажется граница, а нет дороги. Можно в тумане, рискуя лбом, обойти контрольные пункты, но нельзя ожидать поддержки от комсомольцев, забивающих в бухте сваи причалов, от геолога, дятлом выстукивающего скалы, от мотористов ударного катера.

На замке побережье. Но не так давно настежь в море была открыта пограничная дверь. Чудеса бизнеса творились тогда на берегах. За патефон и десяток фокстротов шла покрытая великолепной изморозью черно-бурая лисица. На дешевые ножи меняли тунгусы моржовые бивни. За ламповое стекло отдавали оленьи рога.

Еще живы тунгусы, знавшие таксу: литр спирта — полсотни оленей.

А многие носят на шее и до сих пор следы изобретательного поповского издевательства — голубые стеклянные кресты. Их надевали монахи, согнав испуганное население к морю и выкупав всех без разбору в ледяном прибое.

В 1928 году мисс Элеонора Рокфеллер в компании подобных себе бездельников путешествовала в северных водах. Туристы обогнули Канаду, повертелись у Аляски, и в один хмурый день белая яхта — «Мисс Мэри-Анна Спаттль Уайт» — бросила якорь у неизвестного берега.

Берег был гол. Нерпы высовывали из воды любопытные кошачьи головы. Пахло хорошей охотой, и молодые Рокфеллеры начали налаживать ружья.

Но тут от берега отделилась лодка. В лодке стоял человек в шлеме и оленьей малице. Человек делал такие же жесты, как любой милиционер, сдерживающий любопытных пешеходов во время демонстрации. Он энергично показывал руками на дорогу из бухты.

Когда посетитель поднялся на палубу, миллионеры увидели плохо выбритое лицо, звезду на шлеме и трепаные оленьи унты.

Это был Пяткин — милиционер и пограничник Уэлена в то время.

Пяткин, кроме слов «No» и «Yes» [1], ничего не знал по-английски.

Владельцы яхты ни слова не знали по-русски.

Пяткин явился объявить протест против вторжения яхты в советские воды. Его немедленно окружила стая молодых шалопаев с «кодаками». Мистеры и мисс целились в усталое пяткинское лицо объективами.

Леди и джентльмены вопили, перелистывая «бедекеры»:

— Рэшен козак! Чика... Кепеу!

После чукотских яранг, жировых плошек, мороженого оленьего мяса Пяткин увидел рояли, купальный бассейн, хрустальную сервировку стола.

Он возмутился: какие-то шалопаи смеют бить по нерпам из маузеров, кидать апельсинные корки в советскую воду и оглашать через радиорупоры побережье фокстротным заиканием.

Он сказал, указывая на берег:

— No!

Потом на открытое море.

— Yes... Вира якорь!

Капитан спросил:

— What? [2].

Тогда Пяткин энергичными жестами пояснил, что «Мисс Мэри-Анна» должна немедленно отойти подальше от советского побережья. Сухо откланялся и уехал на берег на своей валкой лодчонке.

---

[1] «Нет» и «Да».

[2] Что?

Через три часа яхта выбрала якорь.

В просторном ковше, в Нагаевской бухте, жмется у берега потемневший бревенчатый дом. Возле дома гигантские шаги, затертый до блеска руками турник, и узкий флажок на шесте врезался в небо. На фоне сумрачного колизея сопок и стремительных туч этот красный лоскуток кажется торжественнее флага, вечно струящегося над зданием ЦИК.

В прошлом году этот дом был почти одинок. Тогда только культбаза светилась свежим тесом и поблизости не было ни одной лысой сопки. Теперь же двухлетний поселок вырвался из подковы бухты. Его рождение еще не отмечено на картах, а он уже смял тайгу и азартно размахивает руками новых просек. Первые линии далеко впереди — там, где бараки Союззолота пустынными окнами в упор смотрят на тайгу.

Это Нагаево — лучший порт Охотского побережья, в котором слабеет даже сентябрьский шквалистый ветер, будущая столица Охотского моря.

Дом на краю — пограничный контрольный пост. Здесь все так же обыденно, как и в заставах Уссурийской тайги. Буденный сидит, опираясь на клинок. Ворошилов скачет за тысячи верст мимо башен Кремля. Трехлинейки стоят в строю, и каждый ремень скошен вправо, точно головы бойцов на вечерней поверке.

Тот же прицельный станок, тот же стрелок, в обмотках и каске, грозно целится со стены. И ильичевка, конечно, «На страже». И буквы на лозунге не одинаковы ростом.

И все-таки это особая граница.

В Приморье на каждой заставе — конюшня, манеж, учебные рыси, рубка лозы...

Здесь — поездка на нартах под контролем начальника, тонкий шест в руках ездока-пограничника, крик, клубком пара взрывающийся в морозном ветре: тах-тах!

Другой конь, широкопузый, смоленый, с зеленым флажком на носу, рвется с железной цепи у берега.

И ухабистая, водяная дорога из бухты нисколько не легче топких тропинок в тайге.

В этой казарме, в пику тайге, наперекор грязной облачной сумятице, особенно подтянуты молодой командир и бойцы. Снег ли солит ветви деревьев, дождь

ли оспинами покрывает серую воду — начальник никогда не забудет побриться, пройтись щеткой по костюму и сапогам. Его квадратные плечи, красная щегольская розетка под значком отличного стрелка, рукопожатие, встряхивающее руку до плеча,— все это открытый вызов обстановке. Он держится так, точно всегда хочет сказать: «А чертовски занятно, ребята, пройтись на лыжах сотню-другую километров!»

Когда не было овощей и цинга показала в казарме свои унылые десны, начальник ввел добавочную гимнастику, выстроил турник и гонял красноармейцев, как мальчишек, на гигантских шагах. Он не позволял ни на минуту раскиснуть, расстегнуть крючки гимнастерок, слечь на койки в полной апатии к еде и движению.

Рубите дрова! Больше ешьте, больше двигайтесь! И цинга отступила, не осилив этой дисциплинированной, великолепной полнозубой молодости.

Это совсем особая граница. Трудно сказать, где здесь кончается пограничник — участник походов на северные банды — и начинается педагог, где кончается педагог и начинается кооператор, охотник, статистик и врач.

Три года длится вахта бойца-пограничника на восточных морях нашей страны. Каждый месяц проходит в разъездах. И так велика привычка к переходам, к вечно ухабистому Охотскому морю, что бойцы перестают ценить расстояние. Здесь говорят, надевая на ноги лыжи, короткие, как теннисные ракетки:

— Я пошел на Средникан.

А до Средникана — декада пути. Могут быть ночевки в тайге, может быть пурга. Морозы не в счет. Давно привыкли бойцы к тому, что плевки падают на землю стеклянными, хрупкими бомбами и временами тяжело поднимать обиндевевшие веки.

Ни в каком уставе, конечно, не написано, как нужно управлять упряжкой собак, как, подходя к берегу, не поставить боком под волну катер, как сохранить равновесие, сидя в легкой туземной лодке, сквозь тонкую кожу которой проходят холод и зеленый свет от воды. Но все это нужно знать, потому что нигде так не раз-

нообразна и не инициативна работа пограничников, как на Севере.

Сегодня поднимается по пароходному трапу колымский прискатель. Ему пофартило. По старой алданской привычке он припрятал золотую крупу. Попробуй отгадай, где везет он песок: в меховой шапке, складках американских холщовых штанов или в долбленой крышке сундука?

Но напрасно, попав на контрольный пункт, вор торопится снять сапоги. Он усажен за стол, в руки ему всунут костяной частый гребень.

— Причешитесь получше!

И тогда из жирных, грязных волос золотой, ворованный у страны песок осыпается на бумагу.

Это сегодня. А завтра капитан иностранного парохода шепнет пару слов спекулянту. Капитан — страстный любитель черно-бурой лисицы, особенно если ее можно выменять на десяток флаконов шотландского виски. Он будет ждать весь вечер момента, когда на легкой лодчонке подойдет к борту любитель наживы. И тоже напрасно! Давно на полдороге остановлен пограничниками спекулянт, и черно-бурая шкура лежит на столе у начальника.

Оставшиеся еще феодалы-князьки, скупщики золота и пушнины, контрабандисты, спиртоносы — оплот бандитизма на севере. Точно водоросли по берегам, переплетены в Охотской тайге родовые отношения, власть феодалов и самая наглая спекуляция на трудностях снабжения и особенностях севера.

Есть участки, где воля князя — первого оленевода своего племени — неоспорима. Не разрешит князь — не быть родовому собранию. Скажет князь — и родовое собрание подтвердит, что ржавая берданка — достойная плата за долгие годы батратчины.

Так до 1931 года хитрейший тихоня, владелец десяти тысяч оленей — Громов был Госторгом, ЦРК, розничной торговлей, попом и судьей своего племени.

Так играл на цинге, меняя свежее мясо на золото, знаменитый в тайге Александров — виртуоз-скупщик, выросший с великой мукой из бедноты в кулаки. Михал Петровича знали за четыреста километров от Нагаева, на Буенде. Испытавши на своей шкуре жесто-

кую лапу князей, он был особенно эластичен, цепок и чуток.

Самый жестокий удар Трахалевым и Громовым принесла кооперация. Она не ожидала покупателей на побережье. Собачьи упряжки с товарами, огромные караваны легких нарт были отправлены в тайгу. Кооператоры бежали рядом с собаками. Они кричали упряжкам: «тах! тах!..» Они разрубали топорами мерзлый хлеб и на ночевках залезали в меховые мешки. Это были не «работники прилавка», не придатки к весам, а настоящие кооператоры Севера: пропагандисты, ветеринары, врачи, учителя и охотники.

Бой был дан за четыреста километров от моря, за Яблоновым хребтом, куда вслед за тунгусами дошли разъездные торги кооперации. И там на местах кооперация расплачивалась неслыханно, небывало: за белку — кирпич чая, за черно-бурую лисицу или соболя — в двадцать — тридцать раз больше, чем князь.

В эти дни кооператорам и партработникам района случилось беседовать с князем Хабаровым. В юрасе их встретил моложавый, чисто выбритый тунгус, одетый в отличный заграничный костюм. Он заговорил на чистом английском языке (след шхун, забиравших пушнину), удивляясь расточительной политике кооперации:

— Уверяю вас, вы проторгуетесь... При таких расценках тунгус не станет работать... Он — лентяй... Кирпич чая за белку! Сто рублей в месяц оленьему пастуху!.. Это безумие...

Угощал чаем, заводил канадский патефон, показывал коллекцию винчестеров — все с приветливо застывшим лицом, и, угощая, должно быть, уже думал о резком повороте своей политики.

Коллективизация прошла по тайге. И тотчас тунгусские феодалы повторили волчьи приемы их волжских и кубанских собратьев.

Князья стали ярыми сторонниками коллективизации. Почти все. Сразу. Кто сказал, что князь Громов против колхозов? Он первый отдаст им свои юрасы, шкуры, десять тысяч оленей. Больше того, он согласен взять на свои стариковские плечи все тяготы административной работы. Колхозам нужны опытный глаз и хозяйская рука. Вот они. Князь охотно отдает их на

службу колхозу. Он согласен стать председателем. Не сажать же в председатели нищего пастуха с десятком оленей.

А согласие князя в районах некорчеванного феодализма — приказ.

Голыми руками князьков не возьмешь. В тридцать первом году пограничники наткнулись в тайге на молодых генштабистов княжеских совещаний. Два тунгуса — ленинградские студенты — были вызваны отцами в свои юрасы. Несколько лет они учились, ели, спали бок о бок с товарищами по вузу, и никто не подозревал, что молчаливые, скромные парни — сыновья злейших врагов.

Они впитали культуру, не растеряв и крохи дедовских заветов. Они были много осторожнее, гибче, чем старшее поколение феодалов. На родовом съезде тунгусов в тридцать первом году выступал князек Трахалев — реорганизующийся феодал, скользкий в речах, внешне податливый, даже простодушный. Осторожная молодая лиса в торбазах и богато расшитой кухлянке.

Зная отлично русский язык, он дипломатничал, разговаривал с секретарем окружкома партии через переводчика.

Трахалев первый выстрелил в собеседника вопросами:

— Почему в правлении АКО[1] нет тунгусов? Почему в факториях заведующие сменяются чаще, чем шерсть на оленях? Тунгусы не любят изменять старым скупщикам. По какой цене продает Госторг шкуры в Америке?

И засмеялся, блеснув зубами, когда секретарь назвал фамилии тунгусов, работающих в факториях АКО и конторах Союззолота.

— Их не знают в тайге. Разве вы доверите исполком прохожему? Такие люди не могут иметь авторитета в чужих юрасах...

— А кого бы вы хотели видеть в АКО?

Он улыбнулся, глядя в лицо собеседника предательски ясными глазами, и повторил, не дожидаясь переводчика:

---

[1] Акционерное камчатское общество.

— Они не имеют авторитета...

В юрасе Трахалева американский примус, патефон, отличный мельхиоровый прибор для бритья, но осторожно, по-своему обоснованию, он высказывается против изменения быта якутов, тунгусов, чукчей.

Разве можно в чукотских ярангах ставить железную печку взамен жировых ламп? Всем известно: она слишком быстро высушивает шкуры, и яранга трескается. Так же и чужая культура в тайге: она подобна палящей печке в яранге.

Он, бреющийся и чистый, высказывается против больницы, которая «изнеживает людей», против мыла, «ведущего к простуде». Он, побывавший на шхунах Свенсона, рослый и сытый, зовет свой народ назад к феодализму, к трахоме, в прошлые столетия.

Начальник поста вспоминает об этом князьке лаконично:

— Молодой еще, но шерстка папашина.

Папашина шерстка, папашины зубы. И когда, объезжая район, пограничник встречает вырезанный на сосне портрет человека, он знает: где-то было убийство. Суеверный преступник оставил на сосновой коре портрет убитого, чтобы мертвец не преследовал по пятам. А дальше, шаг за шагом, иногда месяцами, выясняется, что убитый — или пастух, ездивший с жалобой к прокурору, или комсомолец, выдавший родича — скупщика.

Бой феодалам, спекулянтам-контрабандистам дается сразу за Яблоновым хребтом, в Нагаевской бухте, на приисках, в тайге и пароходных трюмах. И трудно сказать, что энергичнее вышибает почву из-под ног феодалов и спекулянтов: скупщик, задержанный в трех лисьих шубах, или старый тунгус, принесший в ячейку вместе с заявлением в партию подарок — рисунок из «Правды», переведенный на бивень моржа? Лучший плес на реке, отвоеванный пограничниками для туземцев-рыбаков, или десять охотников, из которых каждый положит дробину в глаз белке, десять новых осовцев, давших клятву всегда помогать пограничникам?

Трое суток Петр Аянка едет тайгой на собаках. Дважды в дороге его жестоко треплет пурга. Тогда он прячет под оленью малицу, к животу, самого рослого,

самого горячего пса из стаи и засыпает в снегу, воткнув в головах тонкий шест.

Если мороз невелик, дорога легка и собаки хорошо отдохнули, Петр Аянка садится на нарту. Он сидит, как удильщик, со своим длинным шестом, подгоняя собак, и поет длинную песню. Он начал ее, отъезжая от юрасы, и кончит петь, когда собаки спустятся по просеке к бухте. Это песня—длиной в четверо суток быстрой езды. Ее суровая музыка — что-то среднее между свистом ветра и скрипом узких полозьев.

Петр Аянка поет:

Коршун летит очень быстро,
Но олень обгоняет его...
Девять собак быстрее оленя.
И-ия... Охи-и-э-э... И-и-э-э...
Девять собак бегут быстро.
Первая, черная, очень больна.
Ей давали медвежью желчь
И посыпали горячей золой.
Ничего не помогает:
Она скоро умрет.
И-э-э... Ао-у-у-эх...
Скоро будет море,
Морская вода — как водка:
Если пить много — вытекает обратно.
Тах! тах! тах!..[1]
В море стоит дом из железа.
Дом идет по воде.
Если Петр Аянка захочет,
Он отдаст двадцать белок
И поедет в большое стойбище.
Чтобы объехать стойбище кругом,
Нужно месяц и шесть дней.
Когда белые гуси пролетают над стойбищем,
Они становятся чернее угля,—
Так велик дым от больших юрас.
И-ия... Ихи-и-э... И-иэ...

Трое суток — триста километров для хороших собак. На четвертые нарта выносится к бухте Нагаево. Мимо райсовета, мимо складов, где моржовая шкура висит на дверях,—к дальнему дому под красным флажком.

— Здравствуй, товарищ Аянка!

Сам начальник выходит навстречу. Эта дружба не первого года. И не один самовар, среди полного мол-

[1] Оклик собакам — «направо!»

чания, был распит вместе с Аянкой в летнем рогожном шалаше пограничников.

Аянка здоровается обеими руками. Начальник — надежный человек. Он изъездил всю тайгу от Нагаево до Колымы. Ему можно рассказать кое-что. Но об этом потом, за вторым самоваром, когда оттает и прорвется наружу обида на князя.

Петр Аянка рассказывает о случае на охоте. Это очень длинный рассказ, потому что медведь был выше дома и ломал Аянку очень долго. Аянка лежал как убитый, но медведь был старый и хитрый. Самый хитрый. Хитрее бобра. Он знал, что у мертвых не вытекает кровь, как текла из Аянки. Лапой, толще сосны, он содрал с головы тунгуса волосы так легко, как снимают американцы кожуру апельсина.

Тогда Аянка ударил его ножом — раз и другой. И нож запрыгал в руке, когда его конец вошел в сердце,— такой сильный был медведь.

Только после третьего самовара Петр Аянка просит начальника достать свой блокнот. Пусть начальник запишет, как на Оймяконе шел родовой суд, как спорили пять дней старики и Романов, тот, что хромой, как за четырнадцать лет работы дали хромому батраку пачку махорки и двенадцать оленей.

Петр Аянка приехал за триста километров спросить пограничников.

— Суд сказал: «Жадный морж хватает рыбу без счета. Разве хочет Романов быть похожим на глупого моржа?..» Э! Как думает начальник, хорошо сказал суд?

Нет, начальник не думает, что княжеский суд сказал хорошо. Он записывает рассказ про хромого Романова и про Семичанский сельсовет, в котором четыре года не было председателя.

Они пьют еще и еще. Аянка доволен: чай настоящий, такой черный, что вяжет десны.

Потом начальник надевает шинель. Он приглашает Аянку на стрелковые состязания пограничников и тунгусов-охотников. Старый тунгус степенно кивает головой. Он охотно будет стрелять, но предлагает другую мишень. Зачем портить патроны — стрелять в бумагу? Лучше взять лыжи и пойти в сопки за белкой. Можно еще стрелять в коршуна или в нерпу, которая

высовывает голову из воды... Нельзя?.. Ну, ладно. Петр Аянка согласен стрелять и в бумагу. Черный глаз посредине будет глазом большого медведя.

Четверо тунгусов стреляют из древних пистонок, с прикладами узкими, как топорище. Стреляют мастерски, как подобает белковщикам: быстро и точно. Петр Аянка занимает первое место, красноармеец Терентьев — второе.

В мишени Аянки одно отверстие величиной в три копейки. Пули вбиты одна в другую. Петр Аянка снимает мишень и по привычке начинает выковыривать металл из дерева. Зачем пропадать дорогому свинцу?

— Петр Семенович, постреляй еще из винтовки!

Старый тунгус оставляет свою пистонку, опутанную проволокой и веревками. Он выменял это ружье и два бачка спирта за три медвежьих шкуры и семьдесят белок. Это было еще в 1916 году.

Аянка ложится в снег и целится из винтовки. Левая рука его обтянута ремнем по-динамовски, как учит начальник.

Гость доволен винтовкой. Ладно. Очень ладно. Если бы у Аянки была такая винтовка, он убил бы медведя одним выстрелом. Сильный огонь. Жалко только — много рвет шкуру.

Увидев противогаз, старый тунгус удивлен. Какая странная маска! Разве начальник мало-мало шаман?.. Для войны?.. Зачем обманывать Аянку? Он начинает спорить, и никакими доводами нельзя доказать Аянке, что и воздух может быть отравлен.

...Петр Аянка ночует в комнате начальника, по привычке забравшись в спальный мешок. Докуривая трубку, старый тунгус одобрительно смотрит, как начальник делает физзарядку: нагибается, приседает на одной ноге, вертит руками. Очень хороший танец, надо только, чтобы пришли другие, пели и били в ладоши. Ладно...

Утром, когда тунгус высовывается из мешка, красноармейцы собирают белье, режут бечевками мыло.

— Товарищ Аянка, пойдем в баню.

— В баню?.. Ну, можно.

Вслед за бойцами он входит в предбанник, но решительно отказывается расстаться с трубкой и мехо-

выми штанами. Разве он мертвый, что его хотят раздевать? Зачем лить на себя столько горячей воды, когда ее можно пить? И потом человек — не глупый тюлень, чтобы самому залезать в воду.

Только пример начальника заставляет Аянку расстаться со штанами. Он с любопытством подставляет черную спину и бока под мочалку. В самом деле, как непонятно линяет кожа, совсем как у оленя.

И вдруг Аянка начинает хохотать. Он смотрит на стены и смеется до того заразительно, что прыскают отмывающие его красноармейцы — Шепелев и Страменко.

— Что с тобой, Петр Семенович?

На тунгусском языке нет этого слова, а по-русски Аянка не знает, как сказать про ручей, что течет из стены. Его рассмешили не красная кожа и скользкий обмылок, а краны, из которых так послушно вытекает вода.

Красноармейцы уже застегивают шинели, когда из бани выходит Аянка краснее помидора, с расцарапанными мочалкой боками. Потухшая медная трубка торчит во рту тунгуса. И на старческой шее прыгают, стукаясь друг о друга, голубой стеклянный крест и божок из моржового бивня. Две печати одной эпохи: монашеская награда после крещения в проруби и амулет от шамана.

Шепелев, сам только в армии снявший кипарисовый крест, уже готов убрать амулеты с шеи тунгуса. Но Страменко отдергивает его руку.

— Осторожнее... Это не сразу.

— Не сразу...— машинально повторяет Петр Аянка.

И первый раз, после первой бани, воротником назад надевает рубаху.

1932

ПОГОНЯ

Эта небольшая история записана между чаем и вечерним отбоем, когда все население Н-ской заставы собралось вокруг лампы.

Гремело домино. Повизгивал, цепляясь за радиоволны, старый приемник. Библиотекарь в энергичных выражениях разрешал длинный спор повара и пулеметчика на право обладания «Цусимой». Мы беседовали с редактором «ильичевки» об охране болотистого участка границы, за который отвечали наши подшефные. И, если судить по рассказам, выходило, что особых событий на границе не случалось.

— Нет, челюскинцев у нас не ищите,— говорил редактор, водя нас вдоль стен.— Обратите внимание. Шкаф, то есть библиотека,— пятьсот сорок две книги. Гитара, не хватает двух басов... Плакат... Ну, это насчет конских копыт. Уголок гигиены. Зеркало, конечно, на конях везли.

И тут, между гитарой и шкафом, мы заметили рисунок, лишенный всякой парадности. На большом листе картона в три цветных карандаша был изображен лежащий в снегу красноармеец. С большим старанием были выписаны шинель, желтый ремень и острый шлем бойца. Но главное внимание художник перенес на ноги. Они были огромны, босы и красны, как гусиные лапы.

Очевидно, это был портрет, и мы осторожно осведомились об объекте рисунка.

— А это Гусятников,— заметил наш собеседник рассеянно.

— Гусятников?

— Фальшивости много,— сказал редактор сурово.— Шинели тогда у Гусятникова не было. И ремня тоже. Факт.

Мы попросили вспомнить, что же случилось с Гусятниковым, и бойцы-старослужащие рассказали нам небольшую историю, финал которой изобразил на картоне художник.

...Два года на заставе существовала «дыра». Кто-то неуловимый и неузнаваемый два года ускользал из рук. Было использовано все: ищейки, облавы, секреты, нитки в кустах, волчьи ямы. И все было напрасно. Каждый переход, как прыжок в воду, был бесследен. Выбирая ливни, пургу, длинные осенние ночи, нарушитель продолжал свои рискованные путешествия.

«Дыра» продолжала существовать. И только в декабре 1934 года пулеметчик Гусятников, наконец, прикрыл ее собственной грудью.

Вечером 12 декабря мальчишка, прискакавший из колхоза на лошади, рассказал о лыжнике, которого встретили бабы, собиравшие шишки в лесу. Мальчишка еще глотал чай в кабинете начальника, а Гусятников и Мятлев уже выносили лыжи во двор. Они выехали в поле, на ходу застегивая ремни. Мелкая снежная пыль неслась им навстречу. Снег заметал лыжни, и без того неясные на твердом насте. Надо было спешить, и они помчались под гору, навстречу ветру, наполненному слепящей морозной пылью.

Не снимая лыж, бойцы перешли ржавый, слоистый лед ручья и углубились в лес. Здесь на дне оврага, сбегавшего к границе, они увидели следы широких коротких лыж, на которых обычно ходят белковщики. Нарушитель двигался без палок, широкими, сильными рывками, не объезжая опасных спусков и засекая на подъемах елкообразные ступени, как делают это опытные лыжники.

Очевидно, это был человек, привыкший к большим переходам. Красноармейцы двигались уже более часа, а следов привала все еще не было. Все те же широкие, неясные полосы бежали перед ними, постепенно отклоняясь в сторону города.

Красноармеец, сопровождавший Гусятникова, заметно слабел. Все чаще и чаще он нагибался, чтобы

затянуть ослабевший ремень или вычистить снег, забившийся под подошву.

Метель утихла. Следы стали яснее. Но тщетно прислушивались пограничники, подняв крылья шлемов. Зимняя, стеклянная тишина заполняла невысокий, редкий ольшаник.

Показалась железнодорожная насыпь. Далеко на разъезде орал фистулой паровоз. А они все скользили по узким снежным тропинкам.

Трудно было сказать, сколько времени они шли, но звезды уже начали линять, когда след, наконец, оборвался. У самого выхода в поле на березе пограничники заметили неподвижный, похожий на колокол силуэт. Небольшой холщовый мешок висел, почти касаясь снега.

Мешок был затянут мертвым узлом — очевидно, в расчете на задержку преследователей. Гусятников разрезал веревку и вытряхнул на снег костюм, полуботинки, два парика и кусок сала.

Молодой боец присел было на корточки, чтобы осмотреть карманы находки.

— Выходит, облегчился,— сказал он с любопытством.— Ну, и как же теперь?

Но Гусятников уже рвал палками снег. Распластывая в воздухе полы шинели, он летел под гору, в поле, в белесую зимнюю ночь, куда только что ушел нарушитель. Обжигаемый ветром, он помнил одно, впереди, где город, полустанок, дорога, двигаются сани, идут поезда... Еще час, два — и узкий след вольется в проселок, кто-то выносливый, осторожный и опытный войдет в спящий город, где открыта дверь, где уже ждут...

...Они бежали по болоту, среди высоких черных кочек, похожих на пни. Лыжи то и дело сшибали куски мерзлого торфа. Это раздражало лыжников и замедляло движение. Гусятников первый отбросил лыжи и стал перескакивать с кочки на кочку. Очевидно, к такому же выводу пришел и преследуемый, потому что пограничники вскоре наткнулись на короткие широкие лыжи, оставленные нарушителем.

Светало... Высоко, среди облаков и выцветших звезд, прошел почтовый на запад. Кончались болота. Шагали по пашням столбы электромагистралей. Сно-

ва жестоко сек шинели и лица мелкий ольшаник. А они все бежали, задыхаясь, сопя, спотыкаясь о кочки.

Шлем жег Гусятникову голову, шинель казалась овчиной, но невыносимее всего становились болотные сапоги. Огромные, подбитые двойной подметкой, они с каждым шагом увеличивались в весе, точно обрастая комьями глины.

До большака оставалось не больше трех километров, когда бойцы, наконец, увидали противника. Одинокая квадратная фигура, сильно работая локтями, взбиралась на косогор.

Сорванные ветром голоса красноармейцев не долетали до беглеца. Не остановили противника и несколько обойм, выпущенных на бегу в воздух. Не замедляя движения, нарушитель вытянул слишком длинную руку, и пограничники услышали слабый звук, похожий на треск раздираемой парусины.

— Кусаешься? — сказал Гусятников задыхаясь.— Кусаешься?.. Ну, стой!

Он сел на кочку и быстро снял сапоги.

Молодой боец смотрел на Гусятникова с сожалением. Он знал, как невыносимы бывают порой сбившиеся портянки. И все-таки недоумевал: неужели Гусятников не мог потерпеть?

— Уйдет ведь,— пробормотал он с отчаянием.— Перемотал бы после... Эх, уходит!..

Гусятников встал и расстегнул крючок шинели. Ничего, кроме косогора, кроме кустов, где чернело пальто нарушителя, не замечал он теперь.

— Кусаешься,— повторил пулеметчик с какой-то веселой яростью в голосе.— На, держи!

Он бросил сапоги на землю и побежал босиком. Портянки отлетели при первых шагах. Ноги его горели. Тонкие ледяные корки лопались под голыми пятками. Впрочем, вряд ли Гусятников, разуваясь, думал о холоде. Сапоги связывали ноги. Сила уходила в сапоги. Гусятников сбросил их почти машинально, как расстегивают во время работы ворот рубахи.

Теперь расстояние сокращалось. Четыре раза поднимал Гусятников наган, и четыре раза в ответ разгрызал обойму маузер. Красноармеец отстал, быть мо-



жет, выдохся или сбился со следа. Теперь они были одни среди обгорелых пней и тощих побегов.

Они уже не бежали. Никакими усилиями нельзя было заставить ноги передвигаться быстрее. Кровь со страшной силой гудела у Гусятникова в висках. Он оглох от бешеных толчков сердца. Воздух вдруг стал густ. Горло принимало его только, как воду, глотками.

Очевидно, нарушитель чувствовал себя не лучше, потому что оба они упали в снег одновременно, точно сговорившись заранее.

Распластавшись на снегу, Гусятников молча смотрел на противника. Это был плотный человек с обкуренными рыжими усами и наглым лицом. Гусятников уже раскрыл рот, чтобы еще раз окликнуть нарушителя, но тот вдруг негромко сказал:

— Босой!.. Эй, босой! Смотри, окалечу!

— Врешь,— сказал Гусятников, задыхаясь.— Я тебя достигну.

Он поднял револьвер, но, вспомнив, что в барабане остался только один нерасстрелянный патрон, придержал палец на спусковом крючке.

— Может, столкуемся?— спросил усатый сквозь зубы.

— Может, и так,— ответил Гусятников, выползая вперед.

Это был странный разговор — вполголоса, в пустом поле, под аккомпанемент ветра. Разговор рослого, сильного человека в теплых бурках с босым, коченеющим красноармейцем, единственным козырем которого был патрон. С каждой фразой босой подвигался вперед, и ровно на столько же отступал человек в теплых бурках.

Так, наступая и пятясь, сдирая снежную корку коленями и руками, они продолжали состязание в выдержке, молчаливым арбитром которого был мороз.

Ветер унес тепло, накопленное в беге. Гусятников мерз жестоко. Он давно перестал ощущать пальцы, погруженные в сухую снежную пыль. Теперь начинали коченеть руки. Это отлично видел усатый. Он обливал противника потоками матерщины, издевался

над побелевшими ногами и попытками отогреть руки о снег. И все-таки он боялся. Сберегая патроны, нарушитель пятился от коченеющего красноармейца, стискивающего зубы, чтобы не застонать.

Взошло солнце. На западе прогремели мосты. Шел на Москву «люкс».

Теперь они монотонно повторяли только одни и те же слова.

— Жарко,— говорил усатый,— жарко тебе?

— Кусаешься?— спрашивал Гусятников.— Кусаешься?

Наконец, пограничнику удалось вырвать еще несколько метров. Надо было кончать. Он поднял револьвер, но пальцы правой руки были бессильны. Тогда он взвел курок обеими руками и стал нащупывать усатого, в руках которого тоже покачивалось дуло маузера.

Они выстрелили почти одновременно, поэтому треска маузера Гусятников не слышал. Что-то рвануло его за плечо, и Гусятников инстинктивно зажмурился. Когда он снова открыл глаза, то увидел, что нарушитель тоже ранен. Опустив револьвер, усатый собирал пригоршнями и ел снег.

...Как их подобрали в поле шоферы соседней МТС, как растирали снегом и тридцать километров мчали к заставе, Гусятников не помнил.

— Могу показать описание,— сказал редактор, когда умолк рассказчик.

Он подошел к «ильичевке» и медленно обвел пальцем заметку. В ней было ровно пять строк. Впрочем, больших статей не было во всей газете.

Следя за редакторским пальцем, мы прочли:

«12 декабря товарищ Гусятников Г М., пулеметчик и член ВКП(б), при условии мороза и без наличия сапог, задержал нарушителя госграницы».

От редакции:

«По таким, как товарищ Гусятников, надо держать равнение!»

Пораженные протокольной плотностью «описания», мы спросили редактора:

— И это все?

— В основном все,— подтвердил редактор спокойно.

— Решительно все?

И вдруг собеседник наш заметно смутился.

— Верно,— сказал он, замявшись,— есть факт. Километры не проставлены.

Намочив чернильный карандаш, он вывел твердыми печатными буквами:

«А всего пройдено 36».

— Так будет верно,— сказал он, успокоившись.

И рассказчики молчаливыми кивками подтвердили справедливость поправки.

1934

НА ТИХОЙ ЗАСТАВЕ

Трое суток кони несли нас среди бурелома, горелых пней и мачтовых сосен уссурийской тайги. Сентябрило. Ровным, погребным холодом тянуло из падей. Оседал, разбиваясь о ветви, бесшумный, скучный дождь, и в потемневшей воде ручьев уже кувыркались кленовые листья.

Мы везли подарки Красной Пресни таежному отряду чекистов: шерстяные фуфайки, табак, литературу последних декад, лимонную кислоту и струнный оркестр. Было холодно. Мы ежились на высоких седлах и молчали. Только провожатый наш, рябой тонкоголосый боец из старогодников, был весел, как дрозд: разговаривал с конями, подражал изюбрам и даже жестяным голосам фазанов.

К вечеру на четвертые сутки мы увидели дым. Синий прозрачный столб падал на мокрые сопки. Одиноко и по-волчьи заливисто лаяла собака.

Наш провожатый поднялся на стременах. Мильсовские гранаты — два чугунных яблока, подвешенные к поясу на ремешках,— стукнулись друг о друга.

— Наши баню топят,— определил он, запахивая плотнее шинель.

И верно: рядом с грузной избищей заставы дымилась кургузая банька. Сам начальник заставы, окутанный облаком пара, вышел навстречу колонне.

— Разговоры потом,— сказал он, коротким рывком пожимая нам руки.— Мыло в предбаннике... Воды не жалейте.

Застава кончала мытье. Хохоча и толкаясь, бойцы выбегали в предбанник. Мы видели их стриженые

головы, растертые мочалкой жаркие спины и широкие белые ступни, скользящие на дубовых досках.

В тесной баньке возле кадки сидел только один, залепленный мылом боец. Он сполоснул руку в шайке и поздоровался:

— Федор Хрисенков, старослужащий.

Мы влезли на полки и разговорились. Федор Хрисенков спрашивал о московском асфальте и планетарии. Мы интересовались Серебряной падью и контрабандистами. Потом разговор перешел на белые банды.

— Наша застава тихая,— сказал собеседник.— Очень тихая. За всю декаду патрона не выпустили. Банды где? Банды за Карпухиной падью...

— Ну, а все-таки?

Хрисенков подумал.

— Была одна застава, и был один повар,— начал он нехотя.

— Комсомолец?

— Кто, я?

— Нет, повар.

— С марта двадцать пятого года... Была одна застава... Нет, тогда уж лучше по порядку.

Он втащил шайку на верхнюю полку и, пока мы черпали кипяток и растирали бока, рассказал нам пятиминутную компактную, как обойма, историю.

— Числилась в прошлом году одна небольшая бандочка. Маузеров на пятнадцать. Под названием банда Майорова. Сам Майоров из царских полковников. Может быть, в отряде фотографию видели? На доктора похож: полный, в пенсне, а щека порохом покорябана. У него один раз карабин разорвался. Самая вредная банда была. Все каппелевцы[1]. У всех двойное шелковое белье из Харбина. Такую бандитскую спецовку никакой мороз не продерет.

...Вот приходит май, и под прикрытием зелени появляется на сопках Майоров. То есть приезжают сначала двое товарищей из колхоза имени Буденного. Приезжают и докладают: угнаны трое коней. Три месяца ходила застава на ту банду. Только обнаружит, наступит на хвост и вдруг — пусто. Одни стреляные

[1] Каппель — белогвардейский генерал, действовавший в Сибири во время гражданской войны. Отсюда — каппелевцы.

гильзы валяются. Ерохину руку из маузера пробили. Начальник через них спать разучился: жена ночью спичку зажжет, он сразу же за наганом кидается.

— А повар?

Хрисенков встал и выплеснул воду на каменку.

— О поваре разговор последний,— сказал он из облака пара.— Один раз снимает начальник трубку, хочет с комендантом говорить. Только не отвечает станция. Молчит телефон, как зарезанный. А накануне буря была — пять дубков выдернула. Осмотрел начальник аппарат и решил линию с утра проверить. Тут пробило десять часов, и бойцы стали снимать сапоги, а начальник пошел к себе диаграмму чертить, потому что он в заочных механиках третий год.

Заложили дверь на крюк, подвернули лампы. Стали спать. А повар вечером чаю лишнее перехватил. Поворочался, поворочался, решил выйти оправиться. Молодик в ту пору как раз напротив крыльца стоял. Вышел повар, смотрит и радуется: завтра дождя не будет — месяц блескучий.

Только он сошел с крыльца, как вдруг кто-то легонько его груди коснулся, точно пальцем толкнул.

Смотрит повар и не верит. Стоит напротив крыльца человек в полушубке и держит в руках карабин. А мушка уперта повару в грудь — чуть повыше соска. Только повар успел про Майорова подумать, как тот человек шепчет: «Молчи!.. Убью!»

От того шепота сон у повара как смыло. Ночь, а стало ясно, как днем. Видит он — казарма в кольце. Конюшня раскрыта. Кони выведены. Стоят наготове. А у окон бандиты с пучками соломы. С угла уже огонь раздувают, пакля занялась. Дневальный же у конюшни лежит — не поймешь: убит или кляпом придушен.

План у Майорова был самый простой: запалить казарму, а потом слева по одному всю заставу.

Им крик все дело мог испортить. Подпирает бандит повара карабином и шепчет: «Иди сюда... молчи... не трону. У Майорова слово крепко. Молчи! Крикнешь — гроб!»

Все Майоров подсчитал, а тут осекся. Повар-то комсомольцем был. С марта двадцать пятого года. Посмотрел он на бандита да как крикнет...

Дверь предбанника распахнулась.

Пар, клубясь, поплыл под лавки, и в дверях с гребешком в руках появился боец.

— Хрисенков!.. Начальник велел дичину разогреть, какая осталась! — гаркнул он, как в бочку.

— Есть разогреть,— сказал Хрисенков.

Он поднял дубовую шайку и, гогоча, вылил на плечи ледяную воду. Клочья пены съехали на пол, и на груди у Хрисенкова мы увидели укус трехлинейки. Чистое восковое пятнышко белело чуть повыше соска. Мы переглянулись.

— Что же ты крикнул, Федя?

Скособочившись, Хрисенков глянул на грудь и засмеялся.

— А не помню,— сказал он, выжимая короткими пальцами волосы.— Как будто «в ружье»... Начальник доскажет... Он первый гранату в окно послал.

Хрисенков поставил шайку и, сильно размахивая руками, побежал одеваться.

1933

ВАССА

Васса и Люба вымачивали в охре сеть, когда к котлу подошел Давыдка Безуглый. Нахальный и красивый парень был пьян. Новая куртка его висела на одном плече. Смола и грязь отпечатались на желтой шелковой рубахе, разодранной от горла до пояса.

— Га, вдовья рота! — закричал Давыдка, обрадовавшись.— А на что вам, бабам, волокуша? Своих подолов не хватает?

— Уйди, Давыдка,— сказала Васса, не оборачиваясь.

Но парень уже присел на бревно и, подтягивая голенища, подмигивал Любке.

— Молчи, бригадир,— сказал он посмеиваясь.— Я не к тебе, я к Любовь Михайловне... Глядите, девки, какие сапоги.

Он вытянул ноги, любуясь свежей, чистой кожей болотных сапог и ремнями, туго перехлестывающими ногу. В самом деле, обнова была на редкость удачна. Васса, не удержавшись, взглянула на сапоги и вздохнула.

— Сколько?

— Пятьсот,— соврал Давыдка привычно.— А что?

— Ничто... Откуда у людей деньги только берутся?

— Меня рыба любит,— сказал Давыдка, важничая.— Особенно сула [1]. Так любит, аж душит... При-

---

[1] Сула — судак.

дешь, Люба, сегодня к парому?— закончил он неожиданно.

Семнадцатилетняя, не по летам рослая Любка испуганно подобрала ноги. Парень давно и нравился ей и пугал несусветным пьяным нахальством.

— Не знаю,— ответила она нерешительно.

Но Васса быстро вскочила на ноги.

Худое и темное лицо ее, точно вычеканенное мелкими оспинками, побледнело от злости.

— Уйди, бога ради! — закричала она, размахивая обрывком рыжей сети.— Уйди, баран курчавый!

Две женщины долго смотрели вслед рыбаку, нарочно выписывающему вензеля. Любка — раскрыв рот, с пугливой восторженностью, Васса — вызывающе вскинув голову, точно готовясь вступить в перепалку.

— Вор твой Давыдка,— сказала Васса сердито.

Сегодня она чувствовала особую злость к нахальному и удачливому парню. У женской бригады были с Давыдкой особые счеты. Трудно было забыть ругань и хохот, плеснувшие «вдовьей бригаде» в лицо, когда две байды с новоиспеченными рыбачками в холодный февральский денек отходили от берега. У всех женщин в памяти свежи были распоротые хулиганами сети, подпиленные топчаны и площадные надписи, вырезанные Давыдкой на веслах и байдах женской бригады.

Шесть вдов, отстоявших право быть рыбаками, вынесли все: зимние выезды в легких ботинках и рваной резине, насмешливую воркотню двух стариков, прикрепленных к бригаде, мелкие бабьи дрязги из-за пропавшего рушника или варежки. Теперь двадцать пять женщин жили в глиняных домах возле устья глубокой мутной реки. Двадцать пять рыбачек караулили косяки судака и тарани, чинили сети и ездили в город разыскивать сапоги и плащи.

Жилистая, упрямая, острая на язык Васса была признанным командиром «бабьей бригады». Сорокалетнюю засольщицу, объездившую все промыслы Азовского моря, уважали и побаивались, особенно после отчаянного путешествия на байдах, перегруженных рыбой. Только Давыдка, отсидевший недавно

полгода за браконьерство, продолжал изобретательно пакостить женской бригаде.

Провожая взглядом легкую, ладную фигуру Давыдки, Васса с тревогой подумала о сыне — единственном балованном сыне Алешке. И здесь схулиганил Давыдка: подпоил пятнадцатилетнего хлопчика водкой, научил украсть из школы волшебный фонарь и вывинтить лампы... Съездить бы в город, попросить директора за выгнанного из школы сына-вора. Да нельзя: с часу на час хлынет красная рыба.

Но рыбы не было. Шесть раз сыпали рыбачки плав и шесть раз выбирали чистую сеть. Последний раз сыпали плав под утро недалеко от государственного заповедника. По звездам и свежести воздуха угадывался свежий денек. Прозрачная предутренняя тишина еще накрывала берег. Гулко и отрывисто вскрикивала выпь, набирая в клюв воду, бормотала под корневищами явора вода, сухой чекан провожал лодку легким шепотом, и только сторожевой катер, наперекор сонному дыханию реки, вскрикивал отчетливо и упрямо: «Таб-бак, таб-бак».

Сгрудившись на корме, бабы молчали. Наконец, недалеко от заповедника подняли пудового сома. Решили вернуться обратно. И тут Васса, молчавшая всю дорогу, вдруг негромко сказала:

— Айда, бабочки, в заповедник!

— По рыбу?— спросила Любка, от удивления бросив грести.

Васса засмеялась. Ровные зубы ее сверкнули в темноте.

— По щуку,— сказала она тихо,— по щуку, что в сапогах.

Они тихонько вошли в протоку, соединяющую заповедник с рыболовным устьем реки. Любка подвела байду к берегу, положила весла на банку и стала дремать. Бабы ежились от утреннего холода и перешептывались. Васса откинула мешающий слушать платок.

Небо стало линять. Большой колесный пароход вошел в реку и принялся, задыхаясь, взбираться к далекому городу. Подмигнул и потух маяк. Прогремела по дороге к базару телега. А они все ждали, все прислушивались к многозначительному молчанию притихшей реки.

Наконец, проснулась Любка. Толстые щеки ее, руки, плащ, даже ресницы были мокры от росы.

— Ой, мамо, спать хочется,— зевнула она и рассмешила своим застуженным баском всю компанию.— Ой, хочу до дому!

Несколькими взмахами она вынесла байду на середину протоки и вдруг круто затабанила обоими веслами. Бабы вскрикнули. Прячась в камышах, тихо шла вдоль берега тяжелая байда. Смутно блестела в сумерках рыба, кто-то, накрытый полушубком, спал на корме, и мерно раскачивался одинокий гребец.

Услышав за спиной женский голос, он опустил весла и не спеша обернулся. Лодки сблизились, и торжествующая Васса поклонилась в пояс Давыдке.

— Ох, и любит тебя рыба!— сказала она певуче.

Бабы захохотали. Давыдка молча вынул кисет и поднялся на ноги над грудой тарани.

— На премию, тетка, работаешь? — спросил он с ленивым нахальством.

— На совесть,— ответила Васса с поклоном.

Противники помолчали. Стало видно, как за полосой ивняка взлетают в светлеющее небо кольца дыма. Сторожевой катер бодро покрикивал за поворотом.

Давыдка прислушался и с наигранной ленью взялся за весла.

— Заболтаешься с вами, бабы,— сказал он с усмешкой.— Будьте здоровы, Любовь Михайловна!

Лодки стали расходиться, но с неожиданной быстротой Васса нагнулась и схватила байду за борт.

— Да ты что?— закричал Давыдка, теряя терпение.— Ах ты!..

— Поговорил бы, рыбак, с нами,— предложила Васса, бледнея,— поговорил бы с бабами-дурами.

Парень рванул веслами, но вдруг усмехнулся. Сняв шапку, он оглядел рыбачек и остановился взглядом на Любке, уставившейся на него с заметным сожалением.

— Эх, бабы, бабы! — сказал он неторопливо.— Скучное вы дело затеяли — рыбаков топить. А из-за чего, спрашивается, между нами ревность легла?

Катер затих, поперхнувшись где-то за поворотом. Давыдка вынул из-под лавки ведро и окатил начинавшую засыпать тарань.

— Отцепились бы вы от меня, бабочки,— сказал он беззлобно.— Не одна моя ложка к меду прилипла.

— Васса, а Васса?— шепнула Любка соседке.— А нехай вин тикае.

— Шут с ним,— вздохнула рыбачка, сидевшая на корме.— Одна станица — один грех.

Васса молча подтянула байду ближе и замотала носовые концы.

— Нехай буде, як вышло,— сказала Васса упрямо.

Давыдка встал и скинул кожух, покрывавший его молчаливого спутника.

— А ну, Алеша, поздоровкайся с мамой.

Сонный веснушчатый мальчик поднялся, засовывая руки в карманы.

— Пустить нас, мамо,— сказал он петушиным басом.

Васса молчала.

Повеселевший Давыдка развязал концы.

— Эй, береги руки! — сказал он, пытаясь развернуть байду.

Васса не двигалась.

— Ударю, ей-богу, ударю!

Разозлясь не на шутку, он толкнул Вассу веслом.

— Я тебе ударю,— сказала Васса тлеющим голосом.— Я тебе, красавец, ударю! А ну, бабы, ратуйте!

Ноздри ее побелели. Злой летучий румянец обжег щеки. С неожиданной силой она схватила багор и замахнулась на Давыдку.

— Тю, скаженная! — закричал Давыдка, увертываясь.

Загалдев, бабы вцепились в борта. Давыдка отвернулся и плюнул в светлую воду. Из-за поворота, разметав пенистые усы, выходил катерок.

Давно скрылся в протоке зеленый катер рыбной охраны, утащивший браконьерскую байду, а бабы все еще не брались за весла.

Вода вокруг лодки стала холодной и гладкой. Светлые от росы берега раздвинулись, брызги зелени обозначились на карликовых черных ветлах, обступивших реку. Осетр высоким плавником распорол желтый шелк, растянутый между берегов, и веселое небо апреля распахнулось над Доном.

И вдруг, точно сговорившись, Васса и Любка заплакали. Васса — беззвучно, закрывая лицо жестким рукавом плаща, Любка — захлебываясь и причитая в полный голос.

Проезжий почтарь, остановив лошадь, с тревогой глянул с высокого воза на двух рослых плачущих баб.

— Утонул кто? — закричал он участливо.

Не отвечая, Васса села за весла.

— А що им буде?— спросила Любка сквозь слезы.

— Що буде, то и буде,— сказала Васса жестоко.

Глаза ее высохли и горели. Она гребла сердитыми, короткими рывками, по-матросски сбрасывая воду с весла.

1935

ОПЕРАЦИЯ

С тех пор, как отряд Лисицы ушел в хребты, связь между партизанами и шахтой держал только Савка.

Не всякий из шахтеров Сучана мог бы, выйдя на рассвете, добраться в сумерках до одинокого охотничьего балагана, крытого ветками и корьем. А Савка приходил к Лисице всегда засветло. Он как будто специально был сшит для походов по приморской тайге — из темной кожи, волчьих сухожилий и крепких костей. Чубатый, упрямый, легкий на ногу, как гуран [1], он знал сопки не хуже, чем шахту, в которой третий год служил коногоном.

Мать без конца ворчала на Савку, штопая брезентовые штаны, изодранные чертовым деревом. Бродяга! Перекати-поле! Весь в отца! Тот приехал с фронта усталый, желтый, разбитый и сразу, не отдышавшись как следует от горчичного газа, кинулся в драку. Он и теперь бродит по степи возле Урги — бьется с каким-то немецким бароном, не то Ундером, не то Германом,— семижильный, упрямый, как черт. И этот пыжик туда же! Прячет под печью (думает, никто не видит) ржавый драгунский палаш — австрийский тесак — и бутылочную гранату, которую мать, боясь взрыва, каждую субботу тайно поливает водой.

Трудно было не расплакаться, глядя, как исхудалый, почерневший Савка по ночам набрасывается на холодную чечевицу.

[1] Гуран — горный козел.

В семнадцать лет мало кто слушает материнскую воркотню, а Савка к тому же редко бывал дома. Весь он, от запыленного углем чуба до ветхих ичиг, принадлежал комсомолу, отряду, тайге.

Второй год отряд матроса Лисицы бродил вокруг рудника, нанося молниеносные удары японцам, в то же время избегая серьезных боев. Надолго спускаться в долину было опасно: половина бойцов не имела коней, а за голову командира интервенты давали пять тысяч иен.

То был ожесточенный, хлебнувший горя народ: бежавшие на восток от пожарищ амурские хлеборобы, шахтеры Сучана, владивостокские грузчики, рыбаки, матросы, старожилы-охотники из долины Сицы — люди, вооруженные гневом богаче, чем военной техникой. А командовал ими Лисица — дошлый золотозубый владивостокский минер. Лисица был клад для отряда; он умел заложить фугас, сварить щи из крапивы, смастерить бомбу из боржомной бутылки, даже обузить раздутый винтовочный ствол. А когда матрос начинал передразнивать говор сибирских чалдонов или цокал по-камчадальски, старый охотничий балаган сотрясался от хохота.

Без Лисицы, без дружеских шуток и жесткой матросской руки, пожалуй, не выдержали бы голодную зиму — затосковали бы, рассыпались по деревням. А с ним не сдали. Жили в хребтах, в балаганах из корья — вшивые, закопченные, курили дубовые листья, терпеливо ждали конца весенних туманов...

Савка давно мечтал перебраться из шахты в отряд. Рудник при интервентах был полумертв. Правда, еще стучали насосы и ползли по насыпи вагонетки, но составы на станции стояли порожние: славный сучанский уголек шахтеры берегли для лучших времен.

Скучно было спускаться в притихшую шахту, слушать стук капель да треск оседающих крепей. То ли дело балаган за хребтами, отряд Лисицы, стычки с японцами!.. Так думали приятели Савки — маленький горячий Андрейка, рассудительный, тихий Ромась и другие коногоны и плитовые. Удерживал их только приказ комитета: «Комсомольцам быть в шахтах, ждать наступления, воду откачивать, уголь на-гора́ не давать».

Втайне Савка мечтал о «настоящей» партизанской работе. Дали бы ему «максим» или, на худой конец, «шош» — он показал бы, на что способны сучанские коногоны! Но поручения были самые пустяковые: срезать в конторе шахты старенький эриксоновский телефон, раздобыть аршин пять запального шнура, подсмотреть, когда сменяется караул у артиллерийского склада, или сосчитать издали, сколько теплушек в японском воинском эшелоне.

Несколько раз Савка доставлял из отряда на рудник странные записки, составленные сплошь из цифр. Адресатом был стрелочник рудничной узкоколейки — голубоглазый, плешивый, очень аккуратный старичок. Он всегда возился на огороде за водокачкой, разрыхлял щепочкой землю вокруг тоненьких стеблей баклажанов, поливал салат или разравнивал граблями и без того ровные грядки.

Видимо, стрелочник кое-что знал, но, кроме самых обычных стариковских рассуждений о погоде или пчелах, Савка ничего от него не слыхал. Это удивляло и обижало связиста. Передав записку, он не раз пытался завязать со стрелочником разговор о более серьезных вещах, чем кабачки или настоящие конотопские дыньки.

— А наши опять двух каппелей взяли,— говорил Савка небрежно.— Один рядовой, другой — с двумя лычками... Операция ничего себе...

Стрелочник слушал его терпеливо, но без всякого любопытства, только гмыкал носом — не то чихал, не то собирался засмеяться.

— А Лисица опять за капсюлями в город ушел... А что у вас нового?

— Что у нас?..— говорил стрелочник, поджигая спичкой бумажку.— У нас, голуба, огурцы третий лист пустили... Редиска-то, верно, перестоялась, пожухла... Видно, кончился ее срок...

— Организация, говорю, как?

— А ничего, ничего... Липы богато цвели — не продохнешь. Как угадал: два новых улья выставил. Чаевать будем? Ты, голуба, какой любишь — липовый или гречишный?

При этом он глядел такими простецкими глазами, что у Савки пропадала всякая охота продолжать настоящий, «партизанский» разговор.

Только один раз, когда Савка, потоптавшись в сенях, сообщил, что в бочке получены из Владивостока гранаты, стрелочник перестал улыбаться, прикрыл плотнее дверь и как бы в раздумье спросил:

— А что, если я тебя, голуба, в штаб отведу?

Савка опешил, потом рассмеялся.

— Вы — меня?.. Я же вас знаю!

— Ну и врешь, однако,— сказал стрелочник так же спокойно.— Я вот охранник, сыщик японский. А ты — ветряк, балаболка...

Кровь бросилась в голову Савке. Он повернулся и вышел. Это был прекрасный урок. Уметь наблюдать, молчать, понимать... С тех пор Савка никогда не пытался расспрашивать. Молча шарил за подкладкой фуражки, молча передавал записку и уходил, глядя исподлобья.

Он ничего не рассказал даже товарищу по шахте коногону Андрейке, даже Ромасю, с которым каждую осень ходил в сопки за козами. И только по ночам, на жестком топчане, вдруг вспомнив недавнюю обиду, снова вспыхивал, ворочался, бормотал яростные возражения. Балаболка! И это говорят ему, вожаку коногонов, комсомольцу с двухлетним стажем подпольной работы! Ветряк! Да пусть только поручат какое-нибудь настоящее дело!

Огромная красноармейская звезда, которую Савка вывел углем на стене японского барака, нисколько не успокоила коногона. Подумаешь, подвиг! Все равно часовой не высовывал носа из овчины.

Однажды вечером, когда трое пьяных каппелевцев приехали париться в китайскую баню, Андрейка и Савка отвязали солдатских коней и галопом помчались в отряд. Их обстреляли дважды: голые каппелевцы, выбежавшие на улицу из предбанника, и свои, партизаны, на перевале за смолокурней.

Этот случай несколько утешил Савку, тем более что довольный Лисица обещал ему наган-самовзвод. Он еще отчаяннее заломил фуражку и стал поглядывать на стрелочника с некоторым вызовом, точно хотел сказать: «А что? Вот тебе балаболка!» Но стре-

лочник, и не подозревая о подвиге Савки, так же спокойно глядел на связиста простецкими глазами и бормотал что-то не то о бураках, не то о туманах, вредящих огуречному цвету. Поэтому Савка был особенно удивлен, когда стрелочник пригласил его в комнату и без всяких предисловий спросил:

— Каппели-то голяком за конями бежали?

— Голяком! — Савка, не выдержав, расплылся в улыбке.

— Как же вас не подшибли?

— А у них глаза мылом разъело.

Стрелочник смотрел на худого носатого парня, на исцарапанные сучьями крепкие руки, и глаза у старика были совсем иные: отцовски внимательные, чуть лукавые.

— Вот что, джигит,— объявил он внезапно,— эту штуку придется повторить еще раз... Нет, не каппелевских... Надо поднять на-горá наших, горняцких коней. Чтобы не проскочила ихняя милиция, повалим на переезде в три ряда вагонетки... Поднимать только ночью... Кони о свете забыли — разом на солнце ослепнут...

Не торопясь, он стал объяснять подробности предстоящей операции.

Лисица был точен в выполнении плана. Люди его просочились в темноте сквозь поселок, окружили рудничный двор, залегли на высокой насыпи за вагонетками, загородившими переезд.

Комсомольцы-коногоны, подготовленные Савкой, ушли в сторожевое охранение, а небольшая группа шахтеров и машинист маневровой «кукушки» дежурили у лебедки, ожидая сигнала.

Но сигнала не было. Только Лисица, Савка да еще Ромась и Андрейка знали, что конюх, обещавший выдать коней, не вернулся из города. Вместо него теперь дежурит Прищепа — старательный и дюжий служака, одинаково равнодушный и к белым и к красным. Он сидел возле конюшни, в двухстах саженях под землей, не подозревая о готовящемся покушении на коней... На всякий случай Лисица распорядился перерезать телефонные провода: кто знает, на что спо-

собен пожилой глуповатый служака, которого вот уже полчаса уговаривают Ромась и Андрейка.

...Шел сильный теплый дождь. Партизаны, второй час лежавшие за насыпью, ежились в мокрой траве. Лисица поглядывал то на часы, то на небо.

— Ступай сам,— сказал он Савке.— Чую, хлопцы твои из старика творогу не выжмут...

Савка загромыхал по лестнице. Вот и конюшня. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что дело провалено.

Маленький взъерошенный Андрейка, поблескивая цыганскими глазами, наскакивал на Прищепу, сидевшего на табуретке и спокойно вырезавшего из чурбака ложку.

— Слышь, Прищепа! — кричал он ломким, мальчишеским баском.— Отдай! Я не шучу! Добрым словом прошу... Отдай.

— Слышал... Еще шо?

— А раз слышал, так действуй. Сандала слепая!.. Гляди, раскорячился на ровном месте... Начальство!

— Отскочь!

— А чо ты, шкура семеновская... Выдь только нагора́!..

— Спасибо за ласку. А шо ты мне зробишь? — лениво спросил Прищепа.

— Увидишь. Обломают рога гурану.

— Оставь его,— сказал сердито Ромась.— Не видишь — его лошадь подковой погладила.

Конюх стряхнул стружки с колен и затрясся от смеха. Он был доволен своей неуязвимостью, строгим отношением к имуществу шахты. Политика, в которую ввязались коногоны, мало интересовала Прищепу. Третий год на-гора́ творилось что-то непонятное. Красные били белых, белые — красных, зеленые — тех и других. Каждую неделю на перевале летели под откос поезда. А везли в них что угодно: солдат, амуницию, горные пушки, пулеметные ленты, солонину, гранаты, пироксилин, ви́ски, галеты — только не сучанский добрый уголек.

Тихо ползли несуразные, пестро раскрашенные броневики, на полустанках висели приказы один грознее другого, всюду слышалось кудахтанье японских

солдат. «Владиво-ниппо»[1] обещала близкий расцвет промышленности, а между тем узкоколейка от станции до рудника густо поросла молочаем и щавелем.

Кто был тут прав, разобраться Прищепа не мог и решил по мере сил держать равновесие. Понятно, каппелевцы живоглоты, бандиты, но и партизаны тоже гуси: горлопаны, всесветные звонари. Ясно было Прищепе только одно: настоящей, прочной власти нет и не видно. Израсходуют на-гора́ патроны, лягут горячие головы, а шахта останется. И кони в ней. Он и берег их упрямо для будущих настоящих хозяев.

Посмеиваясь, Прищепа оглядел своих щуплых противников. Щенки, конокрады! Пускай-ка попробуют увести хотя бы хромого Трубача!

Приятели переглянулись. Никакая сила не могла вывести конюха из привычного равновесия. Самые обидные, самые верные слова отскакивали от бычьей кожи Прищепы и рикошетом ранили атакующих.

— Братцы, свяжем его! — взвизгнул возбужденный Андрейка.— Возьмем разом... Ромась, заходи!

— Нехай будет так,— согласился Прищепа.— На, байстрюк, вяжи!

Он засучил рукава и показал волосатую руку чуть потоньше крепежного бруса.

— Ну что ж....Ну и свяжем... Ромась, заходи!

— Отойди! — сказал Савка внезапно и отодвинул в сторону озадаченного Андрейку плечом.— Ты не гавкай, ты агитируй.

Прищепа покосился на агитатора и снова захохотал.

— Вы погодите, дядя Захар... Что я вам скажу. Вы не смейтесь... Послушайте. Ну, на што вам в теперешнем положении кони? Угля ж нет все равно.

— Нема в середу, буде в пьятныцю.

— Дядя Захар! Вы ж не знаете текущих событий. Вы только послушайте. В Кузьминке япоши стариков и баб керосином через воронки поили. Школу с детями сожгли... Это вы слышали? Семенов грозится на сто лет Приморье в аренду отдать... А вы тут с нами в квочку играете. Дядя Захар! Ну, выдайте коней... Слышите? Никак нам нельзя пешком воевать.

---

[1] «Владиво-ниппо» — газета, выпускавшаяся японцами во Владивостоке во время интервенции.

Тявкнул колокол, подвешенный возле ствола. Там, на-горá, под дождем, люди ждали обещанных коней. Савка с испугом глянул на ходики. Коногону почудилось — циферблат ощерился в усмешке, точно широкая упрямая рожа Прищепы, медный маятник дразнился, пощелкивал: вот-так, вот-так-так. А на-горá ночь была на исходе. Видимо, брезжил уже над Сучаном рассвет, потому что люди наверху беспокоились; колокол вскрикивал все тревожней, все чаще.

Савка колебался. Он знал: кони стоят тут, за дощатой перегородкой. С края — ленивый и толстый Трубач, за ним — белоногая Ночка, высоченный старик Атаман, Голубь, Дочка, Султан... Слышно было, как лошади жуют сено, всхрапывают, стучат копытами по настилу.

От ствола шахты неслось медное тявканье. Лисица выходил из терпенья. Колокол негодовал, требовал, звал к действию. И Савка решился.

— Ну что ж,— сказал он как можно спокойнее,— так и запишем. Пункт шестнадцатый, параграф девятый. Прищепа Захар против приказа... Так, братки?

Он вынул записную книжку и стал что-то царапать. Ошеломленный Андрейка раскрыл рот, чтобы спросить, что такое параграф, но догадливый Ромась поспешно сказал:

— Ну, ясно... По пункту шестнадцать.

— Шестнадцать! — поддакнул Андрейка, смутно догадываясь, что Савка готовит ход прямо в дамки.

— А теперь до свидания. Копию протокола пришлет с вестовым чрезвычайная тройка...

Савка спрятал записную книжку, обдернул рубаху и зашагал к выходу. Он бил наверняка: старательный и осторожный Прищепа до смешного боялся официальных выражений и казенных бумаг. Были слова простые, привычные: лошадь, корова, веревка, хомут. И были слова начальственные, строгие: протокол, акт, приказ, реестр, параграф — как бы облаченные в военную форму. С первыми Прищепа был запанибрата, перед вторыми — робел. Печать, штамп, лихая канцелярская роспись были для него неоспоримым выражением власти.

— Гм... Здается мени...

— Прощайте, Захар Семенович.

— Трохи того... Який ще параграхв?

— Будто не знаете,— сказал Савка бойко.— Приказано срочно секретно мобилизовать в шахтах всех коней. В три дня!

— Кем приказано?

— А центральным штабом... то есть начальником... командующим... Сергеем Лазо.

Прищепа гмыкнул и по солдатской привычке расправил рубаху под поясом. Имя таежного полководца, жившего где-то в хребтах, в шалаше из корья, тайного руководителя всех партизанских отрядов, внушало доверие.

— Брешешь...

— А это что? Нате, читайте.

Савка достал из жестяной табачницы бумажку и помахал ею перед носом упрямца.

Прищепа забеспокоился. Бумага была форменная: отбитая на машинке, с квадратным штампом и печатью.

— Черты його батька! — сказал он, смутившись.— Бач, якое дило... Очки-то у меня на-го́ра.

И Прищепа сокрушенно хлопнул себя по карманам, ни за что не желая признаться в неграмотности.

— Мое дело передать... хотя могу и прочесть.

Не ожидая согласия, Савка торжественно начал:

— «Срочно. Секретно. Именем Дальневосточной республики. По пункту шестнадцать, параграфу семь...» Вы слышите, дядя Захар? Тут специальный параграф...

— Чую,— сказал Прищепа, насупившись.

— «...приказываю Прищепе Захару Семеновичу выдать отряду...» Тут неразборчиво... «отряду, по случаю фактической необходимости государства, всех коней, в количестве семнадцати голов, а также овес».

Савка покосился на озадаченного Прищепу и добавил:

— «...всякие саботажники и дезертиры приводятся в исполнение трибуналом на месте...» Подпись... штабная печать.

Прищепа был подавлен, побежден спокойствием Савки и решительным тоном приказа. Ворча, он подвел к стволу сонного толстого Трубача, расправил под брюхом брезент и застегнул ремни.

— Нехай буде так,— сказал он грустно,— коням на волю, мени у каземат...

Партизаны молча стояли возле бревенчатого барьера, следя за вертикальной струйкой каната. Разрушенный взрывом подъемник бездействовал, всю добычу выдавали лебедкой. Две заморенные лошади шли по деревянному кругу, с натугой наматывая на барабан стальной трос. В предрассветной тишине мягко стучали по измочаленным бревнам копыта да щелкал, задевая шестеренку, зуб стопора.

Первым подняли Трубача. Желая спасти глаза лошади от резкого света, старательный Савка еще внизу надел ей на голову два мучных мешка и этим едва не задушил Трубача. Выгнувшись дугой, вытянув в мучительном напряжении шею, конь казался окаменевшим, но как только ноги его коснулись земли и отвалился от брюха брезент, Трубач легко вскинулся на дыбы и, храпя, пошел на Лисицу. А когда сорвали мешок и прямо в жадные ноздри коня ударило запахом майских трав, Трубач вздрогнул, поднял голову и заржал — должно быть, впервые за все время невеселой подземной жизни — заливисто, трепетно, звонко, точно баловень стригунок. И сразу тем, кто стоял под навесом, и тем, кто лежал за насыпью в мокрой траве, стало спокойнее, веселее и легче — столько силы и радости было в долгом ржании коня.

Подняли Голубя, упрямого и маленького, точно пони, подняли славную белоногую Ночку, зябко дрожавшую от волнения, и тяжелого злого Гусака, пытавшегося достать шахтеров зубами. Становилось светло, и, несмотря на защитные повязки, кони вели себя возбужденно: бились, храпели, рвали из рук поводки... Спокойнее всех вел себя Атаман — серый, вислозадый мерин с голой репицей и старческими, набухшими в суставах ногами. Едва сняли лямки, старик встряхнулся, твердо поставил уши и, прихрамывая, направился прямо к воротам, куда звал его запах мокрых лугов.

Оставалось поднять четырех лошадей, когда прибежал один из комсомольцев, находившихся в сторожевом охранении. Запыхавшись, он сообщил, что подходит смешанный американо-японский патруль.

Лисица молча выслушал донесение, выбил о каблук трубку и вразвалку пошел к насыпи; как всегда, он не торопился. Нагибаясь к стрелка́м, роняя короткие, успокоительные словечки, он обошел цепь и стал за тендером маневрового паровоза. Кто-то из комсомольцев, лежавших поблизости на куче штыба, нетерпеливо спросил:

— Ударим? Или как?

— Ни боже мой! — ответил Лисица вполголоса.

Он отвел в сторону машиниста маневровой «кукушки» — толстяка с лихими солдатскими усами — и что-то шепнул.

— Ну и что ж. Я могу! — сказал, подбоченясь, усач.

— В другой раз... В другой раз,— ответил строго Лисица.

Он сорвал с машиниста пиджак, нахлобучил картуз и, запустив обе руки в кучу штыба, старательно, точно умываясь, помазал ладонями лоб и щеки.

Машинист влез на площадку, и «кукушка» разразилась тревожными воплями.

На дороге показался патруль.

— Как возьмете коней, отходите. Не ждите,— сказал тихо Лисица.

И вдруг, поднырнув под сцепления, закричал несуразным фальцетом насмерть перепуганного человека:

— Караул, грабят!

Два голоса разом спросили:

— Stop! Who is coming? [1]

— Голубчик! Господин офицер,— закричал Лисица пронзительно.— Ваша японец? Не понимай. Ах, бяда! Бегите к мосту. Окружайте.

— What he's speaking? [2]

— ...Там они, фугасники... на мосту. Боже мой! Аж сердце зашлось.

Лисица забормотал скороговоркой. Голос его срывался от страха. Измазанный угольной пылью, в мятой фуражке и засаленной кожанке, он топтался перед начальником патруля и твердил, заикаясь:

---

[1] Стой! Кто идет?

[2] Что он говорит?

— По-подъезжаю... г-гляжу... Бегит лохматый в борчатке. Бегит, значит что-то есть. Даю контрпар. Гляжу, на мосту еще четверо! Взорвут! Ей-богу, взорвут. Айда-те, господин офицер.

Строгий начальственный голос брезгливо сказал:

— He is drung. Немного поджидайт. What is barichatka? [1]

— Сам видел, в борчатке. Борода во! Морда красная. Из этих, из сопочников. «Зажмурься, кричит, отвернись, если засохнуть не́ хочешь»,— а сам шашку прилаживает. Я, господин офицер, не могу. Я на кресте присягу давал... Как заору...

Лежавшие за насыпью толкали друг друга. Войдя в роль, Лисица суетился, хватал офицера за рукава, хлопал себя по ляжкам и говорил, говорил без умолку, умышленно вызывая десятки недоуменных вопросов.

В полсотне шагов от Лисицы под навесом попрежнему стучали кони по кругу и пощелкивал стопор лебедки. Выдавали на-гора́ последнюю лошадь.

Наконец кто-то из японцев нетерпеливо сказал:

— Х-орсо... хорсо... пойдемте за нами.

— Айда-те, господин офицер. Однако чего я сказал. Прижмут меня господа комиссары. Ей-богу, прижмут!

Суетясь, громко всхлипывая, Лисица повел патруль вдоль насыпи в сторону моста. Вскоре затихли и шаги солдат и плачущий голос «машиниста».

Кто-то, погасив улыбку, тревожно сказал:

— Огнем парень играет.

— Не ухватишь... Он скользкий.

...Стало почти светло. Горы вокруг рудника расступились, позеленели. Высоко над темными кронами деревьев зажглись перистые облака. С дальнего озерка уже летели в низину тонкогорлые кряквы.

Последним поднимали орловского метиса Серыша — старого, но еще крепкого, ходившего когда-то под верхами в отряде Шевченко.

Лошадь вела себя беспокойно. Еще внизу, едва ноги ее оторвались от земли, она стала жестоко рваться, стремясь освободиться от неловко затянутых лямок. От сильных рывков брезент спустился к задним

[3] Он пьян... Что такое борчатка?

ногам, голова Серыша перевесила туловище и несколько раз задела о бревна. Тогда люди, стоявшие наверху у лебедки, услышали стоны почти человеческой выразительности.

Освобожденный от ремней, Серыш встал, пошатываясь, точно под ногами кружилась земля. Ноздри его раздулись и окаменели. Выпуклыми, дикими глазами смотрел Серыш на светлеющие горы, на лица людей, и пепельная, увлажненная в паху шкура коня зябко вздрагивала.

Кто-то снял пиджак и закрыл Серышу морду. И вдруг ноги коня разъехались, он рухнул на бревна, покрытые угольной пылью. Бока его стали раздуваться с невиданной силой, точно Серыш только что вернулся с дальнего бега.

— Наглотался высокого воздуха... Сердце зашлось,— сказал хозяин пиджака.

— Разность давлений,— пояснил машинист маневровой «кукушки».

Не ожидая Лисицы, партизаны садились по коням. Все знали твердо: придет час, и матрос снова появится в шалаше из корья — рыжеусый, насмешливый, с упрямым подбородком, выскобленным по флотской привычке до блеска.

Вместе с партизанами уходили в тайгу коногоны. Нетерпеливый Андрейка, не ожидая команды, вскочил на Атамана, Ромасю достался Гусак, Савка выбрал горячую, легконогую Ночку. Гордый успехом операции, он заметно важничал: подбоченивался, подобно Лисице, и хмурил без надобности пушистые мальчишечьи брови. Подпрыгивая на голой лошадиной спине, он все время щупал с правой стороны пояс — отцовский, солдатский. Сюда Савка решил подвесить наган, который он сегодня получит в отряде. «А может, и маузер»,— подумал он, поглядывая с завистью на деревянную кобуру соседа.

Маленький отряд выехал за ворота и на рысях стал спускаться в долину.

В тишине миновали копер, больничный околоток и лавку, но едва стали переезжать вброд мелкую и шумную Сицу, от шахты донесся негромкий треск, точно разгорались на костре сырые дрова. Наряд конной милиции подошел к переезду и, остановившись

перед запрудой из вагонеток, открыл беспорядочный, редкий огонь по пустому сараю.

Отряд свернул в распадок, и сразу все смолкло.

На седловине, у старой смолокурни, остановились, чтобы подождать отставших. Андрейка, успевший уже несколько раз рассказать, как перехитрили упрямого конюха, пристал к Савке с просьбой показать грозный приказ, испугавший Прищепу. Посмеиваясь, Савка вынул из табачницы четвертушку плотной бумаги. Грянул смех. То был форменный документ со штампом, жирной печатью и лихо закрученной подписью: свидетельство участкового фельдшера о прививке оспы.

Стали подтягиваться отставшие. Грозная бумага пошла по рукам, вызывая остроты. Чуть важничая, Савка стал снова рассказывать, как подействовал на Прищепу «параграхв» с печатью, и даже изобразил служаку, ставшего перед бумагой «во фрунт».

И вдруг Савка запнулся: к привалу на Серыше, которого все считали пропавшим, подъезжал сам Прищепа. Старик сидел, растопырив толстые ноги в опорках, старательно отгоняя от лошади оводов. Рваный брезентовый плащ с капюшоном и холщовая торба показывали, что конюх собрался далеко.

Савка обрадовался и смутился:

— Дядя Захар... Вы с нами, в отряд?

Но Прищепа упрямо мотнул головой.

— А чого я там не бачив? — ответил он осторожно.— Я тилько з конями.

И строго добавил:

— Як отвоюетесь, назад уведу...

1934

АРИФМЕТИКА

Прежде чем выдать Рябченко двустволку и четыре патрона с волчьей дробью, правленцы колхоза жестоко поспорили.

С одной стороны, кажется, лучше сторожа не найти. Хоть к самому Госбанку ставь старика. Батрак... Крючник Самарского затона. Старожил. Верно, нажил к шестому десятку грыжу, но вытаскивать риковский «фордишко» из грязи все же звали Рябченко. Впрочем, старик — слов нет.

С другой стороны — полукалека. На левой руке вместо пятка один палец остался. И тот в полевых работах ни к чему — мизинец паршивенький... Шутка ли, два амбара с зерном. На днях выезжать в поле. А у сторожа вместо руки — одна култышка.

Спорили до сухоты в глотках, пока председатель не вызвал самого кандидата в сторожа. Огромный, как звонница, Рябченко тотчас явился, счищая с рубахи рыжий конский волос. Между делом собирал старик по конюшням вычес на экспорт,— к осени обещали ему отрез на штаны.

Все уставились на рябченковскую култышку с бобылем-мизинцем, а председатель сразу спросил:

— Тут народ хочет констатировать. Инвалид ты или еще не вполне, и по какой причине пальцев нет.

Рябченко покосился на култышку.

— Это — Федор Игнатьича... то есть Федьки Полосухина дело... Арифметике меня обучал.

— Арифметике?

— Ей самой,— равнодушно ответил Рябченко.— Кто из старожилов, тому это известно. Однако могу объяснить.

Он потеснил сидевших вдоль стенки и, глядя на катанки, рассказал забытую в 1933 году историю полосухинской арифметики.

— Чтобы не соврать, в тысяча девятьсот четырнадцатом году решил я уйти, наконец, от Полосухина. Объявил хозяину о желании, а Федор Игнатьевич возьми да упрись! «Добатрачивай у меня до Покрова, тогда получишь два мешка пшеницы и головки яловочные... Нет — от ворот поворот». Так и не дал. Вот тут и вышла арифметика.

По молодости, второпях решил я свое же заработанное у Полосухина скрасть... Мешок унес, а на втором попался. Навалились на меня втроем, то есть сам Полосухин, сын Григорий и мельник, полосухинский зять.

Навалились, связали. А сам Федор Игнатьевич волосы мне закрутил и спрашивает: «Ну, дружок, арифметику знаешь?» — «Нет,— отвечаю,— не знаю, Федор Игнатьевич».— «А это, дружок, дело не трудное... Я тебя научу, до старости не забудешь».

Говорит, а сам волокет меня к чурбашку — два года я на нем хворост рубил,— а сыну приказывает (парнишка был рябенький, картавый, лет семнадцати): «Принеси, Гриша, топор, смотри, как воров учить надо».

Я догадываюсь, в чем дело, и начинаю во весь голос просить: «Федор Игнатьевич, прости, не заставь в калеках ходить». Только пролетают слова мои мимо. Кричи не кричи — хутор на отлете.

«Разве я зверь,— отвечает,— не тело, душу жалею... Сколько украл? Два мешка, дважды два — четыре... А пятый палец тебе на развод оставлю, сукин ты сын».

Так и сделал. Я по молодости плачу — и руку и хлеб жалко!.. Потом... подержали мне руку в снегу и открыли ворота... Два мешка — четыре пальца, вот и вся арифметика.

Тут Рябченко зацепил култышкой газету и стал тихонько сыпать махорку.

— Был, конечно, суд,— сказал он после долгой паузы.— Это, выходит, перед самой войной... Федор Игнатьевич клялся, доказал, будто я сам пальцы себе отрубил, чтобы в окопах вшей не кормить.

— Ну, а все-таки вы себя инвалидом чувствуете? — спросил полевод.

Рябченко засопел и сделал вид, что не слышит. Тогда, чтобы прекратить всякие споры, сторожа решили испытать. Председатель сельсовета повесил во дворе на колышек старый картуз, а Рябченко вручили двустволку.

Он неловко подпер ложе нелепой култышкой, примостил приклад под бороду и прицелился. Левый глаз его стал суровым и круглым, полоска шеи между кожухом и треухом набрякла темной кровью. Так, натужась, он стоял до тех пор, пока ствол начал делать восьмерки и слеза смягчила напряженный до рези, пристальный глаз.

— Бей! — закричали нетерпеливые.

Рябченко опустил ружье и костяшками пальцев вытер глаза.

Огонь гулко рванулся из обоих стволов. Картузик подлетел и плюхнулся в лужу.

— Я же констатировал, палец ни при чем. Он семерых убьет. Как мальчик.

Так Рябченко стал сторожем двух амбаров пшеницы, бочки с водой, насоса и пеногона «Вулкан».

Стремительно приближался апрель. Весна мчалась галопом, ломая лед, разбрасывая грязь и лужи. Распутица отрезала колхоз от района. Кони, перевозившие фураж, дымились, как только что окаченные горячей водой. Теплые черные лысины вылезли из-под снега, и бригадиры, увязая по колени в грязи, ходили щупать руками, готова ли почва для сверхраннего сева.

На самом конце села, как избы на курьих ножках, высились подпертые толстыми сваями два дубовых амбара. Рябченко сторожил их только ночами. Под утро его ежедневно сменял парнишка с мелкокалиберкой и старым австрийским тесаком. Приставив лестницу, сторожа осматривали древний замок в виде подковы и сургучные печати. И хотя они сменялись

ежедневно; Рябченко каждый раз предупреждал парня, дотрагиваясь култышкой до сургучных пятен:

— Запомни... здесь трещины две — с краю и через середину.

Несколько раз правленцы приходили проверять по ночам Рябченко, подъезжали на санях задворками, подкрадывались из-за кузни, выскакивали из оврага, подходили с хитрецой, просили прикурить,— и каждый раз молчаливый Рябченко, став на дороге, огрызался из овчины. Прикуривать не давал, разговаривать не желал, а члену районной посевпятерки, решившему ночью проверить охрану, едва не всадил в грудь заряд волчьей дроби.

Вечером ли, ночью, на рассвете — всегда можно было увидеть, как медленно движется вокруг амбаров похожий на звонницу Рябченко и масляно светится зажатая под мышкой двустволка... Сторож был в полном порядке.

Под пушечный треск волжского льда пришел апрель. Вызревшая земля задымилась на взгорках. В деревянных кадках высоко поднялись побеги опробованного на всхожесть зерна. Было время ломать на амбарах печати.

За трое суток до выезда в поле председатель с бригадирами и практикантами-агрономами засиделся за полночь... Неохота была расходиться. Говорили о канадке, о черной пшенице, что выдерживает суховей, о сыром дубе новых втулок, американских фермерах, запарке соломы и не заметили, как фитиль высосал весь керосин из лампенки.

Председатель дунул в стекло, и, нащупывая дверь, собеседники стали выходить во двор. И вдруг в смутной весенней тишине все они отлично услышали тугой удар — точно одинокий футболист сильно поддал мяч... Первый раз Рябченко дал знать о себе.

Не уговариваясь, люди сразу ринулись под горку, к амбарам. За оврагом чмокала грязь под лошадиными копытами. Кто-то скакал в темноту.

В сырой, вязкой тишине тонули тяжелые амбары. Рябченко полулежал на животе, растопырив руки, и сопел. Агроном чиркнул спичкой — и тут подбежав-



шие увидели, что сторож не один. Чья-то всклокоченная голова выглядывала у него под мышкой, и ноги в ярких остроносых калошах высовывались из-под зеленой овчины.

Когда вспыхнула спичка, пойманный перестал биться, и Рябченко поднялся на ноги. Уцелевшей рукой сторож держал рябого, узкоротого мужчину городского склада в вязаном свитере под расстегнутым пальто и брючках навыпуск.

— Керосином баловаться решили,— сказал Рябченко, вздыхая.— Печеным хлебцем колхоз угостить.

Председатель стал расстегивать на брюках сыромятный ремень, чтобы скрутить пленнику руки.

— Ты, мерзавец, откуда?

Тот дернулся назад.

— Не смейте трогать! — сказал он, картавя.— Ниоткуда я.

Нагнувшийся было за двустволкой Рябченко быстро обернулся на голос.

— Ой ли,— сказал удивленно,— так уж ниоткуда? Ах, сиротиночка!..

Он зажег спичку и, прикрывая култышкой, поднес рвущееся пламя к лицу пленника.

— Узнаешь, что ли? — спросил председатель.

Рябченко засмеялся и бросил спичку в лужу.

— Вырос, конечно,— сказал он негромко,— а как был рябеньким, так и остался. И картавит по-прежнему. Полосухинский Гришка на побывку приехал. Амбар-то был ихний.

Поджигателя повели, толкая в спину. Он покорно шлепал по лужам остроносыми калошами.

Председатель поставил лестницу и осмотрел печати. Потускневший сургуч раскачивался на нетронутых нитках.

— Товарищ Рябченко,— сказал он сверху торжественным тоном.— Этот факт как примерный будет представлен в край. Так и напишем: «Сторож Рябченко, пятидесяти шести лет, героически защитил два амбара».

Рябченко вытер стволы рукавом и задумался.

— А я так полагаю, что амбаров не два, а шестнадцать,— заметил он рассудительно.

— Как шестнадцать?

— А так выходит... Урожай проектировали восемь центнеров с га, теперь помножь два амбара на восемь центнеров... Дважды восемь — шестнадцать. Шестнадцать амбаров. Вот и вся арифметика.

Он подоткнул двустволку под мышку и, не ожидая ответа, покашливая, пошел вдоль амбаров.

1933

СУНДУК

Они познакомились под Ленинградом в 1925 году. Август Карлович Реймер и Санька Дроздов. Знаменитый мастер фирмы «Цойт» и семнадцатилетний ученик ФЗУ.

На бумажной фабрике в то время шел монтаж немецкой машины. Ее привезли в шестидесяти вагонах, ослепительную, громоздкую и многим еще непонятную. Август Карлович, без которого не обходилась ни одна сборка, ходил по цеху переполненный достоинством. Увидев Саньку, он бесцеремонно спросил:

— Ты откуда?

— Мы осинские,— сказал Санька, не зная, чему удивляться — двухэтажной машине или пестрым гетрам, натянутым на могучие икры баварца.

— Я не спрашиваю жительства... Где ты учен? Фэзэу? Übersetze nicht! Я буду сам поясняйт.

Он взял ученика за плечо и медленно, точно диктуя, сказал:

— Фэзэу — это школа... Это — fassen, sehen, übensich![1] Понятно?

Дальше «васисдасов» Дроздов еще не ушел. Но молчать не хотелось.

— Ну, а как же! — сказал он поспешно.— Конечно, понятно. Честное слово, понятно!

Лето они провели вместе возле барабанов, медных сеток, массивных станин, и с каждым днем Санька все больше и больше поражался памяти Реймера. Немец знал не только, как разместить все десять ты-

[1] Понимать, смотреть, упражняться!

сяч деталей. По скрипам и шорохам Август Карлович угадывал скрытые болезни машин. Он мог определить дефекты, приложив мизинец к подшипнику, а большой палец к волосатому уху.

За тридцать лет работы у Цойта этот грузный, медленный в движениях человек успел объехать полмира. Машины, установленные им в начале столетия в Канаде, Австралии и Норвегии, жили до сих пор, опустошая леса, превращая деревья в бесконечную бумажную ленту.

Реймер любил показывать Саньке листы целлюлозы, ленты папиросной и газетной бумаги, куски искусственного пергамента, шелка, обрезки бристольского картона. Но интереснее всего был сундук, о содержимом которого можно было только догадываться. Тяжелый, обитый лакированной жестью, он был залеплен десятками ярлыков отелей и багажных бюро. Говорили, что сундук набит монтажными схемами всех цойтовских машин, что Август Карлович копит уникальные технические книги и атласы.

В те годы многие из технических секретов приходилось угадывать на ощупь, поэтому содержимое сундука в глазах заводской молодежи разрослось до гиперболических размеров.

Несколько раз Дроздов разговаривал с Реймером о сундуке, но неизменно встречал округленные удивлением глаза. За три месяца совместной работы Август Карлович ни разу не развернул перед учеником монтажную схему, не объяснил, как читаются синьки. Он нехотя прибегал даже к помощи карандаша, точно боялся оставить хотя бы тень своих знаний.

Последний разговор был перед отъездом немецких монтажников.

— Август Карлович,— сказал Санька дипломатично,— вот вы по специальности почти инженер.

Реймер подозрительно покосился, но ничего не сказал. Санька замялся.

— Хорошо бы обменяться опытом,— заметил он нерешительно.

— Прекрасная идея... Дальше.

— А разве непонятно?

Август Карлович усмехнулся.

— Нет. Я догадалься... Любопытство есть стимул в работе для каждый молодой человек. Так?

— Так.

— Значит, я не могу ничего вам показывайт. Я боюсь лишайт молодой человек такой ценный стимул.

— А вы не бойтесь.

— Каждый человек должен кушать из свой тарелки,— сказал Август Карлович наставительно.

...Они расстались зимой 1926 года, и только через несколько лет на имя Дроздова пришло письмо из Мельбурна.

Саньки на заводе уже не было — конверт переслали в Ленинград студенту первого курса Дроздову Александру Борисовичу. Реймер жаловался на жару и рассказывал, что смонтировал пятьдесят шестую ротацию.

— Fassen, sehen, übensich! — сказал Дроздов, вспомнив разговоры с Августом Карловичем. Впрочем, немец тут же вылетел у него из головы. Шли зачеты, приближалась летняя практика. Август Карлович не дождался ответа.

Только через десять лет на одном из уральских заводов они встретились снова. Технический директор Дроздов и старый цойтовский мастер.

Август Карлович достаточно много ездил, чтобы ничему не удивляться. Увидев вместо перепачканного тавотом парня бритоголового здоровяка за директорским столом, он спокойно сказал:

— Поздравляю с блестящей карьера.

— Sie wollten sagen — mit Forwachsen [1],— ответил Дроздов.

Август Карлович начал сборку своей семидесятой машины. Старые мастера, знавшие Реймера еще до революции, нашли, что немец мало в чем изменился. Те же сизые щеки, стриженая проволока усов и оплывшие веки, даже тот же суконный картузик с наушниками.

Удивительнее всего, что сохранился и знаменитый сундук. Облепленный ярлыками, он стал еще ярче. Каждая страна оставила на его боках свой отпечаток. Были здесь пальмы, автомобили, орлы, китайские

---

[1] Вы хотели сказать — с ростом.

иероглифы, следы таможенного сургуча, наклейки польских гостиниц.

Сундук был водворен в гостиницу, и Август Карлович приступил к монтажу. Теперь дело шло много легче, не приходилось торопить и объяснять элементарных вещей. Здесь было много опытных мастеров, прошедших школу на Балахне и Сяси. Знаменитая цойтовская модель, названная в прейскурантах «Левиафаном», была смонтирована в течение месяца.

Наконец все было закончено. Уборщицы вымыли кафельный пол. Закатав рукава, сеточники стали к машине.

Реймер открыл вентиля, забормотала вода, стал слышен шепот пара.

Машина нагрелась, ожила. Барабаны пошли быстрее. Наконец первые хлопья целлюлозы легли на сетку.

Через час возле «Левиафана» стало жарко. Сушильщики работали в одних рубахах. Они бережно принимали узкие серые полосы бумаги и вели их через барабаны. Лента бежала со скоростью сто пятьдесят метров в минуту, но никак не могла добраться до последнего вала. Она то расползалась влажными хлопьями, то, перегревшись, гремя скатывалась с барабана.

Машина шла полным ходом. Наладчики едва успевали отбрасывать обрывки ленты, еще наполненные влагой и теплом. Бумага заваливала проходы. Ее отшвыривали, сгребали, уносили в мешках и корзинах. Она снова сбивалась в высокие рыхлые горы.

Наступила ночь. Из цеха вынесли пять вагонов разорванной в клочья бумаги. Старики наладчики отказались уступать места смене. Люди упрямо подхватывали и вели куски ленты, и так же упрямо барабаны стряхивали со своих сверкающих боков обрывки бумаги.

Дроздов спокойно наблюдал эту затянувшуюся схватку. Похожие случаи бывали и раньше на Балахне. Никогда еще «Левиафаны» не заводились сразу, как тракторный движок.

Немец рысью бегал по трапам. Жесткие усы его топорщились вызывающе, хотя мешки под глазами изобличали усталость. За последние сутки он отошел

от машины только один раз, чтобы побриться и выпить стакан кофе. Август Карлович ни с кем не разговаривал, не советовался. Вооруженный тяжелым американским ключом, он продолжал терпеливо настраивать «Левиафан».

На вторые сутки, пробегая мимо Дроздова, немец сказал сквозь зубы:

— Dieser Schurke ist vollständig! [1]

Лысый череп его взмок от жары и волнения. Третий котел бумажного варева шел вхолостую. Дроздов остановил старика.

— Август Карлович,— сказал он тихо,— я не навязываю вам совета. Машину сдаете вы, но мне думается, у верхних барабанов нарушена синхронность. Проверьте еще раз передачи.

Это был верный совет. К вечеру на площадках «Левиафана» стояло только четверо рабочих. Мимо них плавно бежала широкая лента.

Август Карлович стал собираться домой. Незадолго до отъезда Реймера пригласили в заводской клуб на вечер. Награждали монтажников, и в длинном списке, оглашенном рупорами на весь поселок, стояла фамилия Августа Реймера. Впрочем, больше, чем конверт с деньгами, Августа Карловича взволновал собственный портрет, вывешенный на видном месте в фойе. Мастер несколько раз прошелся мимо фотографии, делая вид, что прогуливается.

На следующий день секретарша предупредила Дроздова:

— К вам немец. В новом костюме и надушен даже.

Август Карлович уже стоял в дверях. Он снял картузик и поклонился неуклюже и церемонно.

— Я хотел бы выражайт вам свою благодарность,— сказал он нерешительно.

Директор был вдвое моложе мастера, он взял старика за плечи и усадил в кресло.

— Лучше не выражайте,— сказал он смеясь.— Бумага идет? Идет. Премию получили? Получили. Все ясно.

— Нет, не все... Я хочу вас приглашайт к себе на небольшой секрет. Сегодня... Сейчас.

— Почему же не здесь?

---

[1] Эта шельма взбесилась!

— Прошу вас,— сказал Август Карлович, приложив огромные ладони к жилету.

Они молча оделись, перешли площадь и поднялись на второй этаж гостиницы, где жили немецкие консультанты.

Войдя последним, Август Карлович повернул ключ в замке и спустил шторы.

— Ого,— заметил директор,— значит, секрет?

Август Карлович не расслышал.

— Да, да,— сказал он,— скоро я буду в Германии. У меня в Лейпциге семья — вы понимайт?

Август Карлович наклонился и вытащил из-под кровати знаменитый сундук. Мастер заулыбался ему, как старому приятелю, он снял пиджак и погладил сундук по крутой спине.

Замок был старинный, со звоном, каких уже не делают в Золингене. «Тилим-бом!» — сказал сундук, распахиваясь, и директор с любопытством взглянул через плечо Августа Карловича.

Это была вместительная копилка технического опыта — целая библиотека, завернутая в толстую сахарную бумагу. Объемистые справочники лежали рядом с чертежами цойтовских машин и старинными словарями с фотографиями канадских заводов. Были здесь еще складные метры, респектабельные прейскуранты, готовальня, лекала и даже образцы целлюлозы, похожие на тонкие вафли.

Дроздов с любопытством разглядывал все это аккуратно разложенное по стульям богатство. Но чем дальше опорожнялся сундук, тем скорее любопытство директора сменялось разочарованием. Все, что вчера представляло огромную ценность, сегодня уже превратилось в историю.

— Вот,— сказал Август Карлович великодушно,— пусть кто-либо берет и пусть читайт.

Дроздов засмеялся.

— Стриженому расчесок не дарят. Лет бы пять назад мы вам во какое спасибо сказали!

— А сейчас?

— Поздно, Август Карлович, теперь это... как бы сказать, вроде сундука Полишинеля.

— Это вы сериозно? — спросил немец, опешив.

— Вполне. Спокойной ночи, герр Реймер.

Дроздов простился и вышел. Август Карлович машинально сложил книги и захлопнул сундук. «Тилимбом!» — сказал замок насмешливо.

Пинком ноги Реймер отшвырнул сундук под кровать и подошел к окну.

В старом сосновом лесу, окружавшем завод, горели сильные лампы. Строители не успели поставить столбы, поэтому белые шары висели на разной высоте среди сучьев и хвои.

Август Карлович надел шубу и вышел на улицу. На просеке, возле пакгауза, стоял длинный товарный состав. Парень в буденовке и лыжном комбинезоне просовывал стропы под квадратный, должно быть, очень тяжелый ящик.

Август Карлович тронул грузчика за плечо.

— Что это?

— А кто его знает,— сказал парень, не отводя глаз от груза.— Каландр какой-то, шестьдесят вагонов — одна машина.

— Гамбург?

— Нет, Ленинград.

Август Карлович снова вспомнил о вежливой улыбке директора. Досада росла, как изжога.

— Сундук Полишинеля,— сказал он громко.— Natürlich[1]. Да, это есть опоздание.

Грузчик хмуро взглянул на пожилого человека в расстегнутой шубе.

— Опоздали, опоздали...— сказал он, озлясь.— Вся ночь впереди...

И, отвернувшись, громко добавил:

— Вот вредный толкач!

1937

---

[1] Разумеется!

КАПЕЛЬДУДКА

Звали его по-разному. Паспорт аттестовал маленького, подвижного человечка водопроводчиком Андреем Савеловым.

Профессор Горностаев, у которого водопроводчик брал уроки музыки, называл ученика то «монстром», то «тетеревом», то Андрюшей — в зависимости от настроения.

А приятели окрестили Савелова обидно и коротко «капельдудка», вероятно, в честь большой медной трубы, с которой он расставался только во сне.

Он умел играть решительно на всех инструментах: гитаре, цитре, охотничьем рожке, геликоне, фисгармонии, флейте, цимбалах, банджо, на кларнете, барабане, контрабасе, баяне, ксилофоне, бутылках, гребнях, бочках, пилах, ножах... Даже предметы совсем не музыкальные в руках Савелова оказывались способными воспроизводить мелодии.

На что бездарен крашенный охрой забор, но и тот разражался трескучими арпеджио, едва к дереву прикасались быстрые капельдудкины руки.

Он любил также петь. Но голос его, застуженный в поездках, сожженный водкой, звучал тускло. Может быть, именно поэтому «капельдудка» из всех инструментов выбрал трубу. Звонкая и сильная, никогда не знавшая ни усталости, ни хрипоты, она была достойным заместителем человеческого горла.

По вечерам, надев трубу через плечо, «капельдудка» ходил к Горностаеву на уроки. Говоря по совести, у профессора не было ученика более безалаберного и

более способного, чем этот гнилозубый маленький человечек.

Первое время Горностаев встречал «капельдудку» с вежливым отвращением. Похожий на атлета, профессор был точен и брезглив Он терпеть не мог базарного щегольства ученика, его шелковой косоворотки, усыпанной от плеча до горла бисером пуговиц, франтовских сапог с ремешками, выбритого по дурацкой моде затылка и особенно траурных ногтей.

На первом же уроке Горностаев грубовато сказал:

— Ну, знаете, друг мой... Если выпили, так ешьте пектус... И потом ногти... С такими ногтями я вас к Шуберту не подпущу.

Когда они встретились снова, профессор изумленно хмыкнул: ногти ученика были не только вычищены, но и раскрашены огненным лаком.

«Капельдудка» никогда не приходил вовремя. Больше того, не предупредив профессора, он пропадал иногда месяцами. После таких перерывов он являлся обрюзгший и серый, точно человек, долгое время пролежавший в больнице.

— Командировка! — говорил он, освобождаясь от пальто быстрыми кошачьими движениями.— Одичал я на севере, Алексей Эдуардович... Водки нет, людей тоже... Пальцы дубовые стали.

В таких случаях профессор уходил в свой кабинет и демонстративно захлопывал дверь. В командировки он верил мало.

Горностаев был упрям. «Капельдудка» бесцеремонен. Он отворял дверь, залезал в кресло и говорил застуженным тенорком:

— Паскудная у меня специальность. Алексей Эдуардович, не верите? Ей-богу, ездил... теперь как часы буду ходить.

— Ну, знаете! — кричал, багровея, профессор.— Вы не ученик... Вы бродяга! Берите уроки у венских шарманщиков... Марта! Не пускайте больше Савелова!

Впрочем, и толстая эстонка Марта и сам профессор знали, что дверь перед «капельдудкой» откроется. Можно было не любить ученика за вульгарную речь, за привычку тушить окурки о ножку рояля, за дурацкий портсигар с голой русалкой на крышке, но таланта оспорить было нельзя.

— Ездил я в Мурманск,— замечал «капельдудка» лениво,— там в морском клубе разучивают ваш «Океан»... Оркестр человек на восемьдесят... Дирижер из военных... толково...

«Капельдудка» врал. Но Горностаев, как большинство искренних и резких людей, плохо чувствовал лесть.

— Audiatur et altera pars! [1] — говорил он отрывисто.— Чего вы замолчали? Ну, рассказывайте... Вы, монстр!

Не проходило и полчаса, как ясный гортанный голос трубы разливался по комнатам. Были у этого развинченного, потрепанного человечка и вкус, и темперамент, и страсть. И когда в особняке, разбуженном трубой, властвовал неистовый Вагнер, «бродяга» и «монстр» невольно превращался в Андрюшу.

Однажды профессор сам опоздал на урок. Когда он тихо открыл парадную дверь и вошел в коридор, его неприятно поразили звон, дребезжанье и треск. Сначала Горностаеву показалось, что полотеры передвигают буфет с посудой, затем он уловил в этих странных звуках некоторую систему. Профессор заглянул в столовую...

На стуле, задыхаясь от смеха, сидела толстая Марта. «Капельдудка» давал концерт. Вооруженный двумя дирижерскими палочками, яростный и неистовый, он носился по комнате, и все, к чему прикасались его быстрые руки, вдруг начинало петь, звенеть и гудеть. Предметы, молчавшие со дня своего рождения, вроде книжного шкафа, бюста Данте или каминных щипцов, теперь переговаривались между собой.

Впервые в своей жизни профессор узнал, что матовый колпак люстры поет, как дальний колокол, что подсвечники патетичны, а хрустальный графин обладает цыганским контральто.

— До-соль! До-соль!..— глухо говорил книжный шкаф, набитый энциклопедиями.

— Соль-фа-ми-ре,— отвечал сочувственно радиатор, и рюмки вторили им назойливыми комариными голосами.

---

[1] Да будет выслушана и другая сторона!

Горностаев не сразу понял, что «капельдудка» пытается воспроизвести титаническую музыку «Гибели богов». Догадавшись, он остолбенел. Это было кощунство. И профессор, вбежав в комнату с резвостью, не свойственной пятидесятилетнему человеку, вырвал из рук «капельдудки» дирижерские палочки, точно это было оружие, угрожавшее Вагнеру.

— Паяц! — закричал он стариковским фальцетом.— Как ты смеешь?!

Он готов был разломать палочки о голову неудачливого виртуоза, и «капельдудка», будучи скорее тактиком, чем стратегом, не нашел ничего лучшего, как схватить трубу и ретироваться на улицу.

И все-таки они не расстались. Даже в этом разудалом концерте чувствовались темперамент и отличный слух. Горностаев простил «капельдудке» кощунство.

...Это была странная пара: пожилой профессор, почитатель мюллеровской гимнастики, Гамсуна, Грига, и самоуверенный полуграмотный человечек, не одолевший за всю свою жизнь и десятка книг.

Шел третий год занятий, и Алексей Эдуардович стал привыкать к своему безалаберному ученику. Иногда после уроков они даже беседовали на темы, не относящиеся к музыке.

Профессор вспоминал шведский городок Кальмар, где он провел свое детство, обвитый плющом «дом моряка», ручных белок в парке у моря или особняки, не сменявшие черепичных колпаков по четыре столетия.

«Капельдудка» рассказывал преимущественно о Москве. Он родился в Марьиной роще, помнил Хитров рынок, исчезнувший в 1924 году, переулки у Трубной и другие места, о которых профессор едва-едва знал понаслышке. «Капельдудке» пришлось когда-то чинить краны в угрозыске. Там-то он и узнал столько занимательных историй, что ему позавидовал бы сам Гиляровский [1].

С редким знанием дела «капельдудка» рассказывал о «фомках», вскрывающих несгораемые шкафы, как коробки консервов, или о термоэлементах, заменяющих кое-где сторожей.

Не говорил «капельдудка» только самого главного: что сам он тоже был вором, и, как утверждали ра-

[1] Старый репортер, знаток Москвы.

ботники МУРа, вором незаурядным. Странное прозвище свое Савелов получил не столько за страсть к музыке, сколько за кражу полного комплекта духовых инструментов.

Свой первый визит к профессору «капельдудка» нанес по весьма вульгарным соображениям. Не Вагнер, не Шуберт и не Бетховен, а столовый сервиз и хорьковая шуба профессора волновали предприимчивого ученика.

Нет сомнений, что газетная хроника вскоре украсилась бы новым небольшим происшествием, но Горностаева неожиданно спасли два обстоятельства. Во-первых, «капельдудка» после пары уроков действительно почувствовал к музыке интерес, а во-вторых, профессор сообщил ученику небольшой домашний секрет:

— Я возвращаюсь в четыре,— сказал Горностаев,— но если ни меня, ни Марты не будет, ключ найдете вот здесь...

И он доверчиво показал ученику луночку возле крыльца.

Эта детская хитрость совсем ошеломила «капельдудку». Впервые в жизни в его многоопытные руки, умевшие открывать любые замки, был передан наивный и жалкий ключик. Одно дело — преодолеть сопротивление замков или ограбить квартиру, где на дверях десяток звонков; другое — обокрасть седоголового, доверчивого простака. «Капельдудка» был даже слегка раздосадован таким неожиданным оборотом дел.

Из любопытства он воспользовался любезностью Горностаева. Выбрав подходящий вечер, «капельдудка» наведался в пустую профессорскую квартиру, долго бродил по комнатам, пересчитывал ложки и туфли, щупал смокинги, шубу, пижамы и кончил тем, что, вздохнув, сел переписывать ноты.

Когда Горностаев вернулся в квартиру, он увидел ученика сидящим в кресле и со скучающим видом разглядывающим ключ.

— Вас могут очистить,— сказал он небрежно.— Выбросьте эту дрянь... Я вам поставлю настоящий цугальный[1] замок.

[1] С индивидуальным ключом.

«Капельдудке» не везло за последнее время. Франтоватая фигурка его так примелькалась работникам угрозыска, что «музыкант» рисковал показываться только по вечерам. Он сменил косоворотку на кавказку с газырями, завел вместо фуражки-капитанки кубанку и отпустил даже усы... Все чаще ему приходилось объяснять профессору пропуск урока всякими срочными делами по водопроводной части.

Прошло лето Горностаев настойчиво готовил ученика к экзаменам в консерваторию. Он требовал, чтобы Савелов обязательно приходил через день, и страшно негодовал, когда «капельдудка» опаздывал, ссылаясь на ремонт магистрали.

В неотложность водопроводных работ профессор не верил. Однажды, после бурного объяснения, Горностаев с обычной резкостью спросил «капельдудку»:

— Вы, монстр... Скажите, наконец... Пьянствуете вы или чините эту... свою магистраль?!!

— Бывает,— ответил «капельдудка» уклончиво.

— Где ваш треугольник?

«Капельдудка» опешил.

— Я спрашиваю, где директор? На Плющихе? Довольно! Я напишу ему письмо... Пусть не трогает вас по вечерам.

— Не выйдет,— сказал «капельдудка» сочувственно,— наш заведующий в отпуску... то есть... он дуб... нахамит и все тут... Лучше я сам...

Они сели и развернули ноты. Профессор испытующе взглянул на Савелова.

— Нет,— сказал Горностаев решительно.— Вы соврете... Я пойду вместе с вами... После урока... Я посмотрю, какой вы заняты магистралью.

В этот вечер разыгрывали шубертовский «Марш милитер».

Ученик нервничал, фальшивил, поглядывал на дверь. Он явно спешил выйти на улицу. Когда, наконец, урок был окончен и «капельдудка» стал надевать пальто, в дверь постучали. Держа руки в карманах, вошли двое очень корректных работников уголовного розыска.

Объяснение было так неожиданно и коротко, а «капельдудка» так молчалив, что профессор сначала ничего не понял.

— Чепуха какая-то! — сказал он растерянно.— Ведь вы же водопроводчик?

«Капельдудка» молча уложил трубу в чехол и пожал плечами с видом человека, пораженного неожиданным оборотом дела.

— Я могу взять вас на поруки...

— Не стоит, Алексей Эдуардович...

Это полупризнание совсем сбило с толка учителя.

— Что же это вы? (он развел руками). Значит, вы действительно из этих... экспроприаторов, что ли?

— Просто городушник [1],— подсказал инспектор угрозыска, любивший во всем точность.

Они вышли на лестницу. Обычная развязанность вернулась к «капельдудке». Он засмеялся и протянул Горностаеву руку:

— Пока... Алексей Эдуардович...

Вместо ответа Горностаев повернулся на каблуках.

— Стесняетесь! — сказал «капельдудка» с обидой.— Эх, чистый вы человек... Небось руки карболкой мыть будете...

Когда профессор вернулся в комнату, Марта стояла возле буфета с удивленным и счастливым лицом.

— Целы! — воскликнула она, показывая на ложки.

— Не говорите глупостей! — ответил профессор с досадой.— Савелов — не вор. Он был этим... как его?.. Простым городушником...

С этого дня «капельдудка» забыл о трубе. Он был зарегистрирован в восемнадцатый раз и выслан на Медвежью гору, в Карелию. Вместе с другими ворами, шпионами, кулачьем и вредителями он жил в лесу, усыпанном ледниковыми валунами, как каменным градом.

Три прямых просеки через тайгу лежали здесь почти параллельно. По одной, усыпанной щебнем и озерным песком, мчались машины, вдоль другой поднимались на север крутые ступени повенчанских шлюзов, третья просека была пустынной; черные полусгнившие пни начали зарастать ельником. Этой просекой в позапрошлом столетии Петр I провел в тыл шведам два фрегата.

---

[1] Квартирный вор.

Первые месяцы «капельдудка» тосковал по Москве. Карелия казалась ему огромным сплошным болотом. Всюду холодно светилась вода. Тонкоствольные сосны поднимались над туманом, как осока... их обнаженные корни оплетали бока диабазовых скал... Даже дома в деревнях тут были особенные; недоверчиво смотрели вслед зеленым курткам каналармейцев мелкоглазые, лобастые избы старых кержацких поселков.

В конце концов «капельдудка» не выдержал. В опорках, с банкой консервов и липовой справкой об отпуске он бежал в Петрозаводск. Метель и голод заставили беглеца вернуться обратно. С отмороженными ногами и почерневшим лицом его положили в лазарет. Здесь с ним в первый раз разговаривал комендант участка — пожилой чекист-латыш с усталыми глазами и лицом, лимонным от бессонницы. Начальник не угрожал ни ротой усиленного режима, ни новой отсидкой. Он просто сказал:

— А, беженец! Кем работаешь?

— Директором завода,— сказал «капельдудка» язвительно.— Колесо и две ручки...

— А почему бегаешь, тачечник?

— Скучно...

Комендант засмеялся.

— Ладно,— сказал он, разглядывая съежившегося под одеялом «капельдудку».— Ты получишь веселую работу!

«Капельдудку» назначили подрывником. Комендант рассчитал правильно. Дикое самолюбие городушника работало, как динамит. Там, где сопротивление было слабым, «капельдудка» оставался рядовым лодырем. Где сопротивление крепло,— просыпалась энергия. Слово «подрывник» звучало для «капельдудки» громче, чем «тачечник»; как всякая артистическая натура, он привык быть на виду, и похвала грела его больше, чем ватные штаны, которые выдавали подрывникам.

В гранитах и диабазе Савелов прокладывал знаменитую Повенчанскую лестницу. Когда же ее крутые ступени закрыла вода, «капельдудку» перебросили еще дальше, на север, к пустынному озеру, усеянному, точно утками, стаями островов.

Он прожил здесь осень и зиму, такую лютую, что по ночам, звеня, лопались мачтовые сосны. На Выгозере «капельдудка» научился подрывать аммоналом пни, рубить ряжи, складывать дамбы из камней, глины и мха, а по утрам, просыпаясь в палатке, рубить мерзлый хлеб топором.

И тени щегольства не осталось в былом городушнике. Руки его так огрубели, что он голыми пальцами доставал из костра уголек. Он возмужал, окреп, вставил стальные зубы. Имя Савелова стало все чаще и чаще встречаться в газетах...

...Прошло два года. Первый пароход поднялся по Повенчанской лестнице и ушел на север... В новых коттеджах поселились шлюзовые рабочие... Весной 1934 года «капельдудку» отпустили из лагеря в подмосковную коммуну НКВД, куда его давно звали товарищи.

Ни подрывников, ни лесорубов коммуне не требовалось. И Савелову в четвертый раз пришлось менять квалификацию. «Капельдудка» стал обтяжчиком теннисных ракеток.

Он жил теперь на четвертом этаже, в комнате, куда заглядывали вершины старых вязов. Напротив дома был пруд. Марши, которые разучивали музыканты на берегу, заставили «капельдудку» вспомнить о трубе.

Страсть к музыке проснулась в нем с новой силой. Он вспомнил о профессоре, у которого брал уроки три года назад, и послал в Москву длинное и довольно бестолковое письмо.

В ответ пришла посылка: старая труба «капельдудки», ноты «Марша милитер», подчеркнутые на том месте, где оборвался последний урок, и записка с предложением начать заниматься в оркестре коммуны, которым руководит «один наш общий знакомый». В конце записки профессор просил быть точным, так как, насколько ему известно, дирижер пунктуален и строг.

На сыгровку «капельдудка» явился немного волнуясь, клапаны трубы еще плохо слушались огрубевших пальцев.

Место «капельдудки» было возле самого дирижера. Когда все сели и разложили ноты, Савелов увидел над собой седой бобрик и знакомые глаза Горностаева.

Профессор смотрел прямо на «капельдудку», и рот дирижера, прикрытый чуть-чуть усами, улыбался.

Они поздоровались так просто, как будто расстались только вчера.

— Как водопровод? Починили? — спросил неожиданно Горностаев...

«Капельдудка» засмеялся.

— Починили... Я, Алексей Эдуардович, был...

— Знаю... Выгозеро... Повенчанская лестница... Я следил...

Они помолчали. «Капельдудка» вспомнил последний вечер, испуганное лицо Марты и лунку возле крыльца, в которой хранился ключ от квартиры.

— Алексей Эдуардович,— сказал он негромко.— А долго же вы не знали о моей специальности.

— Глупости! — ответил профессор сердито.— Я знал, кому оставляю ключи.,.

Это был единственный случай, когда профессор соврал. «Капельдудка» хотел подойти к Горностаеву ближе, но профессор уже выпрямился и постучал палочкой о пюпитр.

— «Марш милитер»! — приказал он отрывисто. В этот вечер «капельдудка» фальшивил бессовестно.

1936

НА ОСТРОВЕ АННА

Взгляните сюда... Эти следы можно заметить даже под краской. Две пули в бревне, одна в половице...

Прежде отсюда так дуло, что гасла лампа. Мы забили отверстие паклей и залили варом. Теперь тут кладовая нашей зимовки.

Да, Новоселов жил здесь. Мы нашли его фуражку, винчестер 30 × 30 с разбитой скобой и журнал «Солнце России» за 1915 год.

В те годы на острове было скучно. Представьте: изба под цинковой крышей, амбар на столбах, вместо сверчка ржавый флюгер. А там, где выстроен теперь магнитный павильон, висел медный колокол — подарок архангельского губернатора. Даже приказ был: «В случае тумана оповещать корабли частым звоном».

В этой бревенчатой конуре семь лет жили двое: унтер-офицер радист Новоселов и казанский недоучка студент Войцеховский.

Войцеховский мариновал в банках рачков, определял соленость воды и посылал трактаты не то в Петербург, не то в Казань. Связь с Большой Землей держал Новоселов. Радио доносило на остров странные, незнакомые слова: декрет, совдеп, ревком, продком, аннексия, федерация, комиссар... Трудно было понять, что творится в городе, где находилось прежде начальство радиста.

После обеда, запивая галеты мутным желудёвым кофе, Новоселов пытался вызвать на разговор молчаливого Войцеховского.

— Ну хорошо, федерация есть федерация,— говорил он в раздумье.— А как же Россия?.. Генрих Антонович... Это как же понять?

— А вы лучше не понимайте,— морщась, отвечал Войцеховский.— Социальные катаклизмы вблизи иррациональны, то есть вообще непонятны....

Он сидел, желтый, небритый, повязанный накрест, по-бабьи, пуховым платком, и щупал грязными пальцами зубы.

Земля была далеко. У Войцеховского побелели и распухли десны. Ему было на все наплевать...

За три месяца до выступления английских интервентов Новоселову удалось на норвежском гидрографическом судне выбраться в город. Говорят, он долго бродил по улицам, присматриваясь и расспрашивая людей, прежде чем явиться в ревком и познакомиться с новой властью.

Новоселов был из барабинских степняков — человек медленного накала, но прочных мнений. В те годы Советской власти было не до полярных зимовок. Однако Новоселова приняли хорошо. В ревкоме ему обещали выстроить дом, прислать новую упряжку собак, выдали даже полушубок, ящик махорки и солдатские бутсы. Кто-то сгоряча сказал ему, что метеосводка для республики страшно важная штука. Но больше всего тронул радиста мандат, подписанный предревкома и начальником отряда Еременко. В нем говорилось, что земли острова Анна со всеми постройками, радиостанцией, научной аппаратурой и прочим инвентарем республика поручает под «личную ответственность» Григорию Ивановичу Новоселову.

...Тральщик, доставивший в бухту Глубокую десантный отряд, высадил нашего начальника на остров, и Новоселов немедленно приступил к работе.

Дважды в неделю он стал передавать на материк пространные радиограммы. И в каждой из них цифр было больше, чем выбивает за день кассирша универмага. В то время я служил связистом в отряде Еременко и помню, как посмеивались в штабе, читая чудные донесения начальника острова Анна. Были тут обозначения температуры и влажности воздуха, величины осадков, силы ветра, определения солености и

плотности воды и еще чего-то, непонятного нашим радистам.

Нужно сказать, что никто на материке уже не помнил зимовщика Новоселова. Да и кого могли заинтересовать изотермы, если на побережье люди ели жмых?

Остров лежал в трехстах милях от берега, голый, как ладонь, и жили там только два чудака.

Впрочем, иногда Новоселов разговаривал с берегом человеческим языком. Однажды, в разгар операций на северном фронте, начальнику штаба принесли телеграмму: «Сегодня в 4 утра, при температуре 11°, на северо-западной оконечности острова обнаружена неизвестная птица типа нырок». В конце телеграммы начальник острова Анна просил прислать весной четыре ведра формалина для консервации придонных рачков. В этот день в отряде оставалось по две обоймы на человека, и начальник штаба — человек резкий и жесткий — велел телеграфно послать Новоселова к черту. Телеграмма эта не была послана только благодаря начальнику отряда — балтийскому матросу Еременко. Он был человек не без странностей: без наркоза выдержал ампутацию раздробленной кисти руки, но был по-детски напуган лекцией батальонного врача о возбудителях тифа. Любил он еще рассказывать сказки. Не представляйте, однако, Еременко каким-то толстовцем в бушлате: злость к врагу у него была холодная, прочная, точно лед в овраге.

Но дело не в нем: важно, что один Еременко принимал всерьез донесения Новоселова. Он велел завести особую папку, сам написал на крышке «Секретно, научно» и велел складывать туда все донесения с острова Анна.

— А ну, нехай, нехай строчит,— говорил он частенько.— Черты його батька... Мабуть, у него в голови що-нэбудь е. Га?

Радиограммы Новоселова, адресованные ревкому, принимал по ту сторону фронта и белогвардейский полковник фон Нолькен. Прибалтийские дворяне славятся своей рыбьей тупостью, а этот был из захудалых баронов, то есть глуп и упрям, как треска. С подчиненными Нолькен разговаривал на каком-то особом, гвардейско-телеграфном наречии.

— Понятно?.. Понятно... Мысль ясна... Действуйте! Черт побери. Точка!

В архивах полка, захваченных впоследствии нашим отрядом, сохранилась часть телеграмм, адресованных зимовщику Новоселову. По ним нетрудно установить, насколько фон Нолькен был лишен чувства юмора. Полагая, что радист острова Анна плохо осведомлен о делах, творящихся на Большой Земле, он радировал Новоселову:

«Большевиков севере нет тчк немедля прекратите передачу донесений адрес бандитов».

Тот отвечал:

«Подчиняюсь только ревкому тчк бандиты ходят с погонами».

Последующие телеграммы фон Нолькена были написаны довольно энергичным, хотя и шаблонным языком:

«Вы отрешены должности зпт измену предаетесь суду».

«Иуда и хам тчк весной вас повесят».

Ответ Новоселова напоминает по тону письмо запорожцев султану. Это была одна фраза длиной от острова до Большой Земли, смысл которой можно свести к известной народной пословице:

«Выше... не прыгнешь...»

Так они переругивались в течение целого месяца. Это был своего рода поединок на расстоянии трехсот миль. С одной стороны — воспитанник пажеского корпуса полковник фон Нолькен, с другой — начальник острова Анна, унтер-офицер, человек не слишком грамотный, но твердый и честный, сохранивший даже в телеграммах обстоятельную точность и юмор сибирского мужика.

«Земли здесь немного, да вся наша,— выстукивал обиженный Новоселов.— Весной приезжайте. Собаки наши скулят, точат зубы на дворянскую падаль».

В то время как мы пробивались на север, тесня полковника Нолькена, зимовщик продолжал выстукивать свои пространные донесения. Под Новый год, ночью, он неожиданно прислал поздравление от жителей острова Анна.

«Войцеховский психует,— сообщал Новоселов,— скучает по елке. Лечу по возможности».

После этого он замолчал. Это было так необычно, что Еременко в разгаре боевых операций вспомнил молчальника и запросил Новоселова:

«Какая температура, ждем донесений».

Он ответил обстоятельным извинением. Оказывается, объезжая остров, заблудился во время пурги и так обморозил пальцы, что не мог взяться за ключ.

Наконец, Новоселов пригодился нам всерьез. Это было во время известного февральского наступления дивизии генерала Наговицына. В то время как белые обрушивали на нас фронтальный удар, Еременко решил прощупать их с тыла. Запросив Новоселова и узнав от него, что в районе острова битый лед, он кружным путем направил в тыл Наговицыну два тральщика с ледоколом «Витязь»... Вы представляете, что может наделать батальон, высадившийся на берегу ночью и подобравшийся к поселку без выстрела! Эта ночь обошлась белым в полтораста человек. Полковник Нолькен парился в бане. Двадцать километров он мчался на нартах в полушубке, накинутом на мокрое тело. Его подобрал и оттаял в ванне, как мороженого судака, английский патруль.

После этой прогулки фон Нолькен отправил Новоселову телеграмму:

«Мерзавец тчк приговором военно-полевого суда вы заочно расстреляны».

Тот ответил немедленно:

«Благодарю внимание тчк хороните под музыку».

В марте Новоселов просил нас прислать с первой оказией луку. Видимо, на острове началась цинга. Он не знал, что первый советский корабль придет сюда только через пять лет.

Через месяц он коротко сообщил, что сам ходит с трудом, а его товарищ по зимовке студент Войцеховский скончался. Его могила в северо-восточной части нашего острова, в двух милях от Птичьего мыса. Новоселов вырубил ее топором. Он был обстоятельный и заботливый человек.

...Теперь трудно переговорить с берегом, не зацепившись за чужую волну. А раньше, как зимой в поле, было тихо. Что мог слышать на острове Новоселов?

Наверно, Архангельск. Быть может, что-нибудь из Норвегии или Германии, а вернее всего — судовые пищалки: вопли об угле, льдах, пресной воде, шифровки английских эсминцев, поздравления лейтенантов по случаю рождества. Человеческого голоса в эфире еще не было слышно.

В апреле Новоселов уже не мог подниматься с постели. Я представляю себе, как этот человек с чугунными ногами и деснами, превращенными в лохмотья, один на голом острове переругивался с полковником Нолькеном.

От цинги он не умер, но весной к острову подошел минный заградитель «Бедовый». На мостике стоял офицер. Видимо, у Новоселова хватило сил, чтобы при виде белых разбить приемник и испортить батареи питания...

...Здесь, у окна, стояла его кровать: две пули в стене, одна в половице. Для больного цингой — более чем достаточно.

Они увезли все: его труп, книги, передатчик, упряжку собак, консервы, унты.

Я не знаю, какой он был с виду. Бородат или брит. Стар или молод. Телеграммы его обстоятельны и солидны. Ответы полковнику Нолькену дышат достоинством и гневом человека, много видавшего.

Наш гидролог Вера Михайловна неплохо рисует. Она изобразила Новоселова похожим на Кренкеля: большим, светлоглазым, лобастым, в кожаной куртке и медвежьих унтах. Рядом с ним приемник типа «КУБ-4». Он нарисован неверно: в те годы не было ламп. Но это неважно. Правда в том, что глаза вышли настоящие, новоселовские: честные, немного суровые.

Мы часто вспоминаем радиста острова Анна.

Каждый год 22 мая все зимовщики собираются на этой площадке. Мы приспускаем флаг и даем залп. Ведь Новоселов был первым начальником нашей зимовки.

1938

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАТЕРА «СМЕЛЫЙ»

КОНЕЦ «САГО-МАРУ»

Я расскажу вам эту историю с одним только условием: разыщите в Ленинграде нашего моториста Сачкова. Сделать это нетрудно и без адресного стола.

Он живет в доме номер шесть, у Елагина моста. Если запомнить приметы, вы узнаете парня даже небритым.

Рост его сто семьдесят два — ниже меня примерно на голову. Глаза обыкновенные, волосы тоже. Грудь сильно шерстистая, а на плече, по старой флотской моде, выколот голубой якорек. В оркестре он первая домра, на футбольной площадке всегда левый хавбек.

Как только найдете, передайте Сачкову, что «Саго-Мару» не видно даже во время отлива. В прошлом году из воды еще торчала корма, а месяц назад, когда мы проходили мимо Бурунного мыса, на косе сидели только чайки. Так всегда бывает в этих местах: что не съест море — проглотит песок.

В 1934 году вместе с Сачковым мы служили на сторожевом катере «Смелый». Сачков — мотористом, я — рулевым. Славное было суденышко, короткое, толстобокое, точно грецкий орех, крашенное от топа до ватерлинии светлой шаровой краской, как и подобает пограничному кораблю. Весело было смотреть (разумеется, с берега), когда море играло с катером в чехарду, а «Смелый» шел вразвалочку, поплевывая и отряхиваясь от наседавшей волны. Не раз мы обходили

на нем Камчатское побережье и знали каждый камень от Олюторки до Лопатки.

По совести говоря, «Смелый» доживал в отряде последние годы. Он был достаточно остойчив и крепок, чтобы выйти в море в любую погоду, но слишком нетороплив, чтобы использовать эти качества при встрече с противником.

Там, где успех операции зависел только от скорости, на «Смелый» трудно было рассчитывать... Так думали все, кроме Сачкова. Это понятно. Сидя в машинном отделении, никогда не увидишь, что делается наверху. Кроме того, Сачков был упрям и обидчив. Стоило только за обедом заметить, что «Соболь» или «Кижуч» ходят быстрее, чем «Смелый», как наш механик мрачнел и откладывал ложку.

— А вы научитесь сначала отличать примус от дизеля,— советовал он обидчику,— вот тогда сядьте на «Соболя» и попробуйте меня обогнать.

Никаких возражений он не терпел и все, что говорилось о старом движке, принимал на свой счет... «Нет в море катера, кроме «Смелого», и Сачков — механик его»,— говорили про нас остряки.

У этого тощего остроносого парня была еще одна странность: он любил математику. Подсчитать, когда поезд обгонит улитку или во сколько минут можно наполнить бочку без днища, было для него пустяком.

Квадратные корни наш моторист извлекал быстрее, чем ротный фельдшер рвет зубы. Этому, конечно, трудно поверить, но я видел сам, как Сачков, получив увольнительный билет, шел в городской парк, ложился на траву и начинал щелкать задачи, точно кедровые орехи. При этом он улыбался и чмокал губами, как будто пробовал действительно что-нибудь путное.

Дошло до того, что Сачков стал решать задачи по ночам, зажигая под одеялом фонарь. Однажды он принес в кубрик и повесил рядом с портретом наркома какого-то бородатого грека, с пустыми глазами и бородой, закрученной не хуже мерлушки. Когда я указал ему на неуместность соседства, он махнул рукой и сказал:

— Не валяйте дурака, Олещук. Что вы, Пифагора, что ли, не видели?

В то время мы еще не знали, что Сачков готовится в вуз, и сильно удивлялись чудачествам моториста.

Понятно, что математические успехи Сачкова никакого отношения к работе катера не имели. Если нам удавалось взять на буксир японскую хищную шхуну, облопавшуюся рыбой, точно треска, то зависело это вовсе не от умения моториста решать уравнения. С каждым походом мы все больше и больше ощущали медлительность нашего катера.

В тот год мы охраняли трехмильную зону на западном побережье, куда особенно любят заглядывать японские хищники-рыболовы. Море там невеселое, мутное, но урожайное, как нигде в мире.

Были здесь киты-полосатики, метровые крабы, кашалоты с рыбьими хвостами и мордами бегемота, камбалы величиной с колесо, тающая на солнце жирная сельдь, пятнистый минтай, пузатая треска, корюшка, пахнущая на воздухе огурцами, морские ежи, рыба-черт, каракатицы, осьминоги, морские львы, ревущие на скалах у мыса Шипунского, бобры, котики, нерпы — словом, все, что дышит, ныряет, плавает, ползает в соленой воде.

Я не назвал красную рыбу и ее родичей — кету, горбушу и чавычу, но лососи — особый разговор... Рыба эта мечет икру только раз в жизни и обязательно в той реке, где нерестились ее предки. Каждый год, начиная с середины июля, лососи валом идут в пресную воду. Если река обмелеет, они будут ползти, если дорогу закроет коряжина или камень, они будут скакать.

В это время Камчатка теряет покой. Все, кто может отличить камбалу от кеты, надевают резиновые сапоги и лезут в воду навстречу лососю. В устьях рек появляются нерпы, отощавшие медведи выходят к ручьям, ездовые собаки, чуя запах свежей юколы[1], скулят и рвут привязи.

По ночам на берегу и в море горят огни. Рыба рвет сети, топит кунгасы. Вода в реках кипит. Ловцы, засольщики, резчики, курибаны[2] ходят облепленные чешуей, усталые, мокрые и веселые.

---

[1] Юкола — вяленая рыба.
[2] Курибаны — приемщики лодок.

Оживают и хищники. Японские промышленники похожи на треску: чем больше рыбы, тем шире разевают они пасти. Я не пророк, но знаю твердо: когда-нибудь рыбий хвост станет им поперек горла.

«Железные китайцы»[1] на консервных заводах жуют лососей круглые сутки, японские сезонники на арендных участках не вылезают из моря, пройдохи синдо ставят в неводах двойные открылки[2]. Но этого мало. Господа из Хоккайдо посылают к Камчатке москитный флот, вооруженный переметами и сетями. Неуклюжие, но добротные кавасаки, вместительные сейнера, быстроходные шхуны, древние посудины с резными бугшпритами, сверстники фрегата «Паллада»,— сотни прожорливых хищников слетаются сюда, точно мухи на кухню. Самые мелкие идут с островов Курильской гряды — без компаса и без карт, с мешком сорного риса и бочкой тухлой редьки, напарываются на рифы, платят штрафы и все-таки пытаются воровать.

Их тактика труслива и нахальна. Если пограничный корабль поблизости, хищники держатся за пределами трехмильной зоны; здесь они ждут, чинят сети, вяжут фуфайки или прохаживаются по палубе с таким видом, как будто не могут налюбоваться камчатскими сопками.

Сто́ит только отвернуться, как эта орава устремляется к берегу и с непостижимым проворством хватает рыбу за жабры.

Многие из хищников были хорошо нам знакомы. Любой из нашей команды мог за три мили узнать кавасаки «НГ-43» или двухмоторный катер «Хаяи», всегда таскавший за собой целую флотилию лодок. Особенно много крови испортила нам шхуна «Саго-Мару». Это было суденышко тонн на семьдесят, с крепким корпусом и хорошими обводами. В свежую погоду оно свободно давало миль десять — двенадцать, ровно столько, чтобы вовремя уйти в безопасную зону.

Вероятно, «Саго-Мару» имела базу поблизости, на острове Шимушу, потому что появлялась она с удивительным постоянством, каждый раз вблизи Бурунного мыса, где стоит японский консервный завод.

---

[1] «Железные китайцы» — автоматы для резки и потрошения рыбы.

[2] Открылки — часть сетей.

Намытая рекой песчаная отмель и мыс Бурунный образуют здесь неглубокий залив, в котором всегда плещется рыба. Трудно сказать, что привлекает ее в эту мутную воду, но в июле залив напоминает чан для засола сельдей.

Рыба проникает сюда в часы прилива через отмель и после отлива попадает как бы в мешок. В поисках выхода она устремляется через узкий проход вдоль мыса Бурунного. Вот тут-то она натыкается на переметы или сети, украдкой расставленные японскими хищниками.

Рыбаки, преследующие треску и лосося в этом заливе, рискуют не меньше, чем рыба. Шхуна с осадкой семь футов может выйти отсюда, только держась в проходе параллельно мысу Бурунному. Однако это обстоятельство нисколько не смущало наших знакомых.

У шкипера «Саго-Мару» был замечательный нюх. Едва «Смелый» показывался милях в пяти от завода, как шхуна выбирала сети и уходила в безопасную зону.

В тот год катером командовал Колосков. Он был из керченских рыбаков — рассудительный, хитроватый, с упрямой толстой шеей и красными ручищами, вылезавшими из любого бушлата на целую четверть. Колосков преследовал «Саго-Мару» с холодным упорством и никогда не смущался исходом погони.

— Дальше моря все равно не уйдут...— убеждал он самого себя, ложась на обратный курс.— Быть треске на крючке.

Но сквозь шутку заметно пробивалась досада: нелегко смотреть пограничнику, как обкрадывают советские воды.

Весь май мы провели на восточном побережье Камчатки. Мы задержали там шхуну фирмы Ничиро и два кунгаса, полных сельди. В июне нас перебросили из Тихого океана в Охотское море, и счастье снова изменило нашей команде.

«Саго-Мару» продолжала обворовывать побережье. Иногда нам удавалось подойти к шхуне ближе трех миль, и все-таки она успевала уйти, отметив затопленные сети бочонком или циновкой. Однажды мы извлекли тресковый перемет длиной около полукилометра, в другой раз подняли затонувшую сеть, в которой

задохнулось не меньше пятисот центнеров кеты и горбуши.

Все эти трофеи выглядели очень скромно по сравнению с возросшим нахальством «Саго-Мару». Она стала подпускать нас настолько близко, что мы различали лица команды. В таких случаях шкипер выходил на корму и протягивал нам конец.

Однажды мы дали предупредительный выстрел в воздух. На шхуне забегали и даже сбавили ход, но вскоре мотор застучал с удвоенной резвостью. Видимо, синдо убедил моториста в том, что пограничники не станут стрелять по безоружному судну.

Мы долго удивлялись собачьему нюху синдо, пока не обнаружили связи «Саго-Мару» с японским заводом.

Отделенные мысом от моря, хищники не могли заметить даже кончиков наших мачт. Зато с заводской площадки были отлично видны берег и море.

Каждый раз, когда мы появлялись в поле видимости, на сигнальной мачте, возле конторы, поднимался полосатый конус, указывающий направление ветра. Вслед за этим невинным сигналом из-за мыса стрелой вылетала наша знакомая.

Мы гонялись за «Саго-Мару» весь июнь, караулили ее за Птичьим камнем, пытались подойти во время тумана, но всегда безуспешно... Когда мы добирались к месту лова, шхуна уже покачивалась за пределами трехмильной зоны.

В конце концов смеющаяся рожа синдо и желтые куртки команды настолько нам примелькались, что многие краснофлотцы стали их видеть во сне.

В июле, накануне хода лосося, наш катер встал на переборку мотора. Невеселое это было время, «Смелый» стоял на катках, без винта, гулкий, как бочка, и мы отдирали с его днища ракушки.

Доволен был только Сачков. Он приходил в кубрик поздно ночью, измазанный в нагаре и масле, умывался, стараясь не греметь умывальником, и на рассвете снова исчезал в мастерской.

Собрав мотор, он долго гонял его на стенде, выслушивал самодельным стетоскопом и, наконец, заявил:

— Бархат!.. Мурлыка!.. На цыпочках ходит.

Кто-то резонно ответил:

— Пусть кот на цыпочках ходит... Важно — как тянет...

— Зверь. С таким хоть на Северный полюс.

...Ночью мы вышли из бухты. Стояла такая тишина, что море казалось замерзшим. Воздух был свеж, плотен, мотор дышал полной грудью, и мы понеслись, точно по льду.

Как только маяк скрылся из виду, Сачков позвал меня в машинное отделение.

От зубов до ботинок моторист наш блестел не хуже медяшки. Он побрился, надел новую тельняшку и свежий чехол, одеколоном от него несло так, что щипало глаза.

Жестом фокусника Сачков наполнил кружку водой и поставил ее на кожух мотора.

— Чем не паккард? — спросил он ревниво.

Вода не дрожала. По мнению моториста, это было признаком безупречной подгонки мотора и вала. Я похвалил движок. Сачков сразу заулыбался.

— Я думаю, можно готовить буксирный конец,— сказал он, оглядывая мотор, точно квочка,— не забудь, крикни, когда мы подойдем к «Саго-Мару»... Я хочу поглядеть, как будет держаться их моторист...

— Ну, а если...

— Тогда я прибавлю еще пять оборотов,— ответил он с сердцем.

На рассвете мы увидели невысокий деревянный маяк мыса Лопатка, знакомый каждому дальневосточному моряку. Маяк этот стоит на самом краю Камчатки, между Тихим океаном и Охотским морем, и в туманные дни предупреждает корабли об опасности звоном колокола.

На этот раз маяк молчал. Горизонт был чист. Легкий береговой бриз еле тормошил море.

Радуясь утренней тишине, касатки выскакивали из воды, описывали крутую дугу и уходили на глубину, оставив светящийся след. Порой из-под самого носа «Смелого», работая крыльями, точно ножницами, вырывался испуганный топорок.

Мы подходили к Бурунному мысу, держась возле самого берега, но все-таки нас успели заметить. Кто-

то из японцев подбежал к мачте и поднял условный знак — конус.

«Саго-Мару» не появлялась. На полном ходу мы обогнули мыс и чуть не налетели на японский кунгас, подходивший к заводу.

Здоровенные полуголые парни в пестрых платках и куртках из синей дабы вскочили и подняли оглушительный крик.

«Саго-Мару» стояла от нас не далее чем в трех кабельтовых. Даже без бинокля были видны груды рыбы на палубе и намотанный на шпиль кусок сети. Вероятно, лебедка вышла из строя, потому что четверо матросов, поминутно оглядываясь на нас, выбирали якорь вручную.

Две небольшие исабунэ, заваленные рыбой до самых уключин, спешили к «Саго-Мару». Боцман бегал по палубе и покрикивал на гребцов. Но ловцы и не ждали понуканий: с горловыми отрывистыми выкриками они разом откидывались назад,— весла гнулись и рвали воду.

На палубе «Смелого» нас было трое: Колосков за штурвалом, возле него боец-первогодок Косицын, сырой, но старательный чувашский парняга, я — на носу, держа выброску наготове.

Полным ходом «Смелый» мчался на шхуну. Теперь нас разделяло всего два кабельтовых, но японцы, качаясь как заведенные, все еще продолжали выбирать якорную цепь.

Трудно было понять, на что рассчитывают хищники: исабунэ с ловцами только что подходили к борту, выход в море был отрезан сторожевым катером.

— Товарищ Косицын,— сказал Колосков почти весело,— возьмите кранец... Видите, гости не шевелятся... Облопались.

В это время у боцмана вырвался торжествующий крик. Якорь отделился от воды. Одновременно к борту подошли исабунэ с ловцами.

Поднимать лодки на тали уже было поздно. Мы видели, как рыбаки вскочили на шхуну, и «Саго-Мару», показав нам корму, пошла прямо к песчаной мели, отделявшей залив от реки.

В другое время это походило бы на самоубийство. Но теперь был полный прилив, и вода покрывала

косу на несколько футов,— на сколько, мы еще не знали.

Мы с Колосковым, точно по команде, взглянули друг на друга.

— Какая у них все же осадка? — спросил командир.

— Шесть... Не больше семи...

— Я тоже так думаю.

С этими словами Колосков взял на полкорпуса влево и направился наперерез шхуне прямо на мель; по сравнению с «Саго-Мару» у нас под килем было в запасе два-три фута воды.

На стыке морской и речной воды нас сильно качнуло и поставило лагом к течению.

Несколько секунд «Смелый» не слушался руля, затем переборол коловерть и ходко пошел вдогонку за шхуной. Мы были всего метрах в пятнадцати от шхуны, видели озадаченные лица команды и могли пересчитать даже рыбу, лежавшую навалом на палубе.

«Смелый» подходил к «Саго-Мару» левым бортом.

Косицын перенес сюда кранцы. Я крикнул японцам: «Стоп!» — и перекинул на палубу шхуны конец. Никто из команды не шелохнулся, и канат скользнул в воду.

Синдо, стоя на корме лицом к нам, курил медную трубку и поплевывал в воду с таким видом, будто за кормой шел не сторожевой катер, а безвредный дельфин.

— Бросьте кошку,— тихо сказал Колосков.

Я выбежал на нос и раскрутил на тросе полупудовую кошку. Железные крючья, скользнув по палубе «Саго-Мару», вцепились в фальшборт.

— Киринасай! [1]— крикнул синдо.

Боцман разрубил веревку ножом. На шхуне захохотали. Под одобрительные возгласы матросов синдо поднял с палубы лосося и помахал рыбьим хвостом.

Косицын впервые видел такое нахальство.

Не выдержав, он погрозил синдо кулаком и выругался. За это он немедленно получил замечание.

— Это нам ни к чему,— сказал Колосков.— Если нет выдержки — отвернитесь... Вот так.

---

[1] Режь!

И он повернулся к разговорной трубке, шепча:

— Самый, самый полный!

— Есть... ам... полны...— ответил Сачков.

Некоторое время нам казалось, что «Саго-Мару» и «Смелый» стоят на месте, затем просвет несколько увеличился. Медленно, с тяжким усилием, шхуна оторвалась от катера.

— Еще два оборота... Еще...— зашептал Колосков, стараясь не глядеть на рыбий хвост.

— Есть... два оборота,— ответило эхо внизу.

Не хватало немного. Быть может, действительно нескольких оборотов винта. Но мыс, защищавший воду от ветра, уже оборвался, набежала волна и сразу сбила нам ход.

Через двадцать минут шхуна была за пределами трехмильной зоны. Синдо, помахав нам рукой, сбросил в воду большой стеклянный поплавок в веревочной сетке.

— Мимо! — сказал Колосков, и мы, не задерживаясь, прошли мимо шара.

Погода подурнела. Ветер уперся в рубку. «Смелый» начал кланяться и принимать воду на палубу. Можно было бы сразу, взяв на полкорпуса влево, уйти под защиту берега. Однако мы продолжали погоню. Колосков был упрям и всегда надеялся на удачу.

Нас сильно болтало. Корпус «Смелого» гудел под ударами, вода, не успевая уйти за борт, шипя, носилась по палубе. Временами, когда задиралась корма, было слышно, как оголенный винт рвет воздух.

Наконец, волна вышибла стекло в люке, и вода стала заглядывать в машинное отделение. Мы были усталые и мокрые. Кок пытался приготовить обед, но кастрюлю вырвало из гнезда, и примус захлебнулся в борще.

На Косицына было скучно смотреть. Зеленый, как озимь, он запустил все десять пальцев в бухту пенькового троса и закрыл глаза, чтобы не видеть воды.

Я велел Косицыну спуститься в кубрик и лечь на койку. Он крикнул: «Есть!» — и прилип к палубе еще плотнее.

— Оставьте его,— сказал Колосков громко,— я волжан знаю. Их в воде не размочишь.

Это подействовало на Косицына не хуже стакана горячего кофе. Он поднялся и даже попытался пройтись по палубе.

Вскоре стал виден остров Шимушу, снежно-синий с теневой стороны, багровый на солнце. Низкий корпус шхуны затерялся в волнах, и мы повернули обратно.

По дороге к Бурунному мысу командир велел поднять поплавок. Между стеклом и веревочной сеткой была вложена обернутая в клеенку записка. Она немного подмокла, но все же слова, выведенные печатными русскими буквами, были достаточно разборчивы.

«Добру ден!

Хоцице один банку ойл. Наверно, вы истратири сьгодни много горютчего».

Колосков бережно разгладил бумажку ладонями и спрятал в бушлат.

— А что?— сказал он с хитрой усмешкой.— Быть может, и верно, возьмем... Вместе со шхуной.

На следующий день после этой истории я увидел Сачкова за книгой. Он сидел в ленкаюте, очень веселый, чертил что-то в тетради и от удовольствия даже чмокал губами. Видимо, распутывал очередную задачу с десятью неизвестными.

Меня возмутила беспечность этого несуразного парня. Он выглядел так, как будто бы только что привел на буксире «Саго-Мару». А между тем наши бушлаты еще не успели просохнуть после неудачной погони.

Я сел за стол, напротив Сачкова, и нарочито громко спросил:

— Что же ты не вышел на палубу? Ведь ты хотел видеть японского моториста?

Он сразу помрачнел, но ничего не ответил.

— Ладно, забудем... Я не затем... Есть одна любопытная задача... Правда, она так запутана, что сам черт...

— Какая? — спросил Сачков, оживившись.

— Пиши... Одна хищная шхуна выловила в наших водах сто целых, запятая, пять сотых центнера рыбы.

Скорость японца — икс, помноженный на нахальство. Дальше... В два часа ноль минут шхуну заметил катер «Смелый» с мотористом Сачковым. Расстояние между ними две мили. Спрашивается...

— Как раз я думал об этом,— быстро ответил Сачков.— Вот решение.

Он показал мне схему реки, залива и Бурунного мыса, на которую был нанесен чернилами жирный треугольник.

— Это что?

— Гипотенуза короче суммы двух катетов,— загадочно ответил Сачков.— Ты это знаешь?

В то время я не был силен в геометрии.

— Как тебе сказать,— заметил я осторожно.— Бывают разные случаи...

Он с удивлением взглянул на меня и продолжал:

— ...Гипотенуза — это река. Пролив, огибающий отмель,— два катета. Если нам войти в реку ночью и дождаться отлива... Ты понял?

— Пожалуй... За исключением катетов.

— ...Не видя нас в море, «Саго-Мару» входит в залив и начинает сыпать сеть. В это время мы вылетаем из реки... По гипотенузе... Вот так...

— Тогда она уйдет вчерашним путем.

— ...Я сказал — дождемся отлива... Остается только проход вдоль мыса Бурунного. Она бросается сюда. Но ведь гипотенуза короче суммы двух катетов. Мы ждем шхуну у выхода. Ясно?

Я пробовал возражать, но спор оказался неравным. Против меня были двое — Евклид и Сачков. Под их напором пришлось согласиться, что гипотенуза — кратчайший путь к победе.

Колосков, которому мы немедленно показали чертеж, выслушал нас молча.

— Поживем — увидим,— сказал он неопределенно.

Мы расстались с командиром немного разочарованные, но через час встретили Колоскова с клеенчатой тетрадкой под мышкой. Он возвращался из штаба. Вслед за ним двое краснофлотцев почему-то несли полевой телефон и катушку.

— Увольнительных в город не будет,— предупредил Колосков на ходу.

...Вечером, не успев отдохнуть после похода, мы снова вышли из бухты.

На этот раз мы застали «Саго-Мару» у самого выхода из залива. Она успела выбрать невод и уходила в открытое море, едва не черпая воду бортами. Двое рыбаков, стоя у кормового люка по колени в навале, сортировали рыбу, ловко выхватывая крючками то камбалу, то раздувшуюся треску, то пятнистого минтая.

Носовой люк уже был загружен. Боцман в платке и желтой зюйдвестке окатывал из брандспойта палубу, на которой еще блестела чешуя. Увидев нас, он стал выкрикивать остроты, подкрепляя их непристойными жестами.

Мы подошли так близко, что ощущали запах гниющей рыбы, которым шхуна была пропитана от мачты до киля.

Затем все повторилось. Косицын перенес кранцы. Я бросил конец, на этот раз нарочито неловко. Шхуна оторвалась от нас и пошла в открытое море.

Колосков отлично разыграл досаду. Он хлопал себя по ляжкам, растерянно разводил руками и суетливо перебегал с борта на борт, вызывая взрывы смеха на шхуне. Наконец, безнадежно махнув рукой, командир спустился в кубрик, где сидела команда.

— Дивно сыграно! — объявил он, посмеиваясь, и пощупал карман, где лежала записка синдо.

Обычно после погони мы возвращались на базу или продолжали движение к заданной цели. На этот раз Колосков повел катер прямо к Бурунному мысу.

Против обыкновения, он был доволен, подтрунивал над мотористом и часто поглядывал на часы.

Было так темно, что мы перестали различать очертания берега... Только гребешки волн вспыхивали, рассыпаясь в пыль на ветру. Темнота еще больше обрадовала Колоскова.

— Скоро начнется прилив,— сказал он, когда справа по борту повисли над водой заводские огни.— Хотел бы я знать, когда у них уходит третья смена...

— Через час они будут спать,— ответил Сачков, вылезая из люка.— Это легко подсчитать.

— Опять гипотенуза?

— Нет, арифметика...

— Ну, так вот что,— сказал торжественно Колосков.— Даю вам такую задачу — извлеките из вашего дизеля все сорок пять сил, умножьте их на два и прибавьте еще семь оборотов. Мы должны войти в реку раньше, чем начнется отлив.

С этими словами он выключил ходовые огни и засмеялся, довольный остротой.

Завод спал, когда мы на малых оборотах подошли к Бурунному мысу. Обитые толем, узкие, как гробы, бараки японских рабочих были темны. Во дворе на шестах висели мокрые циновки. Темнели накрытые брезентом штабеля красной рыбы. Кто-то ходил по цеху, рассматривая с фонарем засольные ямы.

Наши рыбацкие поселки живут даже в полночь. Всегда где-нибудь увидишь свет, услышишь песню, встретишь отчаянного курибана с ватагой засольщиц. Японский завод выглядел безлюдным, совсем как поздней осенью, когда последний кунгас с рыбаками отчаливает от Бурунного мыса.

Здесь работали только мужчины: рыбаки с Карафуто и Хоккайдо. Они отдыхали шесть часов в сутки и дорожили каждой минутой короткого сна. Трудно было поверить, что в бараках лежали в три яруса полторы тысячи парней. В темноте стучал только мотор рефрижераторной установки.

Был полный прилив. Река, подпираемая прибоем, шла вровень с низкими берегами. Ветлы купали листья в темной воде. Далеко в море тянулась широкая полоса пены. Мы вошли в нее и, с трудом преодолевая мощное течение, двинулись к устью реки.

Чтобы заглушить шум мотора, были закрыты иллюминаторы и машинные люки.

Разговор на палубе смолк. Мы подходили к барам — отмелям, образованным в устье течением сильной реки. Колосков передал мне штурвал, перешел на нос и стал оттуда дирижировать движением катера.

Тот, кто хоть раз пробирался через бары, знает, какую опасность представляют они даже для опытных моряков. Река, разрезающая прибой, образует здесь несколько длинных, очень крутых валов. В углублениях между ними почти видно дно. Сами же валы достигают высоты нескольких метров. Стоит зазеваться

или неверно рассчитать движение катера, как река поставит судно лагом к потоку и обрушит на голову ротозея несколько тонн холодной воды пополам с песком и камнями.

Иногда лодка втыкается носом в отмель, переворачивается вверх килем и накрывает тех, кто удержался на палубе. Я не вижу существенной разницы для команды, тем более что люди, купавшиеся на барах, могут рассказать о своих приключениях только водолазам.

Эти трезвые мысли всегда приходят мне в голову, когда по обоим бортам катера кувыркаются сучья, а воронки урчат, точно пустые желудки.

Риск для «Смелого» был особенно велик, потому что мы шли ночью, ориентируясь только по речной пене. Стоя на носу, Колосков поднимал то правую, то левую руку, как это делают на пароходах стивидоры, давая сигналы лебедчикам.

Медленно, точно волжская беляна, «Смелый» подполз к опасному месту, чиркнул днищем по отмели и вдруг застрял между двумя валами.

Косицын опустил футшток и, забывшись, гаркнул:

— Проно-ос...

Но и без футштока было заметно: «Смелый» не сел на бар. Мощная срединная струя с такой силой навалилась на катер, что я с трудом разворачивал руль.

«Смелый» повис между двумя толстыми выпучинами. Нос его уперся в невысокую, очень гладкую волну. Вода побежала по палубе, не переливаясь, впрочем, через ограждения люков, а за кормой пошла на буксире целая гора, с тяжелым, готовым сорваться вниз гребнем.

Корпус «Смелого» стонал и вибрировал. Забрякала цепь в якорном ящике, задрожали поручни, стекла, затряслись двери, шкаф с посудой начал лязгать зубами, как в лихорадке. Казалось, кто-то, сильнее нас, схватил катер за гак и держит на месте.

Нам помогал прилив, но даже с мотором, работающим на полных оборотах, мы не могли взобраться на волну. Нос «Смелого» врезался в нее фута на два, и никакими силами нельзя было заставить его продви-

нуться дальше. Все остановилось, застыло вокруг нас: берега, буруны, время, чугунная волна за кормой...

Один из люков машинного отделения был открыт. Я видел, как Сачков в тельняшке и холщовых штанах потчевал машину из долгоносой масленки. Измученная суточным переходом, она скрежетала, чихала, прыскала горячей водой и дымком... Сидя на корточках, Сачков вытирал тряпкой ее масляные бока и разговаривал с машиной, точно дрессировщик с упрямой собакой.

— А ну, давай еще раз! — бормотал он, плача от дыма.— Чудачка! Милая! Дьявол зеленый! Мурлыка! Дай пол-оборота... Честное слово... Ну, потерпи... Ну, еще...

Он понукал ее терпеливо и ласково, перекрывал краники, регулировал смесь и, тревожась, наклонял ухо к горячей рубашке мотора.

«Апчхи!.. Апчхи!.. Табба-бак!.. Табба-бак!..» — отвечал Сачкову движок.

Между тем Колосков, сидевший на носу, стал показывать признаки нетерпения. Он поглядывал то на берег, то на бары, поправлял ворот бушлата и, наконец, подойдя к трубке, тихо напомнил:

— Товарищ Сачков, о чем мы условились?

— Есть самый полный!

— Не вижу... Примерзли... Выжмите все...

— Есть выжать все! — ответил Сачков и снова зашептал над машиной.

Я слышал, как бойцы разговаривают с лошадьми, и лично знал одного младшего командира, составившего «Азбуку собачьего языка», но в первый раз был свидетелем беседы трезвого человека с мотором.

Видимо, они не могли сговориться, потому что Сачков выпрямился и наградил приятеля крепким шлепком.

— Не хочешь?— спросил он обиженно.— Ну, держись, черт с тобой.

Он встал и положил руку на рычажок дросселя. Стук перешел в скрежет. Машина завыла, точно влезая на гору.

— Идем... Еще немного... Идем! — зашипел Колосков на носу.

Катер сорвался с места, разрезал, смял волну и, поплевывая горячей водой, вошел в притихшую реку.

Нам пришлось пройти семь километров вверх по течению, прежде чем мы отыскали удобную стоянку. Река делала здесь крутой поворот, как бы решив вернуться обратно. Только невысокая гряда сопок, поросшая жимолостью, отделяла наш катер от моря. Мы снова услышали глухие взрывы прибоя.

Косицын выскочил на берег и принял конец. Но из кустов поднялась взлохмаченная собака с веревкой на шее. Вслед за ней зашевелились другие. Оказалось, что мы подошли прямо к собачьему стойбищу. Камчатские рыбаки и охотники на лето всегда привязывают ездовых собак возле реки. Их навещают раз в день, открывают яму с квашеной рыбой и бросают каждому псу по две горбуши.

Ездовой взвыл с перепугу. Его поддержали приятели. Целая сотня тощих, линяющих псов стала жаловаться нам на плохую кормежку, дожди, комаров и другие собачьи невзгоды.

Мы поспешно удалились от шумных соседей и через полчаса отшвартовались в узкой протоке, поросшей по обеим сторонам шеломайником. Здесь нам предстояло выждать появления «Саго-Мару» у Бурунного мыса.

Я собирался высушить бушлат и вздремнуть минут тридцать, но Колосков подошел ко мне и спросил уверенным тоном:

— Вы, конечно, еще не желаете спать, товарищ Олещук?

— Разумеется, нет,— сказал я, моргая глазами.— После похода всегда страдаешь бессонницей...

Колосков засмеялся. Его также сильно пошатывало.

— Так я и думал...— И продолжал, сразу изменив тон разговора: — Возьмите аппарат, телефонную катушку и вместе с Нехочиным отправляйтесь через сопки к Бурунному мысу. Замаскируйтесь и наблюдайте. Сообщения — раз в полчаса... В четыре вас сменят.

...Ночь была холодная и звездная. Заливистая собачья песня преследовала нас всю дорогу, пока мы, пробираясь через заросли жимолости, разматывали катушку.

Через час мы, ежась, лежали в мокрой траве, и в телефонной трубке шептал басок командира.

Новостей было мало. Колосков пожаловался на комаров, я — на холод. Потом мы услышали, как зашипел примус, и Колосков сообщил, что для нас варится кофе.

В море было свежо. Мы видели, как японские рыбаки оттащили кунгасы подальше от берега. Ни одна шхуна не прошла в эту ночь мимо бухты.

На следующий день шторм усилился. Мы оказались закупоренными в протоке. Особой беды в этом не было: хищники в такую погоду отсиживались на островах. Однако Колосков помрачнел: ему чудилось, что японцы высадились на побережье и обшаривают бобровые лежбища.

Защищенные от моря сопками, мы почти не чувствовали ветра. Люди высушили одежду, отдохнули. Сачков завел движок и включил электрический утюг. Ожил даже Косицын. Он снова стал улыбаться и даже уверял меня, что на Волге, возле Казани, бывают не такие штормы.

Я отпросился у Колоскова и направился вверх по протоке посмотреть, как горбуша мечет икру. Был июль — время нереста лососевых, рыба тучей шла с моря в пресную воду, с которой она рассталась два года назад.

Говорят, что кошки, если отнести их в мешке на другой край города, всегда отыщут свой дом. Однако у горбуши память покрепче. Где бы лосось ни жил, хоть возле Африки или на Северном полюсе, а нереститься он обязательно придет в свою реку. В чужом море горбуша икру не оставит.

Не знаю, как объясняют ученые кочевки лосося, но меня всегда поражают эти странные стада, охваченные диким желанием пройти вверх, оставить потомство и умереть. В это время камчатские рыбаки вычерпывают рыбу, точно уху. В 1934 году лососи, задыхаясь в стае, выбрасывались на берег. На катере трудно было пройти по реке: винт рвал живое мясо.

...Я отошел от стоянки шагов на четыреста и лег в траву у самого берега. Вода дышала холодом. Прозрачная, как воздух, она прикрывала камни дрожащим мерцанием. Временами в глубине вспыхивали и гасли длинные белые искры: шел лосось. Течение реки показалось мне слабым. Я сломал ветку тополя и опустил ее в воду. Она тотчас выгнулась и затрепетала, точно от ветра.

Вскоре мои глаза притерпелись к резкому свету, и я смог отличать рыбу от солнечных бликов на дне. Я видел, как самцы окружили мертвую горбушу. Она лежала на боку, красновато-сизая, белоглазая, широко разинув рот. Брюхо ее было плоско, как у всех рыб, отметавших икру. Смерть застала лосося тут же, на нерестовой площадке; в полуметре от хвоста горбуши беспокойно сновали самки, еще не освободившиеся от икры.

Четыре крупных, сильных самца вели себя возбужденно: били о каменистое дно хвостами, кружились, подталкивали дохлую горбушу носами. Иногда движения рыб становились такими стремительными, что над трупом возникал светящийся пузыристый круг. Мне пришла в голову нелепая мысль: рыбы, прощаясь с подругой, совершают погребальный воинственный танец. Потом я подумал, что самцы просто дерутся над падалью.

В конце концов мне надоело наблюдать эту бесконечную карусель. Так и не решив загадки, я поднялся еще выше по течению реки и остановился у глубокой протоки, преграждавшей мне путь.

В первый раз в жизни я видел, как солнце шевелит лучами. Они бродили по протоке, сталкивались, расходились, покрывали дно дрожащими бликами. Тысячи рыб поднимались к верховьям, с трудом преодолевая сильное течение. Высоко над водой черновато-зеленой стеной стоял шеломайник с резными тяжелыми листьями. Желтели ирисы, цвел шиповник, всюду виднелись могучие красноватые стволы медвежьей дудки и белые зонтики, развернутые на двухметровой высоте. Я пожалел, что на Камчатке не водятся пчелы.

Чтобы лучше видеть эту картину, я снял сапоги, закатал шаровары и отправился на середину протоки.

Она оказалась мелкой, чуть выше колен, и такой холодной, что через минуту я перестал ощущать гальку на дне. Рыбы сначала струхнули и бросились врассыпную, но с моря подходили все новые косяки, и вскоре мои посиневшие икры перестали смущать лососей.

Рыбы занялись своим делом. Прежде чем выбросить икру, самки выбирали подходящее место. Головой, плавниками, боками, хвостом они выбивали в каменистом дне небольшую ямку. У многих от безжалостных ударов тело превратилось в сизые лохмотья. Горбатые, обезображенные, с зубатой мордой, изогнувшейся, точно клюв хищной птицы, они торопились расстаться с икрой и умереть. С верховьев реки течение уже сносило отнерестившую, полуживую рыбу.

В то время как самки расчищали хвостами дно, самцы стояли на страже. Метрах в пяти ниже по течению сновали гольцы — пятнистые, очень юркие рыбы, напоминавшие окраской и формой тела форель. Они ждали окончания нереста, чтобы броситься к ямке и сожрать икру... Не тут-то было! Самцы-горбуши, хотя и обессиленные путешествием, но более массивные, чем гольцы, отважно бросались на хищников.

Отогнав наглецов, они возвращались к самкам, подталкивали их головами, покусывали за хвост, точно желая, чтобы подруги поскорее расстались с опасным грузом.

Наконец, я увидел, как в полуметре от моих ног самка, изгибаясь, помогая себе сильными рывками хвоста, выбросила на расчищенное дно бледно-розовые крупинки икры. Самец подскочил, облил их молокой, и обе рыбы стали забрасывать икру песком и галькой. Вскоре на дне образовался один из тех небольших бугорков, на которые я натыкался по дороге к середине протоки.

Покружившись над бугорком, супруги убедились в безопасности своего сокровища и медленно направились вверх по протоке.

Теперь движения их были нерешительны, вялы. Все для них было окончено. Обреченные на смерть, они не знали, как провести свои последние часы; подходили к чужим гнездам, кружились, отгоняли гольцов и, нако-

нец, затерялись в мощном потоке рыб, поднимавшихся с моря...

Набежали облака, подул ветер, воду подернуло рябью. Лязгая зубами, я вылез на берег и стал растирать онемевшие икры. Мне было немного досадно. Бродить всю жизнь в чужих морях, вернуться под старость в родную воду и перевернуться вверх брюхом, не увидев потомства. На это способны только такие бродяги, как лососи!

На обратном пути я остановился возле места, где «танцевали» четыре самца. Дохлой горбуши уже не было видно. Я обшарил глазами дно и с трудом отыскал хвост рыбы, торчавший из гальки. Видимо, инстинкт, помогающий лососю выбрать для икрометания самую чистую воду, заставил самцов прикрыть падаль песком и камнями.

Через полчаса я вернулся на борт. Колосков разговаривал с берегом. Сачков драил шкуркой бензинопровод: как у всякого механика, у него чесались руки, когда он видел кусочек меди или латуни.

Он выслушал рассказ о моих наблюдениях без всякого интереса.

— Закон природы,— сказал он, зевнув.— Рыбы мечут икру, дерутся, естественно дохнут... Поймал хоть одну?

— Не в том дело. Надо сущность понять.

— Ну ясно,— сказал он смеясь,— снять штаны — и в протоку!.. Боюсь, из тебя все-таки Дарвин не выйдет.

Спорить с ним было нельзя. Из всех существ на земле Сачков считал достойными уважения только двух: человека и четырехтактный мотор. Все-таки я решил напомнить ему о ночном монологе.

— Бывают чудаки позанятней... Я слышал, как один моторист беседовал с движком...

Сачков немного смутился.

— Быть может, это помпа шумела?— спросил он осторожно.— Когда эта чертовка визжит, мне самому кажется, будто кто-то...

— Ну нет! Я могу повторить хоть при всех.

Мы посмотрели друг другу в глаза.

— Знаешь, Алеша,— заметил миролюбиво Сачков,— мне сдается, что нерест — довольно занятная

штука... Особенно рыбья пляска или драка с гольцами.

— А ты бы чаще смазывал помпу,— посоветовал я.— Кажется, она действительно иногда заговаривает.

Команда стала готовиться к встрече со шхуной. Сачков сменил смазку, осмотрел винт и выслушал мотор с помощью стетоскопа из шомпола и мембраны. Я проверил шпангоуты и навел на выхлопной трубе зеленую полоску — знак пограничного катера. Косицын принялся тренироваться в передаче донесений флажками, а Колосков, третий месяц учивший японский язык, сидел в кают-компании, без конца повторяя:

— Конници-ва! — Здравствуйте! Даре-га сенчоосан?— Кто капитан? Коно фунева нан-то мооси масу ка? — Как называется это судно? Доко-кара китта-но дес-ка?— Откуда пришли?

Потом он начинал командовать, как будто мы уже задержали и взяли хищника на буксир.

— Юкинасай! Пойдем! Торикадзи, омокадзи! Право руля, лево руля!

...Шли вторые сутки. Ветер упал, но шхуна не возвращалась. Каждые полчаса с берега сообщали:

— Туман... Видимость скверная... Рыбаки выгружают четыре кунгаса... Шхуны не обнаружено...

Колосков помрачнел. Он ничего не говорил Сачкову, но видно было — старшина жалеет, что пошел на сомнительную авантюру. Ожидание стало особенно тягостным, потому что со всех сторон слетались комары. Уссурийские тигры — ягнята по сравнению с этими неистово кровожадными тварями. Воздух был тускло-серый и звенел, точно балалаечная струна. Кожа наша горела даже под бушлатами. Мы дышали комарами, ели их с кашей, глотали с чаем.

Люди мазались черемшой[1] и мазутом, делали накомарники из тельняшек, заматывали полотенцами шею, курили махорку пополам с хвоей и листьями!

---

[1] Черемша — дикий чеснок.

А полчища все прибывали. Стоило провести рукой по шее, как ладонь оказывалась в крови.

Колосков держался бодрее других. У него совсем заплыли глаза и шея приняла оттенок давленой вишни, но он твердил довольно настойчиво:

— А что? Разве кусают? Вот ер-рунда!

Ночью под одеялом он скрипел зубами.

На третий день во время обеда пошел сильный теплый дождь, сразу облегчивший наши мучения. Мы сидели в кают-компании, доедая консервы, и слушали, как ливень хлещет по палубе.

Кто-то заметил, что «Саго-Мару» ушла на ремонт в Хакодате. Шутника поддержали. Посыпались дружеские, но увесистые остроты насчет нашего рыбьего положения, гипотенузы без катетов и возраста дизеля. Больше всего, конечно, доставалось самому Сачкову. Честный малый сидел, моргая глазами, не зная — засмеяться или рассвирепеть.

Командир немедленно взял под защиту Сачкова.

— Это еще что за цирк? — заметил он строго.— Мысль правильная... Установка верна... А в чужой борщ перец не сыпьте. Прошу.

Мы приготовились к дальнейшему разносу, но в это время зарокотал телефон. Продолжая ворчать, Колосков снял трубку и вдруг, обернувшись к Сачкову, быстро завертел рукой в воздухе.

— Есть! — ответил Сачков, отставил тарелку и бросился в машинное отделение.

Мы помчались...

С тех пор прошло больше трех лет, но до сих пор я вижу мохнатую от дождя реку, низкий берег, бегущий вровень с бортом, и напряженное, исхлестанное ливнем лицо Колоскова, а когда закрываю глаза, слышу, как снова стучит, торопится, бьется мотор... быть может, сердце — не знаю.

Сачков взял от дизеля все, что мог, плюс пятьдесят оборотов. Течение горной реки и наше нетерпение еще больше увеличили скорость катера.

«Смелый» мчался, распарывая реку, с такой быстротой, что рябило в глазах. Навстречу нам с моря поднимались косяки рыбы. Мы слышали глухие удары лососей о корпус. Временами, испуганная движе-

нием катера, рыба выпрыгивала из воды, изогнувшись серпом.

Берега расступились. Стало заметно светлее. Сквозь ливень мы не увидели моря: оно напоминало о себе сильным и свежим дыханием.

— Ну, держитесь! — вдруг сказал Колосков.

Он поправил фуражку, поставил ноги шире и тверже, и в то же мгновение я почувствовал, что глотаю не воздух, а соленую воду вместе с песком. Что-то тяжелое, мутно-желтое тащило меня с палубы, висело на плечах, подламывало ноги. Я схватился за трап с такой силой, что, оторви меня волна, на поручнях остались бы кулаки.

Катер с размаху било днищем о гальку. Он шел скачками, вибрируя и треща. Мы стояли по пояс в воде, море врывалось в машинные люки.

...И сразу все стихло. Мы снова неслись среди пены. Бары громоздились сзади — светло-желтые, трехметровые складки воды. Нерпы, всегда караулящие лососей в устьях рек, подняли свои кошачьи головы, с удивлением разглядывая катер. «Смелый» прошел от нерп так близко, что я видел их круглые темные глаза.

Было время отлива. С берегов тянуло запахом йода, всюду лежали темно-зеленые волнистые плети морской капусты. Каменистая отмель, отгораживавшая залив от реки, сильно просвечивала сквозь желтую воду.

Мы не замечали ни холода, ни мокрых бушлатов. «Саго-Мару» была здесь, поджарая, нахальная, с двумя красными иероглифами, похожими на крабов, прибитых к корме.

Она только что открыла люки и готовилась к погрузке лососей, когда «Смелый» обогнул отмель и загородил выход в море.

Гипотенуза короче двух катетов. Это понял, наконец, и синдо. «Саго-Мару» закричала фистулой, зовя к себе лодки, заметалась, ища выхода из ловушки, и, наконец, в отчаянии бросилась к отмели.

Мы услышали звук, похожий на треск раздираемой парусины. Рыбаки на палубе шхуны попáдали один на другого.



Моторист «Саго-Мару» заглушил дизель. Стало тихо. Японцы стояли на палубе и понуро наблюдали за нами.

Мы спустили тузик и направились к шхуне, чтобы составить акт. В это время рыбаки, точно по команде, стали прыгать в воду. Последним, сняв желтый халатик, нырнул синдо. Перепуганные ловцы изо всех сил спешили к нашему тузику.

Что-то странное творилось на шхуне. Палубу «Саго-Мару» выпучило, затрещали доски, посыпались стекла. Казалось, что шхуна, объевшись рыбы, раздувается от обжорства. Из всех иллюминаторов и щелей полз белый густой дым.

Колосков подозрительно понюхал воздух.

— Табань!

Его команду заглушил сильный взрыв. Корму «Саго-Мару» точно отрезало ножом. Рубка отделилась от палубы и упала в воду метрах в тридцати от нас. Косицыну чем-то острым рассекло кисть руки.

Вода вокруг шхуны приняла мутно-белый оттенок и сильно шипела.

Причина взрыва стала ясна, как только мы почувствовали характерный сладковатый запах ацетилена.

Японские рыбаки, устанавливая сети на больших морских площадях, отмечают их фонарями, чтобы пароходы не разрушили это хозяйство. На каждой шхуне можно всегда найти банки с карбидом для фонарей.

Налетев с размаху на камень, «Саго-Мару» пропорола днище. В двухметровую щель хлынула вода и тотчас затопила отсек, где хранился карбид. Взрыв мог быть еще сильнее, если бы палуба оказалась покрепче.

...Мы выловили и приняли на борт девятнадцать рабаков. Перепуганные катастрофой, они стояли на баке, дружно выбивая зубами отбой. Боцман, недавно дразнивший Колоскова, кланялся и шипел с таким подхалимским видом, что Косицына чуть не стошнило.

Закончив формальности и сфотографировав шхуну, мы направились в море.

Я вел катер всего метрах в двухстах от завода, но Колосков велел подойти еще ближе.

— В целях воспитания,— заметил он строго.

Дождь кончился. Высоко над отмелью, где дымился остов «Саго-Мару», прорезался бледный солнечный диск.

В последний раз я оглянулся на берег. Возле конторы на мачте еще висел вымокший конус. Рыбаки сидели у пристани на катках и ждали кунгасов.

Я подумал, что с берега мокрые фигуры хищников видны хорошо.

1938

БЕ́РИ-БЕ́РИ

Предупреждаю заранее, тот, кто ждет занятных морских приключений, пусть не слушает эту историю. Я не могу обещать ни тумана, ни шторма, если в вахтенном журнале сказано ясно: солнце, штиль, температура +20 в тени.

Да, было так жарко, что смола выступала из палубы. Мы медленно входили в бухту Медвежью, лавируя меж островков и камней. Люди отдыхали на баке, еле шевеля языками. Тень от мачты—короткая, синяя — неподвижно лежала на палубе. Корабельная медь слепила глаза. Только плеск воды да белые крылья чаек напоминали нам о прохладе.

Мы надеялись пополнить в бухте запасы воды. Снег на сопках здесь держится долго — до конца июля, даже до августа, и десятки горных ручьев, разогнавшись в ущельях, с огромной высоты падают в бухту. Самые слабые никогда не долетают до берега, ветер подхватывает их на лету и превращает в белую пыль, но два или три водопада соединяют сопки и море высокими дугами. На фотографиях они выходят сосульками, но, право, я не видел более сильной картины, чем эти светлые, грохочущие столбы, врезанные в зеленую воду до самого дна.

Был уже слышен шум ручьев, когда вахтенный крикнул:

— Японец! Слева по носу!

Возле самого берега стояла двухмачтовая черная шхуна.

Колосков, мельком глянув на шхуну, твердо сказал:

— Полкорпуса влево... так держать!

В таких случаях счет идет на секунды. Не успели хищники выбрать якорь, как двое бойцов разом прыгнули на палубу шхуны.

Она была пуста. «Гензан-Мару» (Колосков разобрал надпись за десять кабельтовых) даже не пыталась бежать, точно к ней подошел не пограничный катер, а собственный тузик.

А между тем в воздухе пахло крупным штрафом: на бамбуковых шестах вдоль борта висели еще влажные сети.

Сачков заглушил мотор и выглянул из люка.

— Стоило гнать! — сказал он с досадой.— Вот мухобой! Бабушкин гроб!

Судя по мачтам, слишком массивным для моторного судна, во времена Беринга это был парусник с хорошей оснасткой. Плавные, крутые обводы говорили о мореходности корабля, четыре анкерка с пресной водой — о дальности перехода. Под бугшпритом шхуны, вынесенном метра на три вперед, была прикреплена грубо вырезанная из какого-то темного дерева фигура девушки с распущенными волосами. Наклонив голову, красавица уставила на нас обведенные суриком слепые глаза. Время, соль и толстые наслоения масляной краски безобразно исказили ее лицо.

Мы молча разглядывали шхуну.

Видимо, хозяева рассчитывали на страховую премию больше, чем на улов рыбы: сквозь дыры в бортах могли пролезть самые жирные крысы.

— Эй, аната! [1]— крикнул Колосков.

Циновка на кормовом люке приподнялась. Тощий японец, с головой, повязанной синим платком, равнодушно взглянул на нас.

— Бьонин дес [2],— сказал он сипло.

— Эй вы, кто синдо?

— Бьонин дес,— повторил японец монотонно, и крышка снова захлопнулась.

Колосков спустился в каюту, чтобы надеть свежий китель. Наш командир был особенно щепетилен, когда дело доходило до официальных визитов.

---

[1] Эй, вы!

[2] Больной.

— Товарищ Широких,— сказал он,— найдите синдо, выстройте японскую команду по правому борту.

— Есть выстроить! — ответил Широких.

Это был серьезный, очень рассудительный сибиряк, с лицом, чеканенным оспой, белыми бровями и славной, чуть сонной улыбкой, которой он встречал остроты Сачкова и кока. Кроме обстоятельной, чисто степной медлительности, он отличался бычьей силой, которой, впрочем, никогда не хвастался.

Помню случай, когда, погрузившись в воду по пояс, Широких переносил со шлюпки на берег двенадцатипудовый якорь. И это в свежую погоду, на осклизлых, крупных камнях!

На «Смелом» он служил рулевым.

Громыхая сапогами, Широких прошел по палубе шхуны, поднял циновку и присел на корточки перед люком.

— Ваша который синдо?— спросил он деловито.— Ваша бери люди, ходи быстро на палубу.

В ответ из кормового люка вырвался стон.

Мы видели, как Широких перекинул ноги и с трудом протиснулся в узкое отверстие. В трюме загалдели, затем сразу стихло.

— Уговорил! — сказал Сачков, посмеиваясь.

Но Широких не показывался. Шхуна по-прежнему казалась мертвой. На палубе блестела сухая тресковая чешуя. Только несколько ярких фундоси, подвязанных бечевками к вантам, напоминали о жизни на корабле.

Наконец, из трюма вылез Широких. Он был краснее обычного и осторожно, точно ядовитую гадину, держал вытянутой рукой какую-то бумажку.

— Товарищ лейтенант,— загудел он еще с палубы шхуны.— Разрешите доложить. Произведен осмотр кормового трюма. Обнаружено одиннадцать хищников, в том числе синдо. Трое показывают заразные признаки. Остальные чирьев на спине не имеют... Вступают в пререкания. Лежат нагишом.

— Какие чирьи... Вы что?

— Надо полагать — чумные... Стонут ужасно.

— Что вы болтаете? — возмутился Колосков. (Он был в новой форме с двумя золотыми нашивками и

фуражке со свежим чехлом).— Идите сюда... Нет, стойте. Покажите письмо.

Широких передал клочок, на котором печатными русскими буквами было выведено:

«Помогице. Заразно. Сибировска чумка. Весьма просив росскэ доктор».

Если бы японцы специально задались целью смутить Колоскова,— лучшего средства они б не придумали. Бравый балтиец, человек зрелого, спокойного мужества, он по-детски боялся всего, что пахнет больницей. В двадцать лет, на фронте, Колосков впервые узнал от ротного фельдшера о бациллах — возбудителях тифа. Здоровяк и остряк, он всенародно поднял лектора на смех (в те годы Колосков был твердо уверен, что все болезни заводятся от сырости). Но когда упрямец увидел в микроскоп каплю воды из собственной фляжки, он заметно опешил. По собственному признанию Колоскова, его точно «снарядом шарахнуло». Странные полчища палочек, шариков, точек поразили воображение моряка. С прямолинейностью военного человека Колосков решил действовать, прежде чем «гады», кишевшие всюду, доведут моряка до соснового бушлата.

Он привил оспу на обе руки, завел бутыль йода и принялся старательно мазать свои и чужие царапины. Гадюка над рюмкой[1] стала в его глазах знаком высшей человеческой мудрости.

С тех пор прошло двадцать лет, но если вы увидите когда-нибудь моряка, который пьет кипяченую воду или снимает с яблока кожуру,— это будет наверняка Колосков.

Понятно, что при слове «чума» командир немного опешил. Если бы хищники открыли огонь или попытались бы уйти у нас из-под носа, Колосков мгновенно нашел бы ответ. Но тут, глядя на пустынную палубу шхуны, командир невольно задумался. Опыт и природная осторожность не позволяли ему верить записке.

— Доложите... какие признаки вы заметили?

— Очень дух тяжелый, товарищ начальник.

— Это рыба... Еще что?

---

[1] Змея и чаша — значок медицинских работников.

— На ногах черные бульбочки... Кроме того, в глазах воспаление.

Но Колосков уже поборол чувство робости.

— От тухлой трески чумы не бывает... Растравили бульбочки... Симулянты... Впрочем, ступайте на бак. Возьмите зеленое мыло, карболку Понятно? Чтобы ни одного микроба!..

...В тот год я совмещал должность рулевого с обязанностями корабельного санитара... Открыв аптечку, я нашел сулему и по приказанию командира смочил два платка. Он приказал также надеть желтые комбинезоны с капюшонами, которые применяются во время химических учений.

Прикрывая рот самодельными масками, мы поднялись на борт «Гензан-Мару» и внимательно осмотрели всю шхуну.

Это была посудина тонн на триста, с высоким фальшбортом, переходящим на корме в нелепые перильца с балясинами, какие попадаются только на провинциальных балконах.

Японские шхуны никогда не отличаются свежестью запахов, но эта превосходила все, что мы встречали до сих пор. Палуба, решетки, деревянные стоки пропитались жиром и слизью. Сладкое зловоние отравляло воздух на полмили вокруг.

Все здесь напоминало о трудной, жалкой старости корабля. Голубая масляная краска, покрывавшая когда-то надстройки, свернулась в сухие струпья. Медный колокол принял цвет тины. Всюду виднелось серое, омертвелое дерево, рыжее железо, грязная парусина. Дубовые решетки, прикрывавшие палубу, и и те крошились под каблуками.

Зато лебедка и блоки были только что выкрашены суриком, а новые тросы ровнехонько уложены в бухты. Сказывалось старое правило японских хозяйчиков: не скупиться на снасти.

Два носовых трюма, прикрытых циновками, были доверху набиты камбалой и треской. Влажный блеск чешуи говорил о том, что улов принят недавно.

— Ясно, симуляция,— зло сказал Колосков.

Мы заглянули в кормовой кубрик и позвали синдо. Нам ответили стоном. Кто-то присел на корточки и завыл, схватившись обеими руками за голову. Вой

подхватили не меньше десятка глоток. Трудно было понять: то ли японцы обрадовались появлению живых людей, то ли жаловались на жару и зловоние в трюме.

Тощий японец в вельветовой куртке с головой, замотанной полотенцем, кричал сильнее других. Упираясь лопатками и пятками в нары, он выгибался дугой и верещал так, что у нас звенело в ушах.

В полутьме мы насчитали девять японцев. Полуголые, мокрые от пота парни лежали вплотную. Несколько минут мы видели разинутые рты и слышали завывание, способное смутить любого каюра[1]. Затем Колосков кашлянул и твердо сказал:

— Эй, аната! Однако довольно.

Хор зачумленных грянул еще исступленнее. Казалось, ветхая посудина заколебалась от крика. Многие даже забарабанили голыми пятками.

Это взорвало Колоскова, не терпевшего никаких пререканий.

Он крикнул в трюм, точно в бочку:

— Эй, вы... Смир-но!

И все разом стихли. Стало слышно, как в трюме плещет вода.

— Где синдо?

Крикун в вельветовой куртке вылез из кубрика, и, путая японскую, английскую и русскую речь, пояснил, что самые опасные больные изолированы от остальных. Продолжая скулить, он повел нас к носовому кубрику.

В узком, суженном книзу отсеке лежали на циновке еще трое японцев.

—Варуй дес... Тайхен варуй дес[2],— сказал синдо довольно спокойно.

С этими словами он взял бамбуковый шест и бесцеремонно откинул тряпье, прикрывавшее больных.

Мы увидели мертвенную, покрытую чешуйками грязи кожу, черные язвы, чудовищно раздутые икры, оплетенные набухшими жилами. Ребра несчастных выступали резко, точно обнаженные шпангоуты шху-

---

[1] Каюр — в полярных областях погонщик собак, запряженных в нарты.

[2] Плохо, очень плохо.

ны. Видимо, больные давно мочились под себя, так как резкий запах аммиака резал глаза.

Люди заживо гнили в этом душном логовище с грязными иллюминаторами, затянутыми зеленой бумагой.

Возле больных, на циновках, усыпанных рыбьей чешуей и зернами сорного риса, стояли чашки с кусками соленой трески.

— Бедный рыбачка! Живи — нет. Помирай — есть,— сказал провожатый.

Точно по команде, трое японцев протянули к нам ужасные руки — почерневшие, скрюченные, изуродованные странной болезнью. Не знаю, как выглядят чумные, но более грустного зрелища я не встречал никогда.

Синдо знал полсотни русских и столько же английских фраз. Путая три языка, он пытался рассказать нам о бедственном положении шхуны.

— ...Это было в субоцу... Сильный туманка... Ходи туда, ходи сюда... Скоси мо мимасен[1]. Наверное, компас есть ложный... Немного брудила. Вдруг падай Арига... Одна минуца — рыбачка чернеет... Like coal[2]. Другая минуца — падай Миура... третья минуца — Тояма. Камматанэ! Вдруг берег! Чито? Разве это росскэ земля? Вот новость!

Колосков спокойно выслушал бредовое объяснение и, глядя через плечо синдо на больных, сухо сказал:

— Хорошо... Где поймана рыба?

— Са-а... Он всегда был здоровячка,— ответил грустно синдо.— Что мы будем рассказываць его бедный отце и мацъ?

— Я спрашиваю: когда и где поймана рыба?

— Да, да... Арита горел, как огонь. Наверно, есть чумка.

— Не понимаете? Рыба откуда?

— Ей-бога, не понимау,— сказал пройдоха, кланяясь в пояс.— Мы так боялся остаться один.

Он махнул рукой, и зачумленные дикими воплями подтвердили безвыходность положения.

---

[1] Ничего не видно.
[2] Как уголь.

Мы вышли на палубу, провожаемые стонами больных и бормотанием синдо. Колосков сердито сорвал сулемовую маску.

— Вы когда-нибудь видели чуму?

— Только на картинках,— признался я.

— Любопытно.

— Да... Рыба свежая.

Я хотел на всякий случай отобрать у японцев лампу для нагрева запального шара мотора, но Колосков не разрешил мне спуститься в машинное отделение.

— Понимать надо,— сказал он строго.— Чума не репейник — с рукава не стряхнешь.

Вести шхуну в порт было нельзя. Мы запросили отряд и через десять минут получили ответ: «Врач, санитары высланы. Снимите, изолируйте наш десант. Отойдите шхуны, наблюдение продолжайте...»

И мы стали ждать.

Нам предстояло провести с глазу на глаз с зачумленной шхуной шесть часов.

Был полдень, солнечный, душный, несмотря на окружавшие бухту снежные сопки. Вокруг шхуны островками плавала пена и раздувшиеся от жары кишки кашалотов — верный признак, что китобойная флотилия находится недалеко. Издали кишки походили на связки ржавых, очень толстых корабельных цепей. На островках-желудках сидели нарядные и крикливые чайки.

Палуба «Гензан-Мару» кишела мухами. Вскоре они стали попадаться в кубриках «Смелого». Колосков велел отойти от шхуны на два кабельтовых.

Обедали плохо. Борщ, хлеб, жаркое, даже горчица пахли карболкой. По приказанию командира наш кок, Костя Скворцов, обходил корабельные помещения с пульверизатором, ежеминутно наполняя бутыль свежим раствором.

— Все по порядку,— объяснял он, сияя голубыми глазами,— сначала карболку, потом хлор. Белье в печку... Прививка... Потом карантин на три недели...

Костя был немного паникер, но на этот раз многие разделяли его опасения. Шхуна стояла рядом, безлюдная, тихая, и в тишине этой было что-то зловещее.

Хуже всех чувствовал себя Широких. Вымытый зеленым мылом и раствором карболки, он сидел на баке притихший, голый по пояс, а мы наперебой старались ободрить товарища.

Все мы искренне жалели Широких. Он был отличный рулевой, а на футбольной площадке левый бек. Что теперь ждало парня? Терпеливый, толстогубый, очень серьезный, он бил слепней и, вздыхая, смотрел на товарищей.

Мы утешали Широких, как могли.

— Мой дядя тоже болел в Ростове холерой,— сказал рассудительно кок.— Он съел две дыни и глечик сметаны... Ну, так это штука страшнее чумы. Три дня его выворачивало наизнанку. Он стал тоньше куриной кишки и так ослаб, что едва мог показать родным дулю, когда его вздумали причастить... Потом приехал товарищ Грицай... Не слышали? Это наш участковый фельдшер. Промыл дяде желудок и впрыснул собачью сыворотку.

— Телячью...

— Это все равно. Наутро он помер.

— Иди-ка ты,— сказал Широких, поежившись.

— Так то холера... Думаешь, уже заболел? Посмотри на себя в зеркало...

Широких дали термометр. Он неловко сунул его под мышку и совсем нахохлился.

— Знобит?

— Есть немного.

Митя Корзинкин — наш радист — принес и молча (он все делал молча) сунул Широких пачку сигарет «Тройка», которые хранил до увольнения на берег.

— В крайнем случае можно перелить кровь,— сказал боцман.— Сложимся по пол-литра.

— Главное, Костя, не поддавайся.

— Ты не думай о ней... Думай о девочках.

— Это верно,— сказал Широких покорно.— Надо думать...

Он сморщил лоб и стал смотреть в воду, где прыгали зайчики.

Обедал Широких в одиночестве. Он съел миску каши, двойную порцию бефстроганов и пять ломтей хлеба с маслом. Кок, с которым Широких постоянно враждовал из-за добавок, принес литровую кружку какао.

— Посмотрим, какой ты больной,— заметил он строго.

Широких подумал, вздохнул и выпил какао. Это немного всех успокоило.

— Видали чумного? — спросил кок ехидно.

В конце концов, видя, что общее сочувствие нагоняет на парня тоску, Колосков запретил всякие разговоры на баке.

Все занялись своим делом. Радист принялся отстукивать сводки, Сачков чинить донку, Косицын драить решетки на люках.

Один Широких с тоской поглядывал по сторонам У парня чесались руки.

— Дайте мне хоть марочки делать...

Боцман дал ему кончик дюймового троса, и Широких сразу повеселел, заулыбался, даже замурлыкал что-то под нос.

Колосков ходил по палубе, надвинув козырек фуражки на облупленный нос, и изредка метал подозрительные взгляды на шхуну.

Наконец, он подошел к Широких и спросил тоном доктора:

— Колики есть?

— Нет... то есть немного, товарищ начальник.

— Судороги были?..

— Нет еще...

— Ну, и не будут,— объявил неожиданно Колосков и сразу гаркнул: — Баковые, на бак!.. С якоря сниматься!

Мы развернулись и, сделав круг, подошли к шхуне поближе. Синдо тотчас высунул из люка обмотанную полотенцем голову.

— Эй, аната! — крикнул Колосков громко.— Ваша стой здесь... Наша ходи за доктором.

Услышав, что мы покидаем шхуну, больные подняли было оглушительный вой. Видимо, все они боялись остаться одни в далекой, безлюдной бухте, но синдо сразу успокоил испуганных рыбаков.

— Хорсö-о... Хорсö-о,— пропел он печально,— росскэ доктору... Хорсö-о.

Он повесил голову, согнул ноги в коленях и застыл в робкой позе — живая статуя отчаяния.

Бухта, в глубине которой стояла «Гензан-Мару», изгибалась самоварной трубой. Когда мы миновали одно колено и поравнялись с невысокой скалой-островом, я невольно взглянул на командира.

— Здесь?

— Ну конечно,— сказал Колосков.

Скала прикрывала нас с мачтами. Лучшее место для засады трудно было найти. На малых оборотах мы проползли между каменными зубами, торчавшими из воды, и стали в тени островка.

— Значит, симуляция? — спросил боцман.— Так я и думал...

Широких заулыбался и натянул тельняшку.

— Могу быть свободным?

— После осмотра врача,— ответил неумолимый Колосков.

Мы заглушили мотор и стали прислушиваться. Спугнутые катером чайки носились над мачтами, чертыхаясь не хуже базарных торговок. Сквозь птичий гвалт и плеск волны, обегающей остров, долетал временами прерывистый стук мотора. Видимо, японцы пытались запустить остывший болиндер.

Услышав знакомые звуки, Колосков вытянул шею, заулыбался и зашевелил усами. Он стал похож на заядлого удильщика, у которого вдруг затанцевал поплавок.

На островок набежала волна. Стук мотора стал ближе и резче. Вдруг мотор поперхнулся... помолчал полминуты... застучал снова, на этот раз неровно и глухо.

Мы завели мотор. Люди стали по местам. «Смелый» дрожал, готовый кинуться за наглецами в погоню.

И вдруг боцман разочарованно крикнул с кормы:

— Фу ты черт! Глядите...

В десяти метрах от нас, в расщелине между камнями, лежал перевернутый бат [1], видимо унесенный из поселка рекой. Каждый раз, когда набегала волна, лодка билась о стены, издавая отрывистые и ритмичные звуки.

Мы были так раздосадованы неожиданной шуткой моря, что не поверили ушам, когда за поворо-

---

[1] Бат — лодка, выдолбленная из ствола дерева.

том послышалось знакомое всем морякам «таб-бак, таб-бак».

Но это была «Гензан-Мару». Она вылетела из-за мыска метрах в пятидесяти от нас, поплевывая горячей водой, и помчалась к открытому морю. Из трубы шхуны кольцами летел дым, винт свирепо рвал воду, а вся команда толпилась на палубе. Чумный синдо рысцой бегал по палубе, подгоняя чумных матросов. Чумный боцман, лежа на животе, доставал крючком якорь, цеплявшийся за волну.

Заметив нас, «Гензан-Мару» вильнула в сторону, но Колосков спокойно приказал лечь на параллельный курс. Мотор шхуны был слишком слаб для тяжелого корпуса, а наш движок работал чудесно.

Через десять минут японцы заглушили болиндер, и Колосков, захватив меня и Косицына, поднялся на палубу шхуны. Он был взбешен таким нахальством и, стараясь сдержать себя, говорил очень тихо. Синдо шипел и пятился задом, кланяясь, как заведенный.

— Как ваши... очумелые? — спросил Колосков.

— Благодару... Наверное, очен плохо...

— Что же не дождались доктора?

— Са-а... Помирай здесь, помирай дома... Бедный рыбачка думай все равно.

Он начал было снова скулить, но Колосков разом успокоил синдо.

— Ну-ну,— сказал он сухо,— я думаю, до тюрьмы вам ближе, чем до могилы.

Вскоре подошел катер с доктором, и все сомнения наши рассеялись. Чумных на шхуне было столько же, сколько на нашем катере архиереев.

Сам синдо признался в мошенничестве. Шхуна заметила катер слишком поздно, а скорость старой посудины, до отказа набитой треской, была смехотворна. Тогда на шхуне молниеносно возникла чума. Вопли и записка были только трюком, рассчитанным на простаков. По словам синдо, они дважды применяли этот прием у берегов Канады, и оба раза катер рыбного надзора поспешно уходил от «Гензан-Мару».

Трое рыбаков во время поверки не вышли на палубу. Но это не были симулянты. Бéри-бѐри — болезнь бедняков, частый гость рыбацких поселков и шхун — свалила ловцов на циновки.

Эта болезнь — сестра голода. Сорный рис и соленая рыба, которыми постоянно питаются рыбаки, доводят их до полного изнурения.

Ловцы «Гензан-Мару» заболели еще весной. Сначала они пытались скрыть признаки бéри-бéри, выполняя нелегкие обязанности наемных ловцов наравне с прочими рыбаками. Но люди на шхунах спят на общих циновках, почти нагишом...

По правилам, больных следовало немедленно высадить на берег, однако синдо рассудил, что до конца сезона рыбаки омогут хотя бы отработать аванс.

Им дали «легкую» работу: наживку крючков и резку пойманной рыбы (разумеется, за половинную плату).

Они честно отработали хозяину полсотни иен, и сухую треску, и куртки из синей дабы, а теперь терпеливо ждали конца. Судя по запавшим глазам и омертвелым конечностям, он был недалек. У одного из рыбаков уже начиналась гангрена: обе ноги до колен были пепельно-черного цвета.

Пройдоха синдо отлично использовал зловещие признаки бéри-бéри. Нарывы и язвы, покрывавшие тела рыбаков, он выдал за приметы чумы.

Колосков приказал дать больным макароны, кофе и масло. Они не притронулись к пище. А когда санитар снова навестил рыбаков, тарелки каким-то чудом оказались в подшкиперской.

— Эти люди не привыкли к высокой пище,— сказал спокойно синдо.

Вечером мы снялись с якоря и повели «Гензан-Мару» в отряд. Шхуна шла вслед за «Смелым» своим ходом. Носовой люк был открыт — на потолке горела «летучая мышь». Стоя у неуклюжего штурвала, я видел безнадежно покорные лица больных.

Они ждали. Им было все равно...

Набежал ветер. «Гензан-Мару» стала раскачиваться и клевать носом.

Черная мачта шхуны выписывала в небе восьмерки, задевая концом за звезды; то одна, то другая звезда срывалась с места и, оставив трепетный след, падала в темное, смутно шипящее море...

На рассвете приблизился «Смелый». Я сдал вахту Широких, перебрался на катер и крепко заснул.

1939

КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО ОСТРОВА

I

Это была на редкость упрямая шхуна. Прежде чем заглушить мотор и вывесить кранцы, «Кобе-Мару» предложила игру в прятки, встав в тени за скалой. Когда этот фокус сорвался, она стала метаться по бухте, точно треска на крючке... Затеяла глупую гонку вокруг двух островков, пыталась навести «Смелый» на камни, ударить форштевнем, подставить корму — словом, повторила все мелкие подлости, без которых эти господа никогда не обходятся.

Оберегая корпус «Смелого» от рискованных встреч, Колосков долго водил катер параллельными курсами.

Мы были мокры, злы и от всего сердца желали шхуне напороться на камни. Боцман Гуторов, уже полчаса стоявший на баке с отпорным крюком, высказал это резонное желание вслух и немедля получил замечание от командира.

— А допрашивать эпроновцы будут? — ворчливо спросил Колосков.— Эк, жмет! Чует кошка...

Увлеченный погоней, он не пытался даже вытирать усеянное брызгами, свежее от холода и ветра лицо. Он стоял на ходовом мостике, щурясь, посапывая, не отрывая глаз от низкой кормы, на которой, точно крабы, выделялись два больших иероглифа.

Наконец, ему удалось подойти к японцу впритирку, и двое бойцов разом вскочили на палубу шхуны.

— Конници-ва! Добру день! — сказал присмиревший синдо.

Он стоял на баке возле лебедки и кланялся, точно заведенный.

Сети были пусты. В трюмах блестела чешуя давних уловов. Зато вся команда была, как по форме, одета в свежую, еще не обмятую работой спецовку. Высокие резиновые сапоги (без единой заплатки), подтянутые шнурками к поясам, придавали ловцам бравый, даже воинственный вид.

В пристройке рядом со шкиперской мы отыскали радиста — маленького злого упрямца в полосатой фуфайке. Он заперся на ключ и сыпал морзянкой с такой быстротой, точно «Кобе-Мару» погружалась на дно.

Уговаривать радиста взялся Широких. Он быстро снял дверь с петель и вынес упрямца на палубу, рассудительно приговаривая:

— Отойди... Постучал — и довольно. Я ж вам объясняю по-русски.

После этого мы выстроили японцев вдоль борта и подивились славной выправке «рыбаков». Судя по развороту плеч и строевой точности жестов, они были знакомы с «арисаки» не хуже, чем с кавасаки.

Мы обыскали кубрик, трюм, машину, но, кроме соленой рыбы, риса и бочки с квашеной редькой, ничего не нашли. Тогда Колосков приказал поднять линолеум в каюте синдо, а сам взял циркуль, чтобы промерить расстояние шхуны от берега.

Вскрывая вместе с Широких линолеум, я видел, как юлит пройдоха синдо. Едва Колосков доказал, что шхуна задержана в наших водах, шкипер уткнул нос в словарь и вовсе перестал понимать командира.

— Ровно миля,— сказал Колосков.— Что вы тут делали, господин рыболов?

— Благодару,— ответил синдо.— Мое здоровье есть хорошо.

— Не интересуюсь.

Синдо наугад ткнул пальцем в страницу.

— Хоцице немного русска воцка? Вы, наверно, зазябли?

Колосков отвернулся и стал терпеливо разглядывать картинки над койкой синдо. Трюк со словарем был стар, как сама шхуна.

Между тем синдо продолжал бормотать:

— Вчера шел дождик... Морская погода, как сердце красавицы, есть холодна и обманчива... Пятница — опасный день моряков...

— Кончили? — спросил Колосков.

— Не понимау... Чито?

Тут командир взял из рук синдо словарик и, захлопнув, сказал прямо в лицо:

— Ну, довольно шуток, я намерен поговорить серьезно.

Нужно было видеть, как повело шкипера при этих словах. Он выпрямился, задрал нос и заскрипел, точно сухое дерево на ветру.

— Хорсо... Я отказываюсь говорить младшим лейтенантом.

— Понятно,— сказал Колосков, пряча карту.— Понятно, господин старший рыболов.

В это время командира позвали на палубу, и тут открылась занятная картина.

Возле шлюпки лежал аварийный дубовый анкерок ведер на пять пресной воды. Боцман шхуны вздумал походя накинуть на бочку брезент, а эту запоздалую заботу подметил Широких. Любопытства ради он выбил втулку из бочки и сильно удивился, почему вода плещется, а не льется на палубу.

Багровый от волнения, он стоял на коленях возле анкерка и, запустив руку по локоть, что-то нащупывал.

Увидев Колоскова, он застеснялся и сказал:

— Что-то плещет, товарищ лейтенант, а шо — неизвестно.

Он пошарил заботливо, как рыбак в вентере, и прибавил:

— Будто щука.

И вытащил новенький маузер.

Потом он воскликнул:

— Лещ, товарищ лейтенант! Окунь, карась!

И на палубу рядом с маузером легли фотоаппарат, индуктор, связка бикфордова шнура, коробочка капсюлей и еще кое-что из «рыбацкого» ширпотреба.

Последней была вынута калька со схемами, нанесенными бегло, но искусной и твердой рукой.

Идти в отряд своим ходом японцы наотрез отказались. К тому же они успели забить в нескольких местах топливную магистраль кусками пробки и войлока. Тогда мы загнали команду в кубрик и, закрепив буксирный конец, с трудом вытащили шхуну из бухты.

...Заметно свежело. Волны стали острее и выше. Всюду осыпались и дымились на ветру белые гребни. Временами волна, разбитая «Смелым», пролетала над ходовым мостиком, осыпая нас шумными, злыми осколками.

Багровое небо обещало тяжелый поход. Дул лобовой шквалистый ветер, и трос, слишком короткий для буксировки, вибрировал за кормой.

На полдороге к отряду «Смелый» стал зарываться в волну. Вода кипела и металась по палубе, не успевая уйти за борт.

Колосков все чаще и чаще поглядывал назад, на смутно белевшую шхуну. Потеряв самостоятельность, на жесткой буксирной узде, шхуна плелась за нами, раскачиваясь, спотыкаясь о гребни. Вероятно, «Кобе-Мару» было еще труднее, чем нам, потому что трос не давал ей свободно взбегать на волну.

Вскоре стал заметен только бурун, волочившийся у нас на буксире. Берег, черневший по правому борту, исчез. Низкий рев моря, шипение бескрайней воды глушили перестуки мотора. Шквал навалился на катер с такой силой, что разорвал на мостике парусиновый козырек и сорвал со шлюпки чехол.

«Смелый» шел шажком в темноте, вздрагивая и кряхтя от крепких ударов. Ни звезды, ни огня! Командир приказал включить прожектор, а сам отправился на корму, чтобы осмотреть буксировочный трос.

Я стоял на руле и слышал, как, вернувшись на мостик, Колосков отдувался и убеждал себя самого:

— Черт! Не размокнет... Ну, ясно...

Мы думали об одном. Позади нас, на пустынной палубе шхуны, были двое: боцман Гуторов и ученик моториста Косицын. Гуторов был надежен. Подвижной, грубоватый, смекалистый, он был родом из Керби, славного поселка рыбаков и охотников, и держался на палубе прочнее, чем кнехт. Но Косицын... Сколько раз мы вытаскивали его из машины на палубу — зеленого, мутноглазого, вялого. На земле он был весел, по-крестьянски деловит и упрям, а в море размокал, как галета в горячем чае. Что сделаешь, если степная кровь не терпит ни качки, ни сырости!

Чтобы успокоить командира, я сказал:

— Устоит... На воздухе все-таки легче.

— Да? Я тоже так думаю,— ответил Колосков и тут же возмутился: — Разговорчики! Да вы что? На компасе или в пивной?

Был виден уже маяк Угловой, когда краснофлотец, следивший за тросом, резко вскрикнул...

Я сразу почувствовал, что катер пошел подозрительно ходко, обернулся и увидел, как позади нас быстро гаснет бурун. Из темноты долетал смятый шквалом голос Косицына:

— ...варищ командир ...аварищ ...анди-ир!

Что он кричал еще, разобрать было нельзя, да мы и не вслушивались. Круто развернувшись, «Смелый» пошел на выручку шхуны.

Прожектор быстро нашел «Кобе-Мару» (среди черной воды она блестела, как моль), обшарил шхуну с обоих бортов, лег на волну... И тут Колосков, сигнальщик и я разом закричали:

— Полундра!

В штормовой ошалелой воде барахтались двое. Они дрались. Оглушенные ударами гребней, они подминали, душили, топили друг друга, разевая рты, чтобы забрать воздух, и задыхались, и слепли в прожекторном свете, не выпуская, однако, горла противника. То и дело пловцы взлетали высоко над нами, над всем глухо стонущим морем и рушились вниз вместе с гребнями волн.

Их разбило. Они снова кинулись навстречу друг другу. А когда мы приблизились к месту схватки и бросили линь, за конец схватился один только пловец...

То был Гуторов.

Окровавленный, ослабевший, он лег ничком, бормоча:

— Там на шхуне... Косицын... один.

— Самый полный! — скомандовал Колосков.

— Есть... амы... полны! — ответили из машины. «Смелый» вздрогнул и не двинулся с места.

— В машине!

Сачков ответил что-то невнятное. Вода за кормой побелела, корпус затрясся, заскрипел от рывков, и мы поползли со скоростью плавучего крана.

Колосков приказал осмотреть винт. Нас держал трос. Огромный, разбухший ком ворочался за кормой

«Смелого», отнимая у нас ход и маневренность. Вероятно, с палубы шхуны смыло целую бухту манильского троса, и катер, налетев с размаху на снасть, перепутал и намотал на винт метров сто крепчайшего волокна.

Застопорив машину, мы полезли в воду рубить и распутывать петли, а боцман тем временем, клацая зубами, рапортовал командиру, что случилось на шхуне.

...Косицын был на руле. Гуторов осматривал трос. В это время вода разбила стекло штурманской рубки. Услышав звон, японцы стали ломиться на палубу. Гуторов подбежал к кубрику и укрепил дверцу веслом (задвижка была слабовата). И тут из какой-то щели, возможно из канатного ящика, вылез «рыбак». Он успел рубануть буксирный конец ножом и кинулся боцману под ноги, а шхуну как раз положило на борт...

Что было с Косицыным, Гуторов не знал. Он выпил стакан спирта и, обвязавшись канатом, снова влез в воду.

Скучное дело! Мы очистили винт, но продолжали болтаться на месте: вал был согнут, муфта разболтана, мотор дышал, как затравленный, и «Смелый» не мог даже выгрести против ветра.

Мы превратились в буек, а шхуну уносило все дальше и дальше. Прожектор резал только мачты по клотик. Они долго кланялись морю на все четыре стороны,— маленькие, светлые травинки среди гневной воды — и, наконец, пропали из глаз.

Как мы провели ночь — вспоминать скучно. Скажу только, что, несмотря на десятибалльный ветер, на палубе было довольно жарко, а в трюме, кроме моторной помпы, беспрерывно работали четыре ручные донки.

Море разворотило фальшборт от мостика до шпиля, смыло тузик и в довершение всего выдавило стекло у прожектора, сильно порезав осколками сигнальщика Сажина.

Когда рассвело, мы увидели изуродованный катер и злобную тускло-серую воду.

Захлебываясь сиреной, к нам подходил ледокол «Трувор». Колосков был мрачнее моря. (Если бы только можно было дохромать до порта самим!) Отвернувшись от «Трувора», он велел готовить буксир.

На рассвете был поднят на ноги весь отряд. Не дожидаясь нашего возвращения в порт, комбриг выслал в море шесть катеров. Пешие и конные дозоры направились вслед за шхуной на юг, осматривая каждую бухту.

В тот день, сменив гребной вал и винт, мы снова вышли в море. Шторм утих, горизонт был чист. Никто из рыбаков на сто миль к югу от Соболиного мыса не видел огней гибнущей шхуны.

Только на четвертые сутки стало известно о судьбе «Кобе-Мару». И вот что случилось с Косицыным.

II

— Товарищ командир! — крикнул Косицын.

Никто не ответил. Корпус шхуны гудел от ударов. На палубе, сливаясь с морем, шипела вода.

Он сложил руки рупором и крикнул еще раз в темноту, где вспыхивали на ветру гребни волн:

— Товарищ команди-ир!

Он был один на мокрой палубе, освещенной только белизной пены. Желание услышать товарищей, увидеть хотя бы издали силуэт пограничного катера охватило его с удвоенной силой. Косицын продолжал кричать, поворачиваясь в разные стороны, так как потерял всякую ориентировку. Временами он делал паузы, чтобы перевести дыхание и прислушаться, но бесконечный, низкий рев моря глушил посторонние звуки.

Внезапная вспышка света заставила Косицына обернуться. Справа по носу шхуны прыгал с волны на волну прожекторный луч. Свет был на излете. Далекий, ослабленный водяной пылью, носившейся в воздухе, он терпеливо нащупывал шхуну. И Косицыну, несмотря на холод и мокрый бушлат, сразу стало веселей и теплей. Широко море, а не пропадешь!

Он вернулся к штурвалу и попытался поставить шхуну носом к волне. Это не удалось. Лишенная хода, «Кобе-Мару» рыскала из стороны в сторону, подставляя ударам борта.

Между тем расстояние увеличивалось. Гребни стали беспокойней, острей. Прожектор захватывал только

концы мачт. Видимо, «Смелый» не мог осилить волну. Сузив глаза, озябший Косицын силился разобрать сигнальные вспышки, мигавшие на клотике «Смелого». Они были отрывочны, почти бессвязны.

«...Исправим... пойдем вами... зажгите бортовые... кливер... крайнем случае... берег».

— Есть так держать! — ответил по привычке Косицын, и снова в море стало темно.

Шхуна мчалась, не слушая руля, без бортовых огней, вздрагивая и раскачиваясь, точно пьяная.

Она неслась мимо мыса Шипунского, окаймленного полосой бурунов, мимо отвесной скалы с маяком, бросавшим в море короткие вспышки, мимо ворот в бухту, где находился отряд,— все дальше и дальше на юг.

Косицын снял бортовые фонари и попытался зажечь их, прикрывая бушлатом. Вода барабанила по спине, спички гасли от ветра и брызг. В конце концов ему удалось зажечь фитилек, но волна неожиданно ударила сбоку, залила масленку и выбила коробок. С тяжелым сердцем он повесил на место темные фонари.

Приближался рассвет. Волны продолжали толпиться вокруг беспомощной шхуны.

Косицын то и дело бегал к борту. Он никак не мог привыкнуть к морским ухабам и каждый раз, возвращаясь к штурвалу с бледным лицом и затуманенными глазами, твердил про себя: «Довольно! Черт! Ну, хватит, я говорю!»

И снова, держась за леер, склонялся над морем. Когда рассвело, он взял ведерко и смыл с дубовой решетки следы своей слабости. К счастью, палуба была пуста.

Вместе со светом к Косицыну постепенно возвращалась решительность. Надо было как-то действовать, распоряжаться беспомощной шхуной.

Он расстегнул кобуру, осторожно поднял подпорку-весло и жестами пригласил на палубу шкипера. Из осторожности он сразу захлопнул и укрепил дверцу в кубрик.

— Аната! — сказал он как можно тверже.— Надо мотор запустить, слышь, аната!

— Кому надо? Нам не надо.

Шкипер даже не глядел на бойца. Стоял почесываясь и зевая. Это возмутило Косицына.

— Пререкания? Я приказываю!

— Осен приятно... Я отказываю.

Машина была испорчена мотористом еще вчера. Косицын взглянул на фок-мачту, на темный жгут скатанной парусины, подумал и вынул наган.

— Чито? — спросил быстро синдо.— Чито вы хотите?

— Это дело мое. А ну, ставь кливер.

Они посмотрели друг другу в глаза, потом синдо повернулся и не спеша пошел к мачте. Косицын спрятал наган.

По правому борту, сливаясь с горизонтом, тянулась низкая полоса тумана. Изредка долетали дальние пушечные залпы прибоя. Как всегда на мелких местах, накат был огромен.

— «Разобьет,— определил Косицын.— Обязательно разобьет!» Однако, как только кливер вырвался вправо и «Кобе-Мару» стала послушной рулю, Косицын решительно направил шхуну в туман.

Он так озяб, истосковался по твердой земле, что рад был сесть на камни, на мель, черту на спину, лишь бы спина эта была твердой. К тому же с рассветом увеличился риск встретить какую-нибудь японскую шхуну.

Шкипер отвел шкот к корме и сел на фальшборт напротив Косицына. Он был сильно встревожен: вертел шеей, прислушивался к шуму прибоя, даже снял платок, прикрывавший уши от ветра. Наконец, он не выдержал и заметил:

— Наверно, это опасно.

Косицын не ответил. Туман разорвало. Стали видны высокий накат, и берег, и темная зелень сопок. Сильно накренившись, шхуна шла прямо на камни.

— Благорозуйность — оружие храбрых,— сказал шкипер отрывисто.— Как это? Худой мир лучше доброго сора? Вы есть храбры... Мы тоже довольно сильны...— Он помедлил.— Хоцице имец... как это... магарыч?

— Магарыч? Не понимаю... Я по-японски не обучен...

— Кажется, я говору вам по-росскэ?

— А мне не кажется. Слова русские, смысл японский.

— Мы спустим шлюпку,— сказал быстро синдо.— Хорсо? В иенах береце?

Косицын глядел поверх шляпы синдо на сопку, думая о своем. Земля была близко, а саженные буруны на камнях еще ближе. Жалко, мал ход. Развернет к берегу лагом, обязательно развернет. «Ну, держись!» — сказал он себе самому.

Всем сердцем он почуял близкий конец и, как часто бывает с людьми простодушными и отважными, разом захмелел от опасности, от сознания своей дерзкой, отчаянной силы.

— Давай! — крикнул он шкиперу.— Давай золото, давай все!

Ответа он не расслышал — набежала и оглушила волна,— но понял, что шкипер спросил: «Сколько?»

— Мильон! — крикнул Косицын, навалясь на штурвал.— Все будет наше!

Шкипер глянул в молодое, ожесточенное лицо рулевого и разом ослабил шкот.

— Ну-у?! — спросил грозно Косицын, и кливер снова рванулся вперед.

— Не надо, Иван! — крикнул синдо.

— Знаю! Отстань!

Шкипер подбежал к дверце, выбил весло. Из кубрика хлынули на палубу и загалдели японцы. «Кобе-Мару» несло прямо на сопку — темно-зеленую, курчавую, точно барашек.

Бросили якорь, но шхуну уже развернуло к берегу лагом и било днищем о камни. Через борт, ревя галькой, смывая людей, шла вода...

III

То был Птичий остров — невысокая груда песку и камней среди хмурой воды. Косицын понял это, едва солнце разогнало туман и за проливом встали пестрые горы материка.

С вершины сопки было видно все: берег, оторoченный шумной волной, полоса гальки и водорослей, шесты с мокрым бельем, даже ракушки на дне перевернутой «Кобе-Мару». Широко и вольно дышало море,

облизывая мертвую шхуну, а на пологих валах еще сверкали жирные пятна нефти и качались циновки.

Внизу дымился костер. Семь полуголых японцев сидели возле котла, по очереди поддевая лапшу, и косились на сопку.

Косицын снял все, кроме трусов и нагана. Здесь он чувствовал себя куда крепче, чем в море, хотя царапины на плече еще сильно саднило, а во рту было горько от соли. Все-таки земля. Горячая, твердая! Обдуваемый ветром, он спокойно поглядывал то на пленников, то на море.

Остров был свой, знакомый по прежним походам. Здесь иногда проводили стрельбы, рвали черемшу, собирали в бескозырки яйца чаек. Пусть шушукаются у котла! Шхуна разбита, на шлюпке далеко не уйдешь.

Стойкий запах травы и теплый воздух, струившийся над камнями, вызывали сонливость. Чтобы не задремать, Косицын ущипнул себя за руку и, надев еще сыроватый бушлат, решил обойти весь остров по берегу.

Плохая затея! Едва ноги его коснулись песка, как все мускулы заныли, ослабли, запросили пощады. Утомленный качкой, Косицын готов был растянуться у подножия сопки. Как? Лечь? Он наградил себя жестоким щипком и, с трудом вытаскивая ноги, направился дальше.

То был остров без ручьев, без деревьев, без тени, заросший жесткой, курчавой травой. И жили здесь только птицы. Черные жирные топорки отрывались от воды и, с трудом пролетев сотню метров, ныряли прямо в дыры, пробитые в склоне горы. Зато чайки носились высоко, покачиваясь на упругих крыльях, смело дрались в воздухе и только изредка опускались на самые высокие скалы.

Весь восточный берег был завален влажным мусором. Косицын разглядывал его с любопытством, по-крестьянски жалея неприкаянное морское добро. Были тут измятые ржавые бочки, стеклянные шары наплавов в веревочных сетках, бутыли, бамбук, обрывки сетей, циновки, багровые клешни крабов, водоросли с темными луковицами на конце каждой плети, куски весел, канаты, ветхие позвонки и ребра китов, пемза,

доски с названиями кораблей и еще никого не спасшие пояса, шершавые звезды, медузы, тающие среди водорослей, точно куски позднего льда, истлевшая парусина чехлов — все мертвое, влажное, покрытое кристаллами соли.

Выше этого кладбища белели просторные залежи сухого плавника. Это навело Косицына на мысль о костре, высоком, дымном сигнале-костре, который был бы виден с моря и ночью и днем. Но когда он подошел к японцам и потребовал перенести сучья с берега на гребень горы, никто не шелохнулся. Шкипер не захотел даже поделиться спичками.

— Скоси мо вакаримасен,— сказал он смеясь.

Семь рыбаков с присвистом и чмоканьем глотали лапшу. Они успели снять со шхуны и припрятать под водорослями два мешка риса, ящик с лапшой и целую бочку с квашеной редькой и теперь иронически поглядывали на голодного краснофлотца.

— Не понимау,— перевел любезно синдо.

Косицын помрачнел. Он мог сидеть без воды, без хлеба, потому что это касалось лично его. Но спички... Костер должен гореть. И он спросил, сузив глаза, очень тихо:

— Опять р-разговорчики? Ну?

Только тогда улыбки погасли, и шкипер кинул бойцу жестяной коробок.

Что делать с «рыбаками» дальше, Косицын не представлял. Он прожил всего двадцать два года, знал мотор, разбирался в компасе, но еще ни разу не попадал на остров вместе с японцами.

Впрочем, он задумался ненадолго. Природная крестьянская обстоятельность и смекалка подсказали ему верную мысль — сразу взять быка за рога. В чистой форменке и бушлате, застегнутом на все пуговицы, он чувствовал себя единственным хозяином земли, на которой бесцеремонно расселись и чавкали подозрительные «рыбаки». Надо было с первого раза поставить японцев на место. Тем более что большая земля лежала всего в двух милях от острова.

Поставить... Но как? Он вспомнил неторопливую речь и манеру боцмана выступать на собраниях (одна рука позади, другая за бортом кителя), приосанился и сурово сказал:

— Эй, старшой! Разъясните команде мою установку. Вы теперь на положении острова. Это во-первых... Земли тут немного, да вся наша, советская. Это во-вторых. Значит, и порядки будут такие же. Самовольно не отлучаться, озорства не устраивать, во всем соблюдать сознательность, ну и порядок. Ежели что — буду карать по всей строгости на правах коменданта... Вопросы будут?

— Будут,— сказал быстро синдо.— Вы комендант? Хорсо. Тогда распорядитесь кормиць нас продовольствием. Во-первых, рисовая кася, во-вторых, риба, в-третьих, ко́мпот. А?

Он торжествующе взглянул на Косицына и вслед за ним, не переставая жевать, на краснофлотца уставилась вся команда.

Комендант долго думал, подбирая ответ.

— Рисовой каши не обещаю,— сказал он серьезно,— с рыбой придется обождать... А вот компот вам будет. Обязательно будет. И в двойной порции! Понятно?

Никто не ответил. Боцман, толстяк в панаме и синей шанхайской спецовке, облизывал пальцы, с любопытством поглядывая на коменданта.

— А теперь учтем личный состав.

Тут комендант вынул карандашик и книжку и спросил боцмана, сидевшего крайним:

— Ваша фамилия?

Он спросил очень вежливо, но боцман только хихикнул. За толстяка неожиданно ответил синдо:

— Пожариста... Это господин икс.

— Ваша?

— Пожариста... Господин игрек.

Раздались смешки. Игра понравилась всем, кроме коменданта.

— Отставить! — сказал Косицын спокойно.— Эта азбука нам известна.

Он подумал и, старательно оглядев «рыбаков», стал отмечать в книжке приметы: «Икс — вроде борова, фуфайка в полоску... Игрек — в шляпе, конопатый, косой...» На шкипера примет не хватило, и Косицын записал коротко: «Жаба».

...Плавник пришлось собирать самому. Девять раз Косицын спускался на берег и девять раз приносил на

вершину сопки охапки вымытых морем, голых, как рога, сучьев.

Он тотчас разжег костер, но плавник был тонкий, сухой. Пламя быстро обгладывало ветки, почти не давая дыма. Тогда он принес с берега несколько охапок мокрых водорослей, и вскоре над островом заклубился бурый дым.

В каменной выемке на вершине горы Косицын нашел лужу с дождевой теплой водой, напился и даже вымыл чехол бескозырки. Затем он стал шарить в карманах, надеясь найти что-либо съедобное. Закуска оказалась жестковатой: перочинный нож... пуговица... ружейная гильза Все это было облеплено клочками бумаги и липкой красновато-коричневой массой. Косицын вспомнил, что накануне положил в бушлат два ломтя хлеба с кетовой икрой (известно, что с полным трюмом легче выдержать качку).

Он извлек несколько пригоршней соленого месива и медленно съел, запивая водой из лужи. Поблизости от костра комендант отыскал гнезда чаек. В каждом из них лежало по три голубоватых теплых яйца. Он выпил десяток. Чайки носились вокруг, норовя клюнуть в бескозырку Косицына.

После завтрака к нему вернулась сонливость. Солнце светило так ровно, так мягко, что веки смыкались сами собой. Комендант стал разглядывать горизонт. Но море, отдыхая после шторма, сияло голубизной, переливаясь, мерцало, ослепляя глаза. Тогда, чтобы не поддаться соблазну, он решил привести в порядок «командную точку». Очистив площадку от крупных камней, он уложил их полукруглым барьером, сделал что-то вроде скамьи и протоптал на восточном склоне дорожку к залежам плавника.

Вечером комендант спустился к японцам. На этот раз «рыбаки» были заняты странной игрой. Обступив бесстрастного шкипера, они поочередно тянули у него из кулака соломинки. Самая длинная досталась боцману. Увидев Косицына, он отошел в сторону и стал чистить щеточкой ногти.

— Мы выбрали повара,— пояснил шкипер любезно.— Этот человек сварит кашу сегодня.

Косицын оглядел жеребьевщиков. Крепкие парни стояли полукругом, бормотали и кланялись с подчерк-

нутым дружелюбием. Маленький радист даже козырнул коменданту. Боцман спохватился, отвел глаза и медленно растянул щучий рот.

— Невеселый какой повар,— заметил Косицын.— Наверно, обжечься боится.

Было ясно — готовят какую-то пакость. Какую — Косицын не мог догадаться. В раздумье он обошел лагерь японцев. Циновки, котел, бочка, резиновые сапоги — все было как утром. Только шлюпка лежала значительно ближе к воде. Прибой? А к чему обмотано бечевой треснувшее весло? Комендант знал десятка два слов, но, вслушиваясь в легкое стрекотанье японцев, похожее на скороговорку, мог уловить только знакомое «со-дес». Уж не собрались ли?..

Подумав, он выдернул из песка оба весла, на которых сушилось белье, и пошел с ними в гору.

Повар забежал вперед и тревожно спросил:

— Эй, Иван, зачем брал?

— Укоротить надо. Велика больно ложка,— ответил сурово Косицын, положа руку на кобуру...

IV

Наступила ночь, просторная, звездная. Костер на вершине сопки стал гаснуть, и шкипер отдал приказ выступать.

Как удалось выяснить позже, «рыбаки» утаили при обыске два ножа и плоский штык, который боцман умудрился спрятать в брюхе трески. Сначала было решено оружие в ход не пускать, ждать полицейскую шхуну, принявшую вчера сигналы «Кобе-Мару». Потом двое «рыбаков» (больше тузик не брал) взялись добраться до ближайшего острова Курильской гряды и вызвать подмогу. Но весла были на сопке у коменданта. Оставалось ждать, когда на помощь оружию придет сон.

И сон пришел. Было видно, как бледнеет, никнет в траву голодный огонь. Вскоре перестал шевелиться и комендант.

Чтобы не шуметь, японцы оставили на песке гета и резиновые сапоги. Верные постоянной тактике охва-

та, они разбились на две группы и осторожно поднялись на сопку. Боцман, вытянувший накануне соломинку, должен был кинуться первым.

Костер погас. Комендант спал. На фоне звездного неба чернела сутулая спина коменданта. Бескозырка съехала на нос, и голова клонилась к коленям.

Боцман кинулся к спящему и, торопясь, ударил в спину ножом. Раз! Два! Он опрокинул Косицына в траву, а набежавшие из темноты «рыбаки» стали в ярости топтать коменданта.

Шкипер опомнился первым.

— Са-а! — крикнул он.

Вслед за ним вскочили другие.

И тогда «рыбаки» услышали знакомый сипловатый голос Косицына.

— Ну чего «а-а»? — спросил он неторопливо.— Убили сонного... Рады?

Он вышел из-за кустов и, сорвав бушлат с чучела, кинул болванку на угли. Вспыхнул ком водорослей, и разом стали видны невеселые лица японцев.

— Дай сюда нож,— сказал Косицын убийце.— Тоже кашевар навязался.

Он хотел сказать еще что-нибудь похлеще про самурайскую подлость, но сразу не мог подобрать нужное слово, а когда подобрал, по склону, вслед за японцами, уже сыпались камни.

Комендант расправил бушлат и вздохнул. Сукно было совсем свежее, первого года носки. Тем страшнее зияли на фоне огня две дыры.

— Какой бушлат загубил! — сказал с сердцем Косицын.— Чертов икс, насекомое вредное!

Ругаться он совсем не умел.

...Всю ночь Косицын провел в мокрой траве, изредка поднимаясь, чтобы подбросить в огонь плавника. И это было мукой — чувствовать теплоту пламени, слышать прибой, мерный, как дыхание спящего, и не заснуть самому.

К утру рука коменданта посинела от крепких щипков. Он обтерся до пояса ледяной водой и снова принялся за работу. У него хватило сил запастись хворостом, вымыть тельняшку и даже почистить кусочком пемзы пряжку и потемневшие пуговицы. Он был ко-

мендантом, хозяином Птичьего острова, и каждый раз, проходя мимо молчаливой, враждебной кучки японцев, с усилием поднимал веки и старался ставить ногу твердо на каблук.

А песок был ласков, горяч. Сухие пружинистые водоросли цеплялись за ноги, звали лечь. И так настойчив был этот призыв, что Косицын стал обходить стороной опасное место, выбирая нарочно большие неровные камни.

В обед он снова отправился за яйцами. На этот раз все гнезда были пусты. Зато на песке возле «рыбаков» лежала целая груда яиц.

Такое нахальство возмутило Косицына. Он направился к соседям с твердым намерением устроить дележку. Но едва поравнялся с циновками, как два «рыбака» прыгнули прямо в кучу яиц. Охваченные мстительной радостью, они принялись отплясывать нелепый воинственный танец среди скорлупы.

Отогнать? Пугнуть для порядка? Как ни голоден был комендант, он не хотел пускать в ход наган.

Косицын просто не заметил двух плясунов. Он развернул плечи и прошел мимо неторопливой походкой только что пообедавшего человека. При этом он даже отдувался и ковырял спичкой в зубах.

Вероятно, хитрость голодного человека была очень заметна, потому что синдо усмехнулся. Это рассердило Косицына. Он замедлил шаг и сказал шкиперу по-хозяйски увесисто:

— Повар ваш по чужим кастрюлям горазд... Боюсь, свинцовым горохом подавится.

...Голод снова привел его на птичий базар. Скинув бушлат, Косицын стал шарить в норах, выбитых птицами в песчаном откосе. У топорков были железные клювы. Они защищались отчаянно. Косицын свернул головы двум топоркам и зажарил птиц на углях. Темное мясо горчило и пахло рыбой.

Что было дальше, он помнил плохо. С раскрытыми глазами комендант сидел у костра. Он ничего не видел, кроме огня и японцев, шевелившихся на песке. Скалы плыли, двоились, волны почему-то набегали на траву, солнце гудело, точно большая паяльная лампа. Чайки монотонно кричали «зря... зря...»

V

Был славный штилевой вечер, когда Косицын спустился с горы и сел напротив японцев. Утомленный непрерывной тревогой, комендант хотел смотреть врагам прямо в глаза.

— Ложись спать, аната,— сказал он устало.— Ложись спать, слышишь, чайки играют отбой.

Странное дело, никто из «рыбаков» не пытался возражать коменданту, точно вся команда молчаливо признала сопротивление бесполезным. Спать так спать!

Солнце погрузилось в тихую светлую воду. Утка спрятала голову под крыло. Дым над островом стоял на тонкой ноге, упираясь кроной в зеленое небо. В тишине было слышно, как гулькают волны, выбегая на отлогий песок.

Семь «рыбаков» ложились на циновки, потягивались, вкусно зевая. Стоило одному из них открыть рот, как зевота, обежав всю команду, поражала Косицына. Вскоре это было замечено, и японцы принялись откровенно поддразнивать коменданта. То один, то другой кривил спазмой рот, изображая крайнюю степень усталости. Со всех сторон неслись глубокие блаженные вздохи, похрустывание расправляемых связок, чмоканье, кряхтенье, сонное бормотанье — темная музыка сна, способная свалить даже свежего человека.

Чтобы стряхнуть дремоту, Косицын спустился к берегу и, став на колени, погрузил лицо в темную воду.

Стало немного легче. Он смочил бескозырку и нахлобучил на голову. Только бы просидеть до утра. А там... Должен же «Смелый» заметить огонь.

Он снова вернулся к японцам. Кажется, они теперь спали по-настоящему, без нарочитого храпа и вздохов. Косицын еще раз пересчитал «рыбаков». Семь японцев лежали полукругом — головами к сопке, ногами к костру. Огонь и тот задремал: угли уже подернуло сединой.

Холодная вода стекала с лент бескозырки за шиворот. Комендант даже не шевелился. Пусть, так лучше. Рука от щипков онемела, а капли все-таки гнали сон.

Вскрикнула птица. Повис, нудно заныл над ухом комар. Ниже, ниже... Звенит, переливается, тянет... Скорее бы рассвет, ветер, птичий базар. На свету както меньше слипаются веки. Он отмахнулся от комара. Медлит, сверлит... Хоть бы ужалил... Нудьга! Не комар — провод в степи... Откуда степь? Ерунда... Ветер? Нет, песня... Странная песня.

Он смотрел на угли, стараясь понять, человек то поет или просто гудит усталая голова. А сквозь сонный плеск моря заметно пробивалась песенка — грустная и простая.

То была песня-петля, песня-удавка. Прозрачная, безобидная, цепкая, она незаметно обволакивала тело и усталую волю бойца.

Он вскочил, отошел в сторону. Песня догнала его, пошла рядом, обняла за шею прозрачной рукой.

Душит, гнет, качает, баюкает... Что за черт! Кружатся звезды, качается берег, точно палуба. Ерунда! А быть может, почудилось?

Зябко стало коменданту. Он пошел быстрее, почти побежал. Песня смолкла, отстала...

Из темноты навстречу взметнулась скала. С разбегу привалился он к мокрому камню. Кровь сильно токала в царапину на плече. Промыть бы соленой водой... Завтра лекпом наложит повязку по форме...

Снова Косицын почувствовал вкрадчивое прикосновение песни. Она выползла откуда-то из темноты, из сырых водорослей, из камней, обняла и закрыла ладонью глаза.

Опускаясь на корточки, он твердил сквозь зубы себе самому:

— Я не хочу спать... Я не хочу спать... Не хочу.

Но песня была сильнее. Она сомкнула веки бойца, пригнула к коленям горячую голову. Спать! Спать! Все равно...

Он выпрямился, глянул с отчаянием в темноту. Коменданту почудилось, что на камне, напротив скалы, сидит шкипер. Руки синдо — локтями в колени, подбородок — в ладони. Лицо неподвижно, а под ресницами настороженно тлеют глаза. Вот оно что — песня сочится сквозь зубы.

И вдруг комендант понял: вяжут сонного! Еще минута — и песня шаг за шагом уведет его в темноту... Сволочи! Как быка!

Он рванулся, крикнул что было сил:

— Врешь! Не выйдет... Молчи!

И песня оборвалась. Стал слышен ленивый плеск моря.

— Хорсо,— сказал шкипер.— Я буду не петь.— Он оплел руками колени и добавил, мечтательно сузив глаза: — Извинице... я думал делать приятность. Сибираки любят красивые песни.

— Не сибиряк я... Молчи.

— Извинице, а кто?..

Косицын, пошатываясь, отошел от опасного места. Теперь он хоть видел в лицо врага. Темный страх, вызванный песней, сменился привычным ожесточением усталого и голодного человека.

— Спрашивать буду я,— сказал мрачно Косицын.— Не в своем болоте расквакались...

Они помолчали.

— Я думаю, вы наверно, волжаник? — продолжал мечтательно синдо.— Волжанские песни тоже довольно приятны. Как это? Вы есть жив еще, моя старушек. Жив на привец тебе, привец... Наверно, так? Очень хорсо! — Шкипер подумал и сказал почти шепотом: — Признаюсь между нами, я тоже уважаю... свой добру старушек. Интересно, что̀ думает счас моя стару, моя добру матерка?

Комендант пригорюнился, подпер кулаком небритую щеку.

— Думает... Известно, что думает.

— Да? Очень интересно. Скажите, пожариста.

— «Эх, и какую хитрую шельму я родила!»

— Ах, так,— сказал шкипер отрывисто.— Хорсо. Вы знаете правило: смеется, кто сильный?

— Вот я и смеюсь.

— Кто вы? Командир? Нет. Хозяин? Нет. Просто солдат. Мы все одинаково робинзоны.

— А я полагаю, робинзонов тут нет,— сказал в раздумье Косицын,— одни жулики, а я при вас комендант. Понятно?

Он с трудом поднял голову и добавил, зевнув:

— Волжские песни не пойте. Боюсь... рыбы подохнут.

VI

Дружный крик японцев вывел коменданта из дремы. Возбужденные «рыбаки» толпились на песке возле самой воды, громко приветствуя белую шхуну. Радист, оравший громче других, сорвал желтую куртку и размахивал над головой, хотя на шхуне и без того заметили группу,— до корабля было не больше десяти кабельтовых.

Шхуна шла прямо к острову, и японцы наперебой объясняли Косицыну невеселую картину близкой расправы. Больше всех старался боцман, самолюбие которого было сильно уязвлено комендантом. Встав на цыпочки, он обвел рукой вокруг коротенькой шеи и высунул язык: «Что, дождался пенькового галстука?» Шкипер тут же любезно пояснил:

— Это нас... Это императорски корабр. Скоро вы можете совсем отдыхац, господин... комендант.

— Вижу,— сказал Косицын невесело.

Он молча вынул наган, пересчитал пальцем японцев и, заглянув в барабан, заметил в тревожном раздумье:

— Семь на семь... как раз.

С этими словами он еще раз взглянул на корабль и отвернулся от моря.

Комендант не нуждался в бинокле. То была знаменитая «Кайри-Мару», голубовато-белая, очень длинная шхуна с надстройками на самой корме, что делало ее похожей на рефрижератор. Официально шхуна принадлежала министерству земли и леса, но выполняла различные деликатные поручения, оценить которые можно только с помощью уголовного кодекса. Стоило задержать в наших водах краболова или парочку хищных шхун, как на почтительном расстоянии от катера появлялась «Кайри-Мару» и затевала длинный разговор, полный намеков и прозрачных угроз. Не раз мы встречали ее по соседству с гидропортом, новыми верфями или возле лежбищ морского бобра, и Сачков, сердясь, обещал отдать один глаз, чтобы увидеть другим «бычка на веревочке». Он горячился напрасно. Оба глаза нашего моториста были в полной сохранности, а нахальная «Кайри-Мару» третий год

бродила вдоль побережья Камчатки, перемигиваясь по ночам с заводами арендаторов.

Все было кончено. Косицын повернулся и пошел вдоль берега, стараясь определить место, к которому подойдет шлюпка с десантом.

На что он надеялся, трудно сказать. Да и сам он не мог ответить на этот вопрос. Тяжелая кобура с дружеской неловкостью похлопывала его по бедру, точно желая в последний раз ободрить бойца.

Следом за Косицыным шли «рыбаки». Им надоело ждать, когда комендант свалится сам. А вид «Кайри-Мару» и шипение шкипера подогревали решимость покончить с Косицыным прежде, чем шхуна выбросит на берег десант.

Если бы на месте коменданта был Сачков или Гуторов, развязка наступила бы гораздо скорее: трудно сохранить патроны (и свою голову), когда палец так и тянется к спусковому крючку. Но Косицын был слишком нетороплив, чтобы ускорять события.

Он прибавил шаг, но и «рыбаки» зашагали напористей. Упрямые, легкие на ногу, они не произносили ни слова. Был слышен только быстрый скрип гальки да крики чаек, провожавших людей.

В молчании пересекли они ломкий плавниковый навал, перелезли через грядку камней и, спустившись вслед за Косицыным к морю, пошли по мокрой, твердой кромке песка.

Он обернулся и устало сказал:

— Эй, аната! Мне провожатых не надо.

Шкипер со свистом вобрал воздух, ответил учтиво:

— Прощальная прогулка, господин комендант!

Они пошли дальше. Это была странная прогулка. Впереди рослый, чуть сутулый краснофлотец с угрюмым и сонным лицом, за ним семь нахрапистых, обозленных «рыбаков» в костюмах из синей дабы и пестрых фуфайках. Когда шел комендант — шли «рыбаки», когда комендант останавливался — делали стойку японцы.

Так они обогнули остров и вышли на северо-западный берег — единственно удобное для высадки место. Маленькая бухта, которую пограничники окрестили впоследствии бухтой Косицына, изгибается здесь в ви-



де подковы с высоко поднятыми краями, которые отлично защищают воду от ветра.

Тут Косицын заметил впереди себя две длинные тени. Радист и боцман, забежав вперед, стали на пути коменданта. Остальные зашли с левого фланга, и все вместе образовали мешок, открытый в сторону моря.

«Рыбаки» наступали полукругом. Позади них, на голой вершине, еще шевелился огонь. Дым стоял точно дерево с толстым стволом, и его широкая крона бросала тень на песок.

Шкипер крикнул что-то по-своему, коротко. И на этот раз Косицын сразу понял: смерть будет трудной. В руках радиста был гаечный ключ, боцман размахивал румпелем, остальные держали наготове сучья и голыши.

Стрелять на близкой дистанции было неловко. Комендант попятился в воду и поднял наган. Странное дело, Косицын почувствовал облегчение. Настороженность, тревога, не покидавшие его трое суток, исчезли. Пропала даже сонливость...

Он стоял твердо, видел ясно: злость и страх боролись в японцах. Боцман шел сбычившись, глядя в воду. Шкипер закрыл глаза. Радист двигался боком. Все они трусили, потому что право выбора принадлежало коменданту. До первого выстрела он был сильней каждого, сильней всех... и все-таки они двигались...

Семь на семь. Ну что ж!

— Чего жмешься! — крикнул он боцману.— Гляди прямо. Гляди на меня!

Он стал тверже на скользких камнях и выстрелил в крайнего. Боцман упал. Остальные рванулись вперед. Два голыша разом ударили коменданта в локоть и в грудь, сбив верный прицел.

— А ну! Кто еще?

Целясь в синдо, он ждал удара, прыжка. Но «рыбаки» неожиданно замерли. Один шкипер, серый от злости и страха, весь сжавшись, зажмурившись, еще подвигался вперед.

В море выла сирена...

Вытянув шеи, «рыбаки» смотрели через голову коменданта на шхуну, и лица их скучнели с каждой секундой. Кто-то швырнул в воду камень. «Са-а»,— ска-

зал оторопело радист. Синдо осторожно открыл один глаз, зашипел и разжал кулаки.

Косицын не мог обернуться: «рыбаки» были в двух шагах от него. Он смотрел на японцев, силясь угадать, что случилось на шхуне, и понял только одно: терять время нельзя.

Он поправил бескозырку, опустил наган и пошел из воды на противника.

Радист попятился первым, за ним остальные. «Рыбаки» отходили от моря все быстрей и быстрей. Потом побежали.

На берегу комендант обернулся. «Кайри-Мару» шла под конвоем пограничного катера, закрытого прежде высоким бортом,— теперь шхуна медленно разворачивалась, открывая маленький серый катер, и зеленый флаг, и краснофлотцев, уже прыгавших в шлюпку.

...Как «Смелый» встретил «Кайри-Мару», рассказывать долго. Мы задержали ее в шести милях от Птичьего острова и сразу пошли на дымный сигнал (Сачков клялся, что на острове проснулся вулкан).

...Выскочив на берег, мы кинулись навстречу Косицыну. Но комендант, как всегда, не спешил. Славный увалень! Он хотел встретить нас по всей форме на правах коменданта Птичьего острова.

Мы видели, как он растопырил руки, приглашая японцев построиться, как переставил маленького шкипера на левый фланг и велел подобрать животы. После этого он отошел на три шага, критически осмотрел «рыбаков» и, скомандовав «смирно», направился к шлюпке.

Застегнув бушлат на все пуговицы, он степенно шел нам навстречу — отощавший, заросший медной щетиной.

Глаза коменданта были закрыты. Он спал на ходу.

1938

ОСЕЧКА

> Если небо красно к вечеру,
> Моряку бояться нечего.
> Если красно поутру,
> Моряку не по нутру.

Не верьте морским поговоркам. Из всех закатов, какие я помню, это был самый ясный, самый тихий, самый красный закат.

Всегда прикрытые дымкой хребты были на этот раз обнажены, очерчены резко и сильно. Прозрачный воздух открыл глазу дальние сопки с их гранеными вершинами и темными зарослями кедровника у подножий.

В тот вечер «Смелый» получил приказ доставить на Командорские острова жену начальника морского поста, а заодно два ящика лимонов и щипцы для клеймения котиков. Затем, как всегда бывает с теми, кто идет на острова первым рейсом, нашлись новые поручения. Нам передали зимнюю почту, сто связок лука, подвесной мотор, два патефона, икру, листовое железо, затем предложили взять глобус, корзину с цыплятами, олифу, коньяк, патроны к винчестеру, а в последнюю минуту вкатили по сходням шесть бочек кислой капусты.

Мы грузились всю ночь и легли спать в четвертом часу, когда на той стороне бухты Авачинской губы уже ясно обозначился белый конус Вилючинской сопки.

На рассвете стало свежеть, ванты загудели от ветра, и море подернуло зябкой дрожью.

Мы отдали швартовы, но дальше ворот Авачинской губы уйти не смогли. Море было злое, ярко-синее, и белые гребни дымились от ветра, крепчавшего с каждой минутой.

Славный денек! Солнце, снежные горы, пыльные смерчи на улицах, рывки тугой парусины, девчонки, сжимающие юбки коленями, в то время как ветер расплетает им косы, свист, стон деревьев, громыханье железа и ставен, чья-то рубаха, птицей взлетевшая в синюю вышину, и надо всем — нестерпимо яркое, холодное солнце.

К полудню в Петропавловской бухте стало тесно от кораблей. Пароходы возвращались в порт точно из боя — с выбитыми иллюминаторами, погнутыми трубами, сорванными надстройками и фальшбортами. Хлебнув вдоволь страха и холодной воды, они жались к пристани так, что трещали бревна, а те, что не могли найти места в ковше возле города, стояли по ту сторону сигнального мыса, накренясь на подветренный борт, и держались за дно обоими якорями.

Вечером на улицах Петропавловска фуражек с крабами и кителей с золотыми нашивками было вдвое больше, чем кепок и пиджаков. Шквал оборвал провода, в ресторане на всех столиках горели свечи, и загулявшие кочегары пили за тех, кто вернулся счастливо, и за тех, кто уже никогда не вернется: всем было известно, что шхуна «Сибирь» погибла утром со всей командой и грузом весенней сельди.

За пять суток ни один катер не вышел за ворота Авачинской бухты. Мы перебрались на берег и, пока шторм держал нас в осаде, принялись приводить свое хозяйство в порядок. Нужно было сменить дубовые решетки, высушить и залатать парусину, подновить шаровой краской потускневшие в походах борта.

Кроме того, у каждого из нас нашлись личные береговые дела. Боцман и я готовились уйти за гуранами в сопки, кок — писать под копирку письма на материк. Сачков снова извлек на свет штаны Пифагора, а Колосков, шестой месяц изучавший японский язык, погрузился в дебри учтивых частиц и глаголов.

Каждое утро он садился за стол и, положив на учебник ладони, твердил вслух, как школяр:

— Каша — мамма, берег — кайган, кожа — кава, собака — ину, ка-ки-ку-кэ-ко... На-ни-ну-нэ-но... Га-ги-гу-гэ-го!

Колосков был упрям и клялся, что заговорит по-японски до первого снега. Больше того, он убедил боц-

мана и меня заниматься ежедневно по часу перед отбоем.

— Ка-ки-ку-кэ-ко! — говорил он, стуча мелком по доске.— Олещук, не зевайте! Вся штука в учтивых приставках. Мерзавец будет почтенный мерзавец... Шпион — господин почтенный шпион...

Он вкладывал в уроки всю душу, но ни боцман, ни я не могли уяснить, почему «простудиться» означает «надуться ветром», а «сесть» — «повесить почтенную поясницу».

Я сам встречал фразы длиной метров по сто и такие закрученные, что без компаса просто выбраться невозможно. По-русски, например, сказать очень легко: «Я старше брата на два года», а по-японски это будет звучать так: «Что касается меня, то, опираясь на своего почтенного брата, я две штуки вверх».

Сначала дело не клеилось: легче нажать спусковой крючок, чем приставить к слову «бандит» частицу «почтенный». Но мы были терпеливы и уже к пятому уроку вместо понятного на всех языках: «Стоп! Открою огонь!» — могли сказать нараспев, по-токийски гундося: «О почтенный нарушитель! Что касается вас, то, опираясь на господин пулемет, прошу остановиться или принять почтенную пулю».

Мы не жалели учтивых частиц и вставляли их после каждого слова, потому что вежливость в разговоре никогда не вредит... Нам с боцманом трудно судить об успехах, однако Колосков всерьез уверял: если говорить скороговоркой и держаться не ближе двух миль, наш язык вполне сойдет за японский.

...Шестой урок не состоялся. Ветер упал так внезапно, точно у Курильских островов закрыли вьюшкой трубу. Сразу выпрямились деревья, закричали скворцы, высоко вскинулся дым, и корабли один за другим стали выходить из Авачинской бухты навстречу все еще крупной волне.

...Через два часа мы уже подходили к мысу Шипунскому — черной каменистой гряде, отороченной высокими бурунами. Когда-то здесь спускалось в море несколько горных отрогов, но ветер и волны разрушили камень; теперь по обе стороны мыса торчат только острые плавники, точно на мель села с разбегу стая касаток.

В свежую погоду у Шипунского мыса ходить скучно: всюду толчея, плеск, взрывы, шипенье воды. То справа, то слева по носу открываются жернова, готовые размолоть в щепы любую посудину — от катера до линкора. В таких случаях не успеешь крикнуть «полундра», как сам катер бросается в сторону.

Зато в штилевую погоду более интересное место трудно найти. Здесь, между камнями, видишь, как море дышит, тихо перекладывая рыжие борозды на камнях. Я знаю грот, выбитый морем в толще базальта, низкий и темный, куда с трудом войдет тузик. Солнце, прорвавшись сквозь трещину купола, входит в воду зеленым столбом до самого дна. Вода вокруг кажется черной и мертвой, но стоит не шевелясь посидеть минут пять, как начинаешь кое-что различать.

Киль лодки висит над тайгой... Есть тут широкие волнистые плети морской капусты, пушистые ветви, похожие на рога изюбра весной, огненные нити, нежные, бледно-зеленые шары — точная копия омелы, дубовые листья, тонкие плети с луковицами величиной с кулак, есть кусты, похожие на жимолость, терн, ольшаник, даже на сосну с разбухшими желтыми иглами. Есть пади и тропы, усеянные песком и камнями, по которым крадучись движутся обитатели океанской тайги...

Шипунский мыс — заповедное место. Здесь, на обкатанных морем камнях, живут две-три тысячи сивучей — остатки огромного стада морских львов, населявших когда-то побережье Камчатки. Вот уже шесть лет, как охота на сивучей запрещена, но звери никак не могут забыть об опасности и встречают людей испуганным ревом.

...Море было голубое, маслянисто-спокойное, когда мы на малых оборотах подошли к одному из камней-островков.

В десяти метрах от нас на вершине замшелой глыбы спал сивуч — судя по величине, вожак всего стада. Он был так стар, что шкура приняла цвет сухих водорослей — рыжевато-седой. Сквозь редкую шерсть виднелись складки могучего, жирного тела.

Старый сивуч лежал на боку, закрыв морду огромным ластом. Закапанные чайками бока его мерно вздымались. Мы подошли так близко, что видели во-

сковой светлый шрам на плече и открытые ветру широкие ноздри и черные иглы усов.

Вода долетала до вершины камня, где лежал старый сивуч. Брызги ложились на шкуру; вокруг зверя, шипя, бежали ручьи. Он спал на голом камне, слишком уверенный в своей силе, чтобы быть осторожным, и одеялом ему служила легкая мгла.

Возле старика лежали два вахтенных сивуча — молодые и гибкие, точно смазанные маслом от ластов до кончиков носа. Они тоже спали, сунув морды друг другу под мышки. Над ними орали чайки, вода, попадая в расщелины, взрывалась с пушечным гулом, а сивучи даже не шевелились. Можно было подойти и взять их голыми руками, сонных, обсохших на ветру.

Разбудила их не морская канонада, а непривычный уху тихий рокот мотора. Оба они проснулись разом и, подскакивая на упругих ластах, кинулись к вожаку. Они взвыли старику прямо в уши. И надо было видеть, какой оплеухой наградил старый сивуч ротозея-вахтенного.

Он поднялся над скалой, ворочая шеей, раздраженный, испуганный, но в то же время полный достоинства,— то был настоящий хозяин Шипунского мыса, великан с морщинистой грудью, толстой шеей и старческими глазами навыкате.

Переступая с ласта на ласт, разинув пасть, он взвыл на весь океан от гнева и страха. Кошачья круглая голова, жесткие усы и длинная грива делали его похожим на льва.

У старика была октава громового оттенка. И, странное дело, голос его не прерывался, не слабел, а, наоборот, крепчал с каждой секундой. Вероятно, то было эхо, но мне показалось, что вслед за сивучом начинают звучать скалы, темная вода, туман, закрывающий берег,— точно сами камни поднимают против пришельцев свой угрюмый голос.

Такие концерты слышишь в жизни не часто. Трубач стоял над нами, вскинув голову, и ревел, ревел, ревел так, точно надеялся одним рычаньем разрушить наш катер.

Я так заслушался, что едва не поставил «Смелый» лагом к волне. Скалы зашевелились. Массивные тем-

ные глыбы срывались с вершин и беззвучно, почти без брызг, падали в море. То, что издали мы принимали за камни, оказалось сивучами. Сильно работая ластами, они сновали под водой во всех направлениях, иногда проходя даже под килем. Самые отважные из них обгоняли катер и, высунув длинные гибкие шеи, увенчанные кошачьими головами, смело разглядывали бойцов, стоявших на палубе.

— Вот это школа! — сказал кок восхищенно.— Ласточкой, без трамплина!

Он сбегал в кубрик и, вытащив «томп», стал прилаживать к треножнику камеру. Но было уже поздно. Шипунский мыс вместе с полосой бурунов и лохматыми островками отодвинулся в сторону, сивучиные головы превратились в черные вешки, чуть заметные среди полуденных бликов, и только густое дрожание гитарной струны — затихающий рев морских львов — напоминало нам о недавнем зверином аврале.

Рейс был спокойный. Без приключений, среди полного штиля мы дошли до острова Медного и, передав на берег пассажирку и груз, в тот же день повернули обратно.

На этот раз все побережье к югу от залива Кроноцкого было закрыто туманом. Он медленно сползал в море через черные проходы и, сливаясь с морем, образовывал сплошную завесу от трех до пяти миль шириной, над которой поднимались характерные черно-белые сопки восточного побережья.

В пять утра, двигаясь вдоль кромки тумана, «Смелый» снова поравнялся с мысом Шипунским. И тут мы услышали тугой, очень гулкий удар, умноженный эхом.

— Вероятно, скала оборвалась,— сказал Колосков,— они тут всегда обрываются.

Он перевел телеграф на «тихий», буруны за кормой погасли, и Сачков сразу высунулся из машинного люка.

— Плохой бензин, товарищ командир,— объяснил он поспешно,— оттого и дымит.

— Тише, тише,— сказал Колосков.— Я не о том.

Гулкий пушечный выстрел встряхнул воздух. Эхо медленно скатилось по каменным ступеням, и снова в море стало тихо.

— Я думаю, китобоец,— заметил Сачков.

— Нет. Это на берегу,— сказал я.— Это охотники бьют гуранов.

— Из пушки?

— Из винчестера. В горах всегда громко.

Мы стояли возле самой кромки тумана и говорили вполголоса. Было очень тихо. Колосков приказал заглушить мотор, и под килем плескалась смирная и бесцветная вода.

— В туман не охотятся,— заметил боцман.

— Да, но в горах нет тумана.

— Просто рвут камни,— сказал из кают-компании кок. И снова горы ответили на одинокий пушечный выстрел раскатистым и беспорядочным залпом. Судя по силе и скорости эха, берег был недалеко.

— Ясно, пушка,— сказал упрямый Сачков.

— Ерунда! Винчестер, и не дальше полумили.

Мы посмотрели на командира, но Колосков сделал вид, что не слышит, о чем идет речь. Надвинув козырек на нос, он прохаживался по палубе маленькими, цепкими шагами, с таким равнодушным видом, точно выстрелы интересовали его не больше, чем прибой, и только время от времени останавливался, чтобы прислушаться.

Наконец, он спросил:

— Боцман! Сколько справа по носу?

— Двадцать семь футов,— сказал быстро Гуторов.

— Спускайте шлюпку... Тихо спускайте. Пойдете на выстрелы... Если шхуна, подниметесь на борт... Курс на ост — шестьдесят градусов. Сигналы сиреной.

— Есть сиреной,— сказал боцман и стал разворачивать в море шлюпбалки.

Кроме Гуторова, в шлюпку спустились двое гребцов, Косицын и я. На всякий случай мы взяли с собой пулемет Дегтярева и ручную сирену.

К тому времени, как мы отчалили, туман подошел еще ближе и стоял от нас на расстоянии полусотни хороших гребков сплошной низкой глыбой.

— Весла на воду! — сказал Гуторов шепотом.— Тише на воду... Пойдем «на цыпочках».

Мы вошли в туман и стали медленно подниматься вдоль берега, к северу, лавируя меж бесчисленных рифов, едва прикрытых водой. Был полный прилив, только самые крупные скалы чернели в тумане. Вся мелочь, зубастая, мохнатая, обсыхающая во время отлива, скрывалась теперь под водой. Мы двигались без футштока, осторожно пересекая рыжие пятна, слушая шорох водорослей под килем. С левого борта тянуло сильным и горьким запахом берега, и, все время чередуя удары с шипеньем, грохотал прибой.

Шлюпка шла «на цыпочках», совсем тихо, если не считать плеска воды и скрипа кожи в уключине. Косицын положил под весло нитяную обтирку, и стало тихо, как в погребе. Туман, светлея с каждой минутой, полз на берег наперерез нашей шлюпке, и все мы надеялись, что скоро увидим солнце и странных артиллеристов, гуляющих у Шипунского мыса.

Да, это была пушка, наверняка! Мягкие, басистые, очень сильные удары следовали с неправильными и долгими интервалами.

Мы шли зигзагами, меняя курс после каждого выстрела, так как эхо откликалось на две стороны и с одинаковой силой.

Потом пушка умолкла. Мы продолжали двигаться на норд-ост, осторожно макая весла в белесую воду. Гуторов сидел на руле, приложив к уху ладонь. Туман шел волнами, то светлея, то сгущаясь до сумерек,— тогда по знаку рулевого гребцы сушили весла, и все слушали шум прибоя и звонкое гульканье воды под килем.

Прошло минут десять — пятнадцать, и вдруг Косицын, сидевший на носу шлюпки, сказал страшным шепотом:

— Звонят. Либо церква, либо корабль...

— Просто рында,— сказал боцман.

Все мы услышали далекое дребезжанье корабельного колокола. И это был посторонний корабль, потому что рында на «Смелом» звенит светло и тонко.

— Олещук, на нос! — скомандовал Гуторов.

Я сел на переднюю банку, поставив сошки пулемета на борта. Море было спокойно, и дуло почти не шевелилось.

Гребцы стали разворачивать шлюпку на звук, и в этот момент из тумана, справа по носу, немного мористее нас, раздалось протяжное:

— Анн-э-э... О-о-о...

Человек был ближе, чем колокол, и Гуторов решительно повернул шлюпку на голос. Звук перенесся влево. Отвечая кораблю, кто-то, отдаленный от нас белой стеной, продолжал монотонно кричать:

— Анн-э-э... О-о-о...

Мы сделали сотню гребков, и вдруг метрах в двадцати от нас желтое пламя с грохотом вырвалось из тумана.

— Ходу! — сказал Гуторов, привстав.— А ну, не частить...

...То была кавасаки — грубо сколоченная моторная лодка с острым клинообразным носом и низкой надстройкой на корме. Двое рыбаков в вельветовых куртках и фетровых шляпах осторожно выбирали с кормы туго натянутый трос, а третий, стоя к нам вполоборота, держал на изготовку странное ружье с толстым коротким стволом, издали похожее на старый пулемет Шоша. Из дула торчала массивная красная стрела, соединенная с тонким канатом.

Услышав плеск шлюпки, стрелок обернулся и, должно быть со страху, нажал на крючок...

Горячий воздух и свет ударили мне в лицо. Я почувствовал резкую боль в щеке и едва не ответил очередью по стрелку, но Гуторов быстро сказал:

— Отставить. Эй, аната... Брось!

Стрела расщепила борт и ушла в воду, увлекая за собою канат. Японец, красивый толстогубый мальчишка, повязанный по-бабьи платком, стоял неподвижно, и из опущенного ствола странного ружья еще тек дым. У ног стрелка вертелась небольшая железная катушка; канат убегал в щель между бортом кавасаки и шлюпкой.

Двое других японцев молча подняли руки. То были зверобои с Хоккайдо — нахальные и, должно быть, тертые парни, потому что один из них гаркнул во всю глотку:

— Конници-ва! Эй, здравствуй, гепеу!

— Тише, тише,— сказал боцман.— Так где ваша шхуна?

— Не понимау,— ответили хором японцы.

— Аната, но фуне-ва доко-кара китта но деска? [1] — спросил Гуторов.

— Вакаримасен.

После этого все трое перестали понимать Гуторова и на все вопросы отвечали односложным «иэ». Стрелок вскоре опомнился и потянулся к свистку, висевшему у пояса на цепочке, но Широких закрыл ему рот ладонью и сказал насколько мог убедительней:

— Твоя мало-мало свисти... Моя мало-мало стреляй. Хорошо?

На всякий случай мы сделали кляпы из полотенец и, связав охотников, уложили их на палубе лицами вниз. Корабельный колокол продолжал тявкать в тумане, а всякий крик мог спугнуть судно, пославшее к берегу кавасаки.

Мы отобрали метров двести манильского троса и два широкоствольных гарпунных ружья, выстрелы которых мы принимали за пушечные. Короткие, очень массивные, они заряжались с дула кованными железными стрелами, соединенными посредством ползунка с крепким и тонким канатом. Охота с такими ружьями очень несложна. Подойдя к сивучам метров на двадцать—двадцать пять, зверобои открывали огонь, а затем с помощью веревочной петли и лебедки вытаскивали тушу на палубу. Возле носового люка лежало восемь молоденьких черновато-коричневых сивучей, а с кормы отвесно уходил в воду не выбранный после выстрела канат. Очевидно, гарпуны употреблялись не первый раз, потому что красный фабричный лак облез, а на раскрылках, которые сминаются при ударе, виднелись следы кузнечной правки.

Гуторов приказал выбрать конец. Канат пошел плавно, но так туго, что затрещали волокна. Лебедка намотала на барабан метров сорок гарпунного каната, и вскоре мы увидели, как, оторвавшись от дна, мед-

---

[1] Ваш корабль откуда пришел?

ленно поднимается огромная глыба, заросшая водорослями.

— Хозяин! Ах, черт! — сказал шепотом Широких.

Мы подтянули убитого сивуча к борту. Там, где шея переходит в грудь, торчал конец ружейного гарпуна. «Хозяин» лежал в зеленой тине, открыв пасть, и вода обмывала ему желтые клыки, ребристую лиловую глотку и выпуклые зеленые глаза под стариковскими бровями. А на боках и спине зверя, точно водоросли, шевелились густые рыжие волосы. Он был очень красив даже мертвый.

Рында продолжала тихонько звякать в тумане. Мы вытащили мертвого сивуча, завели мотор кавасаки и пошли прямо на звук, ведя за собой опустевшую шлюпку.

Между тем утренний бриз нажимал с моря все сильней и сильней, отгоняя туман в сопки. Над нами появились голубые просветы, и боцман, опасаясь, что захват кавасаки будет обнаружен раньше, чем нужно, приказал прибавить ход.

Мы шли прямо на колокол и вскоре стали различать сквозь гудение меди глуховатый стук мотора, включенного нахолостую. У Гуторова был отличный слух. Он прислушался и твердо сказал:

— «Фербенкс». Сил девяносто.

Очевидно, на шхуне услышали шум кавасаки, потому что колокол умолк, и кто-то окликнул нас (впрочем, без всякой тревоги):

— Даре дес-ка? [1]

— Тише... тише,— сказал Гуторов.

Мы продолжали идти полным ходом.

— Даре дес-ка?!

Косицын взял отпорный крюк и перешел на нос, чтобы зацепиться за шхуну. Остальные стояли наготове вдоль борта.

Пауза была так длинна, что на шхуне забеспокоились. Кто-то тревожно и быстро спросил:

— Аннэ? Акита?!

Молчать дальше было нельзя. Мы услышали незнакомые слова команды и топот босых ног.

---

[1] Кто это?

— Ну, смотрите, что будет,— сказал шепотом Гуторов.

Он откашлялся, сложил ладони воронкой и крикнул застуженным, сипловатым баском:

— Соре-ва ватакуси... Тётто-Маттэ![1]

Это было сказано по всем правилам — скороговоркой и слегка в нос, по-токийски. На шхуне сразу успокоились и умолкли.

— Вот и все,— просипел боцман.

Он был очень доволен и подмигивал нам с таинственным и значительным видом бывалого заговорщика.

В эту минуту мы услышали ворчанье лебедки и мерное клацанье якорной цепи. Одновременно свободные перестуки мотора перешли в надсадный гул, недалеко от нас сильно зашумела вода. Шхуна уходила от берега, не дождавшись своих зверобоев.

Вода еще вспучивалась и шипела, когда мы подошли к месту, где только что развернулась шхуна.

— Самый полный! — сказал Гуторов.— Дайте сирену!

Мы помчались вслед за беглянкой по молочной, пузыристой дороге. Мотор кавасаки был слишком изношен и слаб, чтобы состязаться с «Фербенксом», но мы знали, что «Смелый» дежурит у кромки тумана, и, непрерывно сигналя, продолжали преследовать шхуну.

Сначала след был отчетливый. Шхуна шла курсом прямо на ост, очевидно, рассчитывая поскорее выбраться из тумана.

Стук мотора становился все глуше и глуше, вода перестала шипеть, и только редкие выпучины отмечали путь корабля. Шхуна заметно отклонилась на юг. И это было понятно: услышав шум «Смелого», который двигался параллельно японцам по кромке тумана, хищники медлили выйти из надежного укрытия.

Так мы шли около получаса: «Смелый» под солнцем, вдоль кромки тумана, шхуна параллельно катеру, но вслепую, а за хищником, едва различая след, плелась наша кавасаки со шлюпкой на буксире.

Потом мы увидели гладкий широкий полукруг — след крутого разворота; шхуна внезапно повернула на

---

[1] Это я... Одну минутку!

север. В ее положении то был единственно верный маневр. Мы убедились в этом, как только вышли из тумана и увидели большую голубую шхуну с тремя иероглифами на корме.

Прежде чем «Смелый» разгадал хитрость японцев и лег на обратный курс, то есть на норд, шхуна выгадала десять минут, а если перевести на скорость — не меньше двух миль. Этого было достаточно, чтобы уйти за пределы запретной зоны.

Тут мы заглушили мотор и первый раз в жизни стали наблюдать со стороны, как «Смелый» преследует хищника.

Проскочив вперед, катер вскоре повернул обратно и полным ходом пошел наперерез шхуне. Было видно, как у форштевня «Смелого» растут пенистые усы, как наш катер задирает нос и летит так, что чайки стонут от злости, машут крыльями, не могут догнать и садятся отдыхать на волну.

Сачков взял от мотора что мог. Если представить море в виде шахматного поля, катер мчался как ферзь, а шхуна ползла точно пешка. Беда была в том, что пешка уже подходила к краю доски и сама становилась ферзем. За пределами запретной трехмильной зоны сразу кончилась погоня. И все это потому, что кавасаки спугнула шхуну в тумане.

— Это «Майничи-Мару»,— сказал Гуторов.— «Майничи-Мару» из Кобэ.

Боцман хмуро разглядывал палубу. «Смелый» не спеша вел к Петропавловску кавасаки с тремя японцами, а все свободные от вахты стояли на баке и провожали глазами далекую шхуну.

— Благодарю,— сухо сказал лейтенант.— Очень рад, что вы такой зоркий...

— Я, товарищ командир...

— Знаю, знаю,— ворчливо сказал Колосков и стал выколачивать о каблук холодную трубку.— Никто не виноват. Все герои с крючка щуку снимать. И вообще, что за черт? На пулемете чехол хуже портянки, лебедка облуплена...

Все мы думали, что боцману грозит разнос. У командира медленно багровела шея, но он взял в зубы пустую трубку и, пососав, неожиданно заключил:

— Все отчего? В грамматике дали осечку... Надо бы учтивый глагол... А вы... сразу ватакуси... Эх, жмет!

— А что им за это будет? — спросил Косицын, с любопытством поглядев на зверобоев.

— Лет пять... А скорей всего обменяют,— объяснил Широких. Сидя на корточках, он очищал раскрылки гарпуна от сухожилий и кожи мертвого сивуча.

— Значит, гражданские будут судить,— сказал Косицын с досадой.

— А тебе что?

— Ничего... Эх, такого быка загубили...

И все мы посмотрели на старого сивуча.

«Хозяин» лежал на палубе кавасаки, большой, гладкий, усатый, и смотрел в море злыми глазами. Он был очень красив даже мертвый.

1938

НА МАЯКЕ

I

Представьте чудо: на спелом, наливном помидоре вдруг выросли обкуренные махоркой усы, засеребрился бобрик, взметнулись пушистые брови, потом обозначился мясистый нос, блеснули в трещинках стариковские голубые глаза, и помидор, открыв рот, прошипел застуженным тенорком:

— Со мною, браток, не заблудишься. Маяк моряку — что тропа ходоку.— И, усмехнувшись, добавил: — Моя звезда рядом с Медведицей.

Таков дядя Костя — отставной комендор, портартурец, смотритель маяка на острове Сивуч.

Фамилии его не помню — не то Бодайгора, не то Перебийнос, что-то очень заковыристое, в духе гоголевских запорожцев. Не подумайте, однако, что на острове жил какой-нибудь отставной Тарас Бульба в шароварах шире Японского моря.

Дядя Костя был моряк старого балтийского засола: аккуратный плотный старичок в бушлате с орлеными пуговицами, обтянутыми черным сукном, и холщовых брюках, заправленных в сапоги.

Хозяйство его было невелико. Побелевшая от соли чугунная башенка на кирпичном фундаменте, бревенчатая сторожка под цинковой крышей и на площадке, поросшей жесткой темно-зеленой травой, десяток бочек с керосином и маслом — вот все, что могло удержаться на каменной глыбе, вечно мокрой, вечно скользкой от тумана и брызг.

Дядя Костя драил свой остров, как матрос корабельную палубу. Прибой всегда приносит сюда разный

мусор: бамбуковые шесты, доски, бутылки, обрывки канатов, стеклянные наплавы от сетей и даже остатки неведомо где разбитых кунгасов. Смотритель неутомимо сортировал и укладывал эту добычу штабелями вдоль берега. Любо было смотреть на дорожки, обложенные по краям кирпичом, на щегольскую башенку маяка с полукруглым куполом цвета салата, на флигель, крашенный шаровой краской.

Медная рында маяка горела даже в тумане. Прежде колокол висел на столбе, и дядя Костя дергал веревку, как любой пономарь, но в прошлом году он сделал ветряк и присоединил к нему нехитрую машину — подобие тех, что куют гвозди на старинных заводах Урала. Через каждые десять — двадцать секунд тяжелый чурбан, вздернутый вверх на веревке, срывался со стопора и дергал сигнальный конец. А так как туманы и ветры постоянно кружатся в море, колокол почти не смолкал.

Свой остров дядя Костя считал кораблем и всерьез называл маяк рубкой, флигель — кубриком, а заросшую жесткой травой площадку у башенки — палубой. Вместе с дядей Костей на «корабле» жили сменщик смотрителя, тихий юноша ростом чуть пониже маяка, сибирская лайка и черная пожилая коза, которая всюду сопровождала хозяина и даже влезала по винтовой лестнице к фонарю.

Последний раз я видел его в августе. Подвижной, багровый от избытка крови и силы, с широким, выскобленным досиня подбородком, он сказал на прощанье:

— Пойду зажгу свечку японскому богу.

Тридцать лет, поднимаясь на вышку по узкой железной лестнице, он повторял одну и ту же нехитрую шутку, и тридцать лет случайные гости улыбались чудаку. Скорее лопнет скала, чем дядя Костя изменит привычке.

«Две белые вспышки на пятой секунде»,— так сказано в лоциях, так знали на всех кораблях, и только один раз дядя Костя не смог зажечь маяк.

Это было в четверг, накануне прихода «Чапаева». «Смелый» встал на текущий ремонт, а команду уволили на берег. Три дня мы могли жить на твердой земле.

не слыша плеска моря и шума винтов. Каждый использовал время по-своему. Широких выпил пять кружек какао и лег спать, попросив дневального, чтобы его разбудили на третьи сутки к обеду, Косицын начал варить повидло из жимолости, а Сачков и я отправились к Утиному мысу за козами.

Я всегда ходил на охоту вместе с Гуторовым. Легкий на ногу, ясноглазый и тихий, он был родом из Керби — славного поселка рыбаков и охотников. Наладить медвежий капкан, пройти полсотни километров на батах по реке или разжечь костер из мокрого тальника было для него делом знакомым.

На этот раз боцман был занят. Вместо него со мной увязался Сачков.

Как это случилось, не знаю.

Я всегда избегал слишком шумных соседей,— тот, кто часто открывает рот, не может удержать в голове что-нибудь путное. К тому же осень в сопках так хороша, так тиха и строга, что совестно нарушить ее покой болтовней или смехом.

Я хотел высказать эти трезвые мысли Сачкову и не смог, пораженный блестящей внешностью друга. Вообразите колокольню в зеленой войлочной шляпе, лихо загнутой сбоку, в двубортной щегольской куртке, вельветовых брюках и широком поясе с никелированными крючками для дичи. Прибавьте сюда не запятнанный птичьей кровью ягдташ, флягу, нож-кинжал, златоустовский черненый топорик, чайник, рюкзак, бердану, на которой еще блестела фабричная смазка, скрипучие болотные сапоги, воняющие юфтью и дегтем,— великолепные сапоги, способные распугать зверей на шестьдесят миль в окрестности,— и вы поймете, как неотразим был Сачков.

Еле удерживая смех, я спросил:

— Кого же ты ограбил?

Он невозмутимо ответил:

— Лекпома. Он привез эти штуки в прошлом году, но стесняется пойти на охоту в очках.— И спросил с довольной улыбкой: — Хорош?!

— Хоть на выставку.

— Ну еще бы... Знаешь, Алеша, я давно собирался подбить какую-нибудь росомаху. Мабузо! Ко мне!

Тут только я заметил, что вокруг Сачкова семенит кургузый пес, поросший вместо шерсти какими-то перышками бесстыже розового цвета.

— Это тьер-терье-буль-гордон-лаверак! — сказал гордый Сачков.— Я взял его под расписку. Бурдаст до невозможности. Мабузо! Шерше!

Пес послушно слазил в канаву, вытащил обрывок калоши и взвыл от восторга.

— Видал? Ах ты жулик! В Голландии такая штука стоит тысячу гульденов... Ну, идем!

И мы пошли. Впереди с калошей в зубах — буль-гордон-тьер-терье-лаверак, а за ним, сияя зубами и никелем застежек, Сачков, сзади я, озадаченный натиском бравого моториста.

...Конечно, мы никого не убили, хотя прошли по горам не меньше двадцати миль. В это время года на сопках, в ягодниках. постоянно встречаются мирные, сытые медведи. Их шерсть густа и остиста, а пасти лиловы от жимолости, которую медведи собирают усерднее, чем мальчишки. Наевшись рыбы, они «полируют кровь» перед спячкой и целыми группами пасутся в невысоких кустах.

Медвежья охота на Камчатке не считается серьезным занятием, но даже в самых верных местах мы не могли настигнуть ни одного лакомки. Буль-гордон мчался впереди нас, тявкая, точно колокол на пожарной повозке.

Собака должна быть большой, молчаливой, суровой, полной особого собачьего достоинства. Я не люблю визгливых, щенячьих сентиментов, слюнявых языков и ползанья на брюхе перед хозяином. А тут мы оба не успевали вытирать слюни буль-бом-терьера. В жизни я не видел более восторженного, вертлявого подхалима.

Время от времени я подзывал пса и затыкал ему пасть куском колбасы. Благодаря этой хитрости нам удалось подойти довольно близко к козуле, но едва мы прицелились, как буль-лаверак выплюнул затычку и взвыл от восторга.

— Вероятно, он привык брать что-нибудь крупное,— сказал, смутившись, Сачков,— я сам видел золотую медаль. На одной стороне — свинья, а на другой — голый грек.

Мы показали буль-терьеру медвежий след. Он задумался, сморщил лоб, потом попятился... и, совестно сказать, раздалось стыдливое журчание.

...Вскоре пес надоел мне, как больной зуб. Он занозил лапу и поднял такой вой, что сердце разрывалось от жалости. Сачков взял его на руки, пес дышал ему в ухо, пуская слюни на куртку.

Я проклинал себя за слабость духа и готов был вогнать все шестнадцать патронов в розовый бок визгливого буль-бом-тьера. Удерживала меня только расписка, которую Сачков оставил хозяину.

II

...К вечеру мы снова увидели море. Маслянисто-желтое, гладкое, оно облизывало берег с глухим, сытым ворчаньем. Мертвая зыбь — эхо дальнего шторма — не спеша катила на север пологие складки.

Было тихо. Мы сняли мешки и долго стояли на гребне горы, захваченные величавой, грозной картиной.

Огромная туча, грифельно-синяя посредине, раскаленная по краям, прижала солнце в воде. Ее длинное тело походило на крейсер с тяжелыми уступами башен, форштевнем и низкими трубами, из которых косо летел черный дым. Занимáя полнеба, туча катилась равномерно и медленно, мрачнея с каждой секундой, а солнце, обреченное на смерть, но все еще сильное, сопротивлялось натиску с удивительной стойкостью. Оно взрывало, плавило, прожигало колючими вспышками то башни, то корпус чудовища, и сквозь рваные дыры корабельной брони взлетали в небо пучки живого, дрожащего света.

То была славная короткая схватка над морем. Чем красней становился остывающий диск, тем свежей и моложе казались звезды над тучей. Они зрели, наливались, становились яснее с каждой секундой, а солнце, побежденное, но не умершее, отдавая звездам свой жар и ненависть к мраку, погружалось в холодную воду все глубже и глубже.

Наконец, не выдержав тяжести тучи, оно лопнуло под килем корабля. В последний раз пробежал по морю летучий огонь, и сразу стало темно и скучно.

Я стал увязывать мешок, поглядывая на Сачкова. Несуразный парень, равнодушный ко всему на свете, кроме четырехтактного мотора и футбольной площадки, улыбался мечтательно и застенчиво. Глаза его были закрыты, точно он хотел запомнить грозную картину баталии.

Я тихо дотронулся до плеча моториста. Сачков очнулся и с удивлением взглянул на меня.

— А хорошо!.. Черт знает как хорошо! — сказал он дрогнувшим голосом.— Зажарить бы сейчас яичницу! Можно без колбасы, но лук обязательно... Как ты смотришь, Алеша?

Я молча зашагал вперед. Все механики одинаковы. Они путают сыча с куропаткой и всерьез полагают, что лампа в сто свечей прекраснее солнца.

Вскоре мы сбились с тропы и пошли напрямик по березняку и кустам жимолости, спускаясь к морю все ниже и ниже.

Было время отлива. Прямо перед нами смутно блестела полоса мокрой гальки, налево широким серпом изгибалась бухта Желанная, а справа горбатился остров Сивуч с темной башенкой маяка, да, темной, несмотря на позднее время. Я удивился, почему дядя Костя сегодня так запоздал. Шел восьмой час, и любой корабль, огибающий мыс Зеленый, мог сыграть в жмурки с камнями.

«Две белые вспышки на пятой секунде...» Мы подождали минут пять и снова пошли по кустам. Я надеялся добраться к мысу до прилива, перейти вброд речку Соболинку и берегом вернуться в отряд.

Сачков о маршруте не спрашивал. Он держался мне строго в кильватер, чмокал губами и бормотал всякие глупости, которые ему подсказывал отощавший желудок.

Наконец, промокнув до пояса, исцарапав в кровь руки, мы почти на ощупь выбрались к заброшенной фанзе у подножия горы.

Два года назад здесь жил «рыбак», имевший скверную привычку перемигиваться фонарем с японскими шхунами. Мы взяли его в дождь, на рассвете, вместе с винчестером и записной книжкой, доставившей шифровальщикам много возни. Старый рыбачий бот, залатанный цинком, еще лежал у ручья.

Боцман, я и Широких изредка охотились в этих местах и каждый раз, когда ночь заставала нас возле мыса Зеленого, ночевали на теплых канах[1] под шум ветра, гремевшего оконной бумагой.

Возле фанзы мы еще раз посмотрели на маяк. Он темен. Даже в окнах сторожки, обращенных в сторону берега, не было видно огней.

— Табак их дело,— заметил Сачков,— смотри, как заело моргалку.

— Нет, не то.

— Ну, значит, спички не в тот карман положили.

Он оглядел море и вкусно зевнул.

— Зажгут... Давай спать, Алеша.

С этими словами он толкнул дверь и вошел в холодную фанзу.

Я нащупал на полочке каганец и спички и осветил комнату. Вязанка сучьев, котелок и чайник были на месте. Кто-то из охотников, ночевавших недавно в фанзе, оставил, по доброму таежному обычаю, полпачки чаю, горсть соли и кусок желтого сала.

Пока мы разжигали печку, буль-террак развязал зубами мешок и погрузился в него до хвоста. Мы вытащили его растолстевшего вдвое, с куском грудинки в зубах, и, распластав на канах, с наслаждением выдрали.

— Вероятно, медаль ни при чем,— сказал с досадой Сачков,— думаю, это помесь.

— Да... курицы с кошкой.

Через полчаса, раздевшись догола, мы сидели на горячих циновках, пили чай и дружно ругали бом-брам-тьера...

III

> «Две белые вспышки на пятой секунде...»

Каждый раз, когда фонарь поворачивался к берегу, промасленная бумага в окнах фанзы вспыхивала на свету.

На этот раз окно было темным. Я смотрел на бумагу, стараясь сообразить, что случилось с дядей Ко-

[1] Каны — горизонтальные дымоходы-лежанки.

стей. Заболел? Упал с винтовой лестницы? Перевернулся в свежую погоду вместе с моторкой?

В городе давно поговаривали, что дядя Костя тайком ездит за водкой. Но тогда что делает сменщик? Спит? А быть может, испортился насос, подающий керосин к фонарю?

Чем больше я думал, тем тревожней становились догадки. Был четверг. В этот день в городе ждали «Чапаева» с караваном тральщиков и двумя плавучими кранами. Все суда шли из Одессы незнакомой дорогой... А что, если?.. Ведь уселась на камни «Минни-Галлер» в прошлом году...

Накинув бушлат, я вышел из фанзы. Ни огня, ни звука. Море было пустынно, небо звездно. Слева, из бухты Желанной, медленно надвигался туман, обрывистый край его походил на высокий ледник.

Я вернулся в фанзу и, разбудив Сачкова, предложил немедленно отправиться в город. Идя нижней тропой, за семь часов мы свободно дошли бы до порта.

Против обыкновения Сачков не спорил. Он молча оделся и только в дверях фанзы спросил:

— Значит, «Чапаев» нас подождет?

— Не остри. А что ты предлагаешь?

— Переправиться...

— На че-ем?

— А на этом... на боте.

Мы осмотрели лодку. Вероятно, она была старше нас, вместе взятых. Борта ее искрошились на целую треть, днище, исшарканное в путешествиях по горной речке, прогибалось под пальцами. Две большие дыры были забиты кусками кровельного цинка. Короче говоря, это был гроб из старого тополя и довольно подержанный.

Я немедленно высказал свои соображения Сачкову, но упрямый малый только мотнул головой:

— Выдержит... Каких-то полмили...

— Однако на тот свет еще ближе...

— Не пугай... Скажи просто — дрейфишь... Я могу и один.

Убедил меня не Сачков, а вид беспомощного, притихшего маяка. Скучно было видеть темное море без огней, без веселой звезды дяди Кости, аккуратно моргавшей всем кораблям.

Через десять минут мы были на середине пролива.

Я греб с кормы коротким веслом, а Сачков сидел на дне бота, вытянув ноги, и потихоньку помогал мне ладонями. Вода плескалась возле самой кромки борта, но бот шел быстро, не хуже шестерки.

Вскоре я заметил, что Сачков как-то странно ерзает в лодке.

— А знаешь что,— сказал он, поеживаясь,— ты, пожалуй...

— Не вертись... Что такое?

— Нет... я так... ничего.

Я нагнулся к Сачкову и увидел, что моторист сидит по пояс в воде. Заплаты отстали, со дна и обоих бортов толстыми струями била вода.

— Вычерпывай, черт! Что ж ты молчал?

— Не-не могу... подо мной фонта...

Бушлаты и брюки мы снимали в воде. Ух, и свежо было сентябрьское смирное море! Ледяной обруч сдавил грудь и горло. Захотелось назад, на берег, из черной, плотной воды. Но Сачков уже плыл впереди, приплясывая, вертя головой, и лихо крестил море саженками.

Славный малый! Он шел, как в атаку, не советуясь ни с кем, кроме горячего сердца. Такие размашистые ребята, если их не придержать за пятку, готовы перемахнуть через море.

Впрочем, в то время рассуждать было некогда. Кожа моя горела от подбородка до пяток. Я шел брассом, экономя силы, но стараясь не очень отставать от Сачкова.

Время от времени мы, точно нерпы, поднимали головы над водой, чтобы лучше разглядеть маяк. Он был темен, низкий столбик среди тихой воды и звездного неба,— ни огня, ни звука, которые напомнили бы нам о жизни на острове!

Тревога и холод подгоняли нас все сильней и сильней. Не такой дядя Костя был человек, чтобы зажечь свою мигалку позже первой звезды.

Сачков все еще шел саженками, щеголяя чистотой вымаха и гулкими шлепками ладоней. При каждом рывке тельняшка его открывалась по пояс, но вскоре парню надоело изображать ветряную мельницу. Он

стал проваливаться, пыхтеть, задевать воду локтями и, наконец, погрузился в море по плечи.

Мы пошли рядом, изредка, точно по команде, приподнимаясь над водой. Остров казался дальше, чем можно было подумать, глядя с горы.

— Почему он не звонит? — спросил, задыхаясь, Сачков.

— Хорошая видимость,— сказал я.

Набежал ветер и потащил за собой мелкую рябь.

Какая-то сонная рыба плеснулась возле меня. Холод стал связывать ноги. Чтобы разогреться, я лег на бок и пошел овер-армом, сильно работая ножницами.

— Почему он не звонит? — спросил я, задыхаясь.

— Потому что шт-тиль,— ответил Сачков.

— Замерз?

— Эт-то т-тебе п-показалось...

Сачков отставал все больше и больше, бормоча под нос что-то невнятное. Метрах в ста от берега он рассудительно сказал, отделяя слова долгими паузами:

— Ты... однако... не жди... я потихоньку.

— Что, Костя, застыл?

Он засмеялся и вдруг, вскинув упрямую голову, легко прошелся саженками.

— Б-бери правей... З-зайдем с р-разных с-сторон.

Он говорил спокойно, и я поверил: не подождал, не вернулся к упрямцу. Остров был близко. Тревога и холод гнали меня к маяку... Как я проклинал себя часом позже!

Я видел полосу пены и темный силуэт ветряка на скале. Крылья не шевелились, колокол молчал. Странная в этих местах, прозрачная, почти горная тишина накрыла маленький остров. Даже волны, обычно размашистые, озорные, взбегали на берег на цыпочках, с тихим шипением.

Вскоре я перестал чувствовать холод. Как автомат, у которого завод на исходе, я медленно поджимал и выбрасывал руки с растопыренными, онемевшими пальцами... Ноги? Я давно потерял власть над ними. Правая по привычке еще сокращалась, левая тащилась за мной на буксире, бесполезная и чужая.

Не знаю, плыл ли я, или превратился в буек, одетый в тельняшку. Берег перестал надвигаться. Он был рядом, горбатый и темный...

Еще десять взмахов, еще пять...

И вдруг мерзкое, почти судорожное ощущение страха. Что-то длинное, цепкое скользнуло по моему животу и коленям. Я отчаянно рванулся вперед. Еще хуже! До сих пор я не верил рассказам о нападениях осьминогов. Скользкие, бледные твари с клювами попугаев, которые попадались в сети рыбакам, были слишком мелки, чтобы внушить страх. Но здесь, рядом с берегом, над камнями... И снова отвратительное, ласковое прикосновение к животу и ногам... Кто-то осторожно и тщательно ощупывал меня.

И, только оторвав от горла тонкую плеть, я понял: подо мной были водоросли... Их огромные плети, поднимаясь со дна, образуют сплошные заросли, более высокие и глухие, чем тайга.

Для пловца такие встречи не страшны. Но что делать, если с кровью застыла воля!

Никто не был свидетелем финиша. Я мог бы сказать, что моряк отряхнулся и, смеясь над испугом, догреб тихонько до берега. И это будет неверно.

Первым моим чувством был страх. Куда ни шло — захлебнуться волной, чистой, тяжелой. Другое — запутаться в скользких и крепких петлях, воняющих йодом, биться и, обессилев, уйти на дно.

Страх, бесстыдный, подлый, жестокий, выбросил меня на поверхность и погнал к берегу, точно ветер. Я забыл о маяке, дяде Косте, даже о Сачкове, барахтавшемся позади меня.

Берег! Он вытеснил все, о чем я думал минуту назад. Как собака с камнем на шее, я скулил и рвался к земле, колотя воду и гальку неожиданно набежавшего берега.

Помню, на четвереньках я вылез на остров, дополз до водорослей и, вырвав жесткий пучок, стал, сдирая кожу, растирать онемевшие ноги.

А потом вместе с теплом вернулись человеческое достоинство и стыд.

Первая мысль была о Сачкове. Он держался левее меня и должен был выбраться на северный край островка.

Я побежал вдоль берега, окликая Сачкова. Ни звука... темнота... холод... звезды. Быть может, моторист вылез южнее?

Дважды обежав остров, я, наконец, увидел Сачкова. Он был всего в десяти метрах от берега и, как показалось мне, вовсе не двигался. Я окликнул его... Из упрямства или от слабости Сачков не ответил на голос, а только мотнул головой.

Я влез в воду и схватил... шар. То, что представлялось в темноте головой моториста, оказалось большим стеклянным поплавком в веревочной сетке. Тысячи таких шаров, смытых штормами, блуждают во время путины у побережья Камчатки... Поплавок медленно подплывал к берегу, покачиваясь на пологой волне.

В это время я услышал скрип гальки. Кто-то низкий в черном бушлате семенил по камням. Я окликнул смотрителя, но в ответ послышались собачий визг и звяканье бубенца: коза и собака подбежали ко мне одновременно.

Лайка ткнула мне в руку мокрый нос, отбежала и остановилась, проверяя, пойду ли я следом за ней.

Потом она стала тявкать. Она звала к маяку, на восточную сторону острова, но я, все еще надеясь увидеть Сачкова, снова повернул к берегу.

Собака умчалась в темноту. Я медленно побрел вдоль тихой воды.

Лайка тявкала все настойчивей, все громче.

Она забежала вперед и ждала меня на восточном краю островка, у самой воды. Не видя причины собачьего беспокойства, я хотел направиться дальше, но лайка вцепилась зубами в край тельняшки. Она тащила меня прямо в море.

И тут я заметил Сачкова. Моторист лежал ничком в воде, метрах в пяти от берега. Очевидно, он настолько обессилел, что не мог подняться на скользких камнях.

Бедняга... Он выпил сегодня больше, чем за всю свою жизнь. Минут сорок я вытягивал и складывал ему руки, и с каждым взмахом изо рта моториста, как из хобота помпы, хлестала вода.

Наконец я услышал, как вздрогнуло сердце.

Сачков был холоден, неподвижен, тяжел, но веки уже дергались и маятник потихоньку вел счет времени.

Я с трудом втащил моториста в сторожку и, прислонив к стене, стал искать спички.

Кто-то спал на топчане у печи. Я нащупал небритую щеку, пальцы, плечо. В кармане бушлата громыхнул коробок...

...Вспыхнула спичка. Ничего тревожного. Все как прежде, весной. Фотографии портартурцев между двух рушников, медная корабельная лампа на проволоке, самодельный, выскобленный добела стол. Чайник, кусок хлеба, две банки консервов. Видимо, хозяева недавно поужинали.

На топчане, уткнувшись носом в подушку, спал сменщик смотрителя. Странное дело, парень не снял даже сапог.

Круглые стенные часы — гордость смотрителя — пробили десять. Я зажег лампу и осмотрелся внимательней. Первое впечатление было, что сменщик пьян: так неестественна, напряженно-неловка была поза спящего. И только встряхнув фонарщика за плечо, я понял, что он мертв...

Рот его был широко раскрыт, подушка искусана и облита какой-то зеленой, кисло пахнущей жидкостью. Искаженное, точно от удушья, потемневшее лицо и сведенные судорогой пальцы напоминали о тяжелой агонии.

Смотрителя в комнате не было. Спотыкаясь на скользких ступенях, я кинулся наверх.

Дядя Костя лежал на фонарной площадке. Стекла маяка были открыты, и часовой механизм жужжал, поворачивая круглый щиток. Возле смотрителя были рассыпаны спички. Видимо, еще днем, почувствовав себя дурно, дядя Костя пытался зажечь фонарь... А может быть, и зажег, но не смог закрыть ветровое стекло...

Смерть пошутила над дядей Костей, изуродовав усмешкой его доброе лицо. Брови старика были высоко вскинуты, один глаз прищурен, рот широко растянут. Казалось, он вот-вот зашевелится и просипит: «Пойду, братки, поморгаю японскому богу».

Я наклонился к старику и снова почувствовал дурной, едкий запах. Пятна высохшей рвоты виднелись на бушлате и железном настиле.

Обеими руками смотритель держался за ворот. Пуговица была вырвана с мясом и лежала поблизости. Я сунул ее в карман.

Кровь толкала в голову — мне было жарко. После ледяной ванны и возни с мотористом я соображал очень туго. Убиты? Когда, с какой целью? И ни одной царапины... Удушены? Кем? Ерунда.

Я спустился в пристройку, где хранились запасные горелки, флаги, ракеты, и раскрыл вахтенный журнал на 14 сентября.

«...*6 часов*. Ясно. Ветер три балла. В четырех милях прошел китобоец. Курс — норд.

...*11 часов*. Ясно. Две японские шхуны. Название не установлено. Курс — зюйд-ост...»

Угловатым стариковским почерком, похожим на запись сейсмографа, было отмечено все, что видел дядя Костя в тот день.

Танкер... Кавасаки... Снабженец. Опять китобоец. Никаких происшествий... И, только взглянув вниз, в правый угол, куда заносят все, что относится к корабельному распорядку, я увидел запись:

«*2 час. пополудни*. Обед обыкновенный. Гречн. каша, две банки рыбн. конс. Урюк. 2 час. 50 мин. приступлено к текущим работам, как то: окраска станины ветряка, расчистка двора.

3 час. Младший фонарщик Довгалев Алексей лег на койку, сказавшись больным. Резь в желудке. Рвота. Есть подозрение в части рыбн. конс. Приняты меры. Сознание ясное.

3 час. 30 мин. Те же признаки в отношении начальника маяка. Жалобы на огонь в желудке. Рвота. У Довгалева А. Н. судороги, пена. Сознание ясное.

3 час. 47 мин. Потемнение в глазах. Синюха конечностей. Будучи спрошен о самочувствии, ответил: «Рано хоронишь... не вижу огня». После чего признаков не обнаружено».

Слово «признаков» было зачеркнуто, а сверху аккуратно написано: «пульса».

Дальше я не читал. Мне почудилось, будто вместе с туманом к острову приплыл пароходный гудок. Он звучал нетерпеливо, хрипло, ритмично. Или то жужжал, резонируя в башенке, часовой механизм?..

Маяк был мертв. Слепым, тусклым глазом он смотрел в темноту.

«Две вспышки на пятой секунде...» Я помнил только одно: огонь!

Но легче было зажечь бревно под дождем, чем огромную лампу с какими-то странными колпачками вместо горелок. Оплетенная медными трубками, неприступная и холодная, она отражала всеми зеркалами только свет спички. Из краников на руки брызгал не то керосин, не то смазка.

А гудок ревел все настойчивей, все тревожней... Огонь!

Теперь я уже различал иллюминаторы пароходов, выходивших из-за мыса Зеленого. Временами туман расходился, тогда открывались мерцающие цепи огней.

В коробке оставалось не больше пяти спичек. И вдруг я понял — маяк не зажечь. Возбуждение, охватившее меня при виде огней, сменилось ровным, спокойным упрямством.

Я спустился на площадку и стал складывать в кучу все, что накопил смотритель: жерди, циновки, доски, порожние ящики. Затем я подкатил бочку и старательно облил керосином всю груду.

Огонь! Он поднялся выше мачт, выше маяка, к самым звездам. Теперь только слепые и спящие не заметили бы сигнала.

Я схватил обрывок смоленой сети, зажег и, поддев на бамбуковый шест, стал размахивать в воздухе куском огня.

IV

Что было дальше, помню плохо. Море стало раскачиваться, точно собираясь опрокинуться на остров. Маяк накренился. В воздухе поплыла какая-то чертовщина из стеклянных палочек и запятых.



Кричали птицы. Море клубилось теплым паром, я лез по винтовой лестнице в рассветное небо. Подо мной громоздились тучи, наверху, по чугунным исшарканным ступеням бежали цепкие ноги смотрителя. Дядя Костя поднимался все выше и выше над морем, стал виден весь океан с дорогами ветра, с зелеными островами и кораблями, плывущими в разные стороны.

Потом лестница завертелась в башенке, как винт в мясорубке. Ветер сорвал с меня бескозырку. Обеими руками я схватился за перила и закружился в трубе.

Сколько времени длилось это, не знаю. Разбудил меня колокол. А когда я открыл глаза, то долго не мог понять, почему у меня такие длинные ноги.

Внизу смутно блестела накрытая туманом вода. Временами клочья редели, тогда у моих ног открывалась полоска пены и черные камни. Постепенно я понял, что лежу ничком на фонарной площадке, просунув сквозь прутья решетки руки и голову. Как это случилось, не знаю до сих пор. Вероятно, под утро я полез на площадку и здесь свалился.

Теперь ветер отжимал туман к берегу. Ветряк кружился, старый колокол спрашивал басом туман:

«Был ли бой? Был ли бой?»

Потом, замедлив удары, точно прислушиваясь к шуму моря, он отвечал важно и грустно:

«Дно-о... Дно-о... Дно-о...»

Кажется, у меня начиналась горячка.

Помню, я спустился вниз, в сторожку, и стал наваливать на Сачкова одеяла, брезенты, полушубки, плащи — все, что мог найти на вешалке и в кладовой. После этого я надел почему-то резиновые сапоги и, стуча зубами, залег под тряпье. Я обнял Сачкова, соленого, мокрого, и вместе с ним поплыл навстречу «Чапаеву».

Остальное — сплошной винегрет. Стук катера, плеск воды возле уха, горячий дождь, ободок кружки в зубах. Чьи-то прохладные руки на голой спине и нудный запах аптеки. Я забыл имена, лица, время — все, кроме зажатой в кулаке пуговицы от бушлата смотрителя. Почему-то мне казалось, что потерять пуговицу — потерять все.

Кто-то пытался уговорить, разжать кулак силой. Я жестоко боролся, ломал пальцы, кажется, даже укусил противника за руку. И победил. Пуговица осталась со мной. Я спрятал ее под матрац и доставал только ночью, оставшись один. Колокол, славный сторож, мой друг, гудел непрерывно, напоминая об опасности, не давая мне спать.

...А когда он умолк, я открыл глаза и увидел возле себя Колоскова. Он сидел на табурете, свежий, холодный, и старался завязать зубами тесемки. Из рукавов больничного халатика на целую четверть вылезали здоровенные красные ручищи.

И Сачков был тут же, серьезный, грустный, надевший впопыхах халат разрезом вперед. Он разглядывал меня с почтительным страхом, как сирота покойного дядю, и при этом громко сопел...

Я хотел спросить, что случилось, но Колосков зашипел и поднял ладонь.

— Все в порядке,— сказал он шепотом,— мы с доктором только что вас осмотрели.

— Ерунда,— подтвердил Сачков,— мне сдается, ты здоровее, чем был.

— Я хочу знать...

— ...что нового? — подхватил Колосков.— Понятно. Из Владивостока привезли апельсины, кожура толстовата, однако справляемся. Погода тоже ничего, баллов на шесть. Что еще? Боцман лечит зубы... Во втором экипаже дамы повесили зеленые шторы. Ничего, подходяще...

— А маяк?

— Завтра сборная отряда против сборной порта,— сказал торопливо Сачков.

— Где «Чапаев»? Я видел огни.

— Все в порядке... Левый край пришлось заменить.

— Перестань... Я спрашиваю: что на маяке?

Сачков замолчал, а лейтенант сильно заинтересовался мундштуком трубки. Он долго ковырял его спичкой и разглядывал на свет, потом медленно ответил:

— Занятный сон... Вы простудились на охоте... Помните, перешли вброд реку? Вы и того... А вообще... спать надо, Олещук... Спать...

— Когда это было?

— Охота? Месяц назад.

Я молча полез под подушку и достал пуговицу, старую орленую пуговицу дяди Кости, обтянутую черным сукном.

Колосков посмотрел на нее и отвернулся. Море за окном было злое и синее. На дубках лежал снег.

— Вам это приснилось,— сказал он упрямо.

1938

ГЛАВНОЕ — ВЫДЕРЖКА

I

Жизнь на берегу проще, чем в море. В ней меньше тумана, не так рискуешь сесть на мель, а главное, нет многих досадных условностей, что расставлены на пути корабля, словно вешки.

Во всяком случае, в море не так уже просторно, как можно подумать, глядя с берега на пароходный дымок.

И вот пример.

В пределах трех миль здесь все называется настоящими именами — вор есть вор, закон есть закон и пуля есть пуля. Возле берега командуем мы: «Стоп машину! Примите конец!» Но стоит только хищнику покинуть запретную зону, как вор превращается в господина промышленника, а украденная камбала в священную собственность.

...Короче говоря, «Осака-Мару» стоял ровно в четырех милях от берега. Только издали мы могли любоваться черными мачтами и голубой маркой фирмы на трубе парохода. То была солидная посудина — тысяч на восемь тонн, с просторными площадками для разделки сырца, глубокими трюмами и огромным количеством лебедок и стрел, склоненных наготове над бортами,— целый крабовый завод, дымный и шумный, на котором жило не меньше пятисот ловцов и рабочих.

Возле «Осака-Мару», едва доставая трубой ходовой мостик, стоял пароход-снабженец. Он только что передал уголь и теперь принимал с краболова консервы.

Увидев пароходы, Колосков обрадовался им, как старым знакомым.

— Как раз к обеду,—сказал он, подмигивая,— крабы ваши, компот наш!

Да мы и в самом деле были знакомы. Каждую весну, между 15—20 апреля, краболов появлялся в Охотском море и бросал якорь на почтительном расстоянии от берега. Он обворовывал западное побережье Камчатки неутомимо, старательно, деловито, из года в год пользуясь одним и тем же методом.

Вечером, видя, что в море нет пограничного катера, «Осака-Мару» спускал с обоих бортов целую флотилию кавасаки и лодок. Около сотни вооруженных снастью суденышек, мелких и юрких, точно москиты, шли к берегу наперерез косякам крабов и сыпали сети с большими стеклянными наплавами. А на рассвете флотилия снимала улов — тысячи крабов, застрявших колючими панцирями и клешнями в ячеях. То было воровство по конвейерной ленте,— прямо от подводных камней к чанам с кипятком. И в то время, как вся эта хищная мелочь копошилась у берега, их огромный хозяин спокойно дымил вдалеке.

Понятно, что в бочке над краболовом торчал наблюдатель.

Едва «Смелый» показал кончики мачт, как «Осака-Мару» тревожно взревел. И сразу, как стрелки в компасах, лодки повернули в открытое море носами.

Это было занятное зрелище: всюду белые гребни, перестуки моторов, командные выкрики шкиперов, подгонявших ловцов. Крабы летели за борт, моторы плевались дымками: «Дело таб-бак! Дело таб-бак!» А тот, кто не успел вытащить сеть, рубил снасть ножом, не забывая отметить доской или циновкой место, где утоплена сеть.

Кавасаки шли наперегонки, ломаной линией, сжимавшейся по мере приближения к кораблю; за ними тащились на буксире плоскодонные опустевшие сампасены, а дальше, замыкая москитный отряд, рывками мчались гребные исабунэ с полуголыми, азартно вопящими рыбаками.

Мы нацелились на две кавасаки. Одна из них отрубила буксир и успела уйти за три мили от берега, а другая стала нашей добычей.

Шкипер ее, позеленевший от досады и злости, оказался малосговорчивым. Видя, что соседняя кава-

саки показала корму, он кинулся с железным румпелем навстречу десанту и наверняка отправил бы кого-нибудь вслед за крабами, если бы наш спокойнейший боцман не положил руку на кобуру.

После этого все пошло как обычно. Шкипер опустил румпель, а команда стала кланяться и шипеть. Мы обыскали кавасаки и в носовом трюме нашли мокрую сеть, в которой копошилось десятка два крабов. Этого было вполне достаточно, чтобы привлечь к суду плавучий завод. «Смелый» сразу повернул к «Осака-Мару».

Между тем москиты успели выйти из погранполосы. Вдоль берега над водой висел только керосиновый дым — единственный след краболовной флотилии, а вдали, окруженная лодками, точно квочка цыплятами, высилась железная громада завода.

Мы подошли к «Осака-Мару» и подняли по международному коду сигнал: «Спустить трап». Никто не ответил, хотя на палубе было много ловцов и матросов. Не меньше полутораста здоровенных парней, еще разгоряченных гонкой, с любопытством поглядывали на катер.

Над ними, на краю ходового мостика, стоял капитан краболова — важный сухонький старичок с оттопыренными ушами и приплюснутым носом. Он не счел нужным хотя бы надеть китель и, придерживая на груди цветистый халат, демонстративно позевывал в кулачок.

— What do you want? [1] — спросил он, свесившись вниз.

— Спустите трап. Мы задержали вашу моторку.

— I can not understand you! [2].

Это был обычный трюк. Если ли бы мы заговорили по-английски, он ответил бы по-японски, мексикански, малайски — как угодно, лишь бы поиграть в прятки.

Из всей команды «Смелого» один Сачков знал десяток английских фраз. Лейтенант вызвал его из машины и предложил передать капитану, чтобы тот спустил трап и не валял дурака.

Славный малый! Он мог выжать из шестидесяти лошадиных сил девяносто, но построить английскую фразу... Это было выше сил нашего моториста.

---

[1] Вам что угодно?

[2] Я не понимаю вас!

Он застегнул бушлат, взял мегафон и закричал, напирая больше на голосовые связки, чем на грамматику:

— Allo! Эй, аната! Give me trap! Allo! Do you speak? Я же и говорю, трап спустите... понятно? Ну, вот это... the trap! Вот черт! Алло!

Он кричал все громче и громче, а капитан, вначале слушавший довольно внимательно, стал откровенно позевывать и, наконец, отвернулся.

— Вот дубина! — определил Сачков, рассердясь.— Прикажите снять с пулемета чехол... Сразу поймет

— Это не резон,— сказал Колосков.— Если снимешь, надо стрелять.

— Разрешите тогда продолжать?

— Только не так.

На «Смелом» подняли два сигнала. Сначала: «Спустить трап. Ваши лодки нарушили границу СССР», а затем и второй: «Отвечайте. Вынужден решительно действовать». Только тогда капитан подозвал толстяка в фетровой шляпе (как оказалось, переводчика) и заговорил, тыкая рукой то на палубу, то на берег.

— Господин капитан возражайт! — объявил толстяк.— Господин капитан находится достаточно далеко от берега.

— Ваши кавасаки проникли в запретную зону.

— Господину капитану это неизвестно.

— Вы произвели незаконный улов.

— Извините. Господин капитан не понимает вопроса.

— Захочет, поймет,— спокойно сказал Колосков.— Передайте ему так: кавасаки арестована. Подпишите акт осмотра.

Капитан улыбнулся и покачал головой, а толстяк, не ожидая ответа, закричал в мегафон:

— Гоподин капитан отрицает! Господин капитан не знает этого судна.

На палубе грянул смех. Ловцы, восхищенные находчивостью капитана, барабанили по железу деревянными гета и орали во всю глотку, выкрикивая по именам приятелей с кавасаки.

— Как это не ваша? — возмутился Сачков.— Товарищ лейтенант, разрешите, я клеймо покажу?

Он стал подтягивать кавасаки, чтобы показать надпись на круге, но Колосков тихо сказал:

— Отставить. Все равно, зона не наша. Малый вперед!

Мы молча отошли от высокого борта, а свежак, сильно накренивший японские пароходы, понес нам вдогонку крики и хохот. На носу «Осака-Мару» загромыхала лебедка: травили цепь, чтобы якорь плотней лег на дно.

Колосков смотрел мимо краболова на берег. Дымка, почти всегда скрывавшая глубинные хребты, исчезла. Открылись дальние иссиня-белые конусы сопок — верный признак близкого шторма.

— Эк метет! — сказал Колосков, думая о чем-то другом.— А ведь, пожалуй, раздует. Баллов на восемь... А?

— Проскочим,— ответил боцман спокойно.

— А если на якорь?

— Однако выкинет... Грунт очень подлый.

— Именно... В ноль минут. Приготовьте десантные группы.

Гуторов все еще не мог понять, куда гнет командир.

— Одну?

— Нет, три. Все свободные от вахты могут отдыхать. Домино отберите, пусть спят.

И Колосков, утопив щеки в сыром воротнике, снова нахохлился, не замечая, что даже мартыны, тревожно курлыча, потянулись в дальние бухты, прочь от угрюмого моря.

II

В шесть часов вечера на кавасаки сорвало крышку машинного люка. Мотор захлебнулся, мотопомпа заглохла, и «Смелый» взял арестованных на буксир.

Маленькая низкобортная посудина поплелась за нами, дергая трос, точно норовистая лошадь узду,— трое японцев едва успевали откачивать воду ковшами и донкой.

Буксировка сразу сбила нам ход. Легче проплыть сто метров в сапогах и бушлате, чем тащить кавасаки

в штормовую погоду. Мы ползли, как волы, как баржа, как время в больнице, а ветер тормошил Охотское море и рвал парусину на шлюпках.

Было уже довольно темно, когда мы сдали кавасаки на морской пост возле реки Оловянной. Люди устали и озябли. Плащи, камковые бушлаты, даже тельняшки были мокры. За ужином один только Широких, вздыхая от сочувствия к ослабевшим, попросил добавочную банку консервов. Остальные по очереди отказались от холодной свинины с бобами.

— Баллов восемь верных,— грустно определил кок, убирая тарелки.

...Море пустело на наших глазах. Пароходы, принимавшие первую весеннюю сельдь, бросили погрузку и уходили штормовать. Лодки наперегонки мчались к заводам. Всюду на мачтах чернели шары — знаки шторма, и отчаянные камчатские курибаны, стоя по горло в воде, удерживали на растяжках кунгасы.

Нам предстояло провести всю ночь в море, так как западный берег Камчатки отличается отсутствием бухт и удобных заливов. На сотни километров размахнулся здесь низкий, тундровый берег с галечной кромкой, усеянный остатками шхун и позвонками китов.

Однако Колосков решил иначе. Потушив ходовые огни, мы снова повернули на юг и вскоре увидели огни пароходов. «Осака-Мару» третью корпуса заслонял снабженца, поэтому казалось, что у берега стоит пароход необычайной длины. Все огни на «Осака-Мару» были погашены, только на мачте, освещая то барабаны лебедок, то фигурки матросов, раскачивалась лампа в железном наморднике. «Осака-Мару» поднимал на борт последние кунгасы своей огромной флотилии.

Темнота скрадывает расстояние,— вероятно, поэтому мне показалось, что пароходы подошли к берегу значительно ближе, чем прежде.

Я поделился своими соображениями с Колосковым.

— Так оно и есть,— сказал он одобрительно,— хомут спасли, а кобыла сгорела...

И тут же пояснил:

— ...на ходу флотилию на борт не взять... Вот и решили сползти ближе к берегу. Благо, грунт крепче, да и мыс прикрывает.

— Значит?

— Только не спешите,— сказал Колосков,— определимся сначала...

На малых оборотах мы подошли еще ближе к заводу, и пока радист определялся по береговым ориентирам, лейтенант объяснил десанту задачу. На катере остается только бессменная вахта. Остальным предстояло подняться на пароход, отобрать управление и, обеспечив командные точки, ждать дальнейших распоряжений со «Смелого» — ночью фонарем, днем флажками.

Предстояло захватить целый завод — человек пятьсот ловцов и матросов, возбужденных арестом кавасаки и, несомненно, чувствующих себя в безопасности на палубе корабля. Попытки арестовать краболова были и прежде, но каждый раз они заканчивались односторонними актами, судом над каким-нибудь шкипером и долгой дипломатической перепиской. Это была не легкая операция даже днем, а темнота сильно затрудняла задачу.

Мы решили подойти сначала к краболову и высадить десант с подветренного борта, пользуясь штормтрапами, по которым поднимались ловцы.

— Зря за оружие не хватайтесь,— сказал Колосков.— Стойте лицом. Помните, что японцы всегда на спину бросаются. А главное — выдержка. Пуля не гвоздь — клещами не вытащишь.

III

Колосков был прав: ветер оказался нашим союзником. Краболов мог выйти в море, только подняв на борт флотилию, а сделать это при сильной волне и шквалистом зюйде было трудно даже для опытных моряков. Лодки жались к наветренному борту, тросы трещали и рвались, а те, кому удалось оторваться от воды раньше других, раскачивались в воздухе, вырывая из рук матросов оттяжки. На наших глазах погибли два больших пятитонных кунгаса. Один затонул, ударившись о борт «Осака-Мару», другой, поднятый до уровня палубы, сорвался с гака и рухнул в воду с десятиметровой высоты.

Мы подошли к «Осака-Мару» с наветренного, ничем не освещенного борта. Шквал накренил пароход с такой силой, что наружу вышла крашенная суриком подводная часть. Оголенный винт медленно хлестал по воде,— видимо, капитан, не надеясь на якоря, удерживал «Осака-Мару» машиной.

Когда мы подошли к краболову, погрузка ловцов была уже закончена и штормтрапы подняты на борт.

Лейтенант приказал подняться по выброске. Нас то подбрасывало так, что открывалась вся палуба краболова, то уносило далеко вниз, к подножию борта, глухого и высокого, точно крепостная стена.

Все кранцы были вывешены вдоль причального бруса, шесть краснофлотцев веслами и футштоками отталкивали «Смелый» от краболова. И все-таки временами наш катер вздрагивал и трещал так, что поеживался даже Широких.

Наконец боцману удалось закинуть на тумбу петлю.

Прыжок вверх. Удар плечом о борт. Море, взлетевшее за нами вдогонку, и мы вдвоем с Гуторовым уже вытаскивали на палубу «Осака-Мару» старательно пыхтящего мокрого Косицына... Зимин и Широких поднялись последними. «Смелый» — ореховая скорлупа рядом с «Осака-Мару» — прыгал далеко внизу.

— Следить за семафором! — крикнул Колосков.— Якоря не снима-а...

Больше мы ничего не слышали. Катер отлетел куда-то в сторону. Рявкнула и обдала пылью волна. Мы кинулись наверх, на ходовой мостик, чтобы захватить радиорубку и управление кораблем.

Все это произошло настолько быстро, что некогда было даже перевести дыхание. Когда капитан поднялся на мостик, все было кончено: Широких скручивал проволокой петли на дверях радиорубки, а переговорная труба доносила голос Косицына, наводившего порядок в машине. Он сообщал, что главный механик от непривычки немного психует, а все остальные в порядке. Пару хватает, кочегары на месте.

Капитан бегал рысцой от борта к борту, ожидая конца разговора. Я с трудом узнал старичка — он был затянут в черный китель с поперечными эполетами,

а два ремня вперехлест и сбившаяся набок большая фуражка придавали ему несуразно воинственный вид.

— А вам что здесь нужно? — спросил боцман и закрыл трубу пробкой.

Капитан был испуган и взбешен. Он открыл штурманский столик и, ворча, стал тыкать в карту длинным ногтем. Выходило, что «Осака-Мару» стоит чуть ли не в десяти милях от берега.

— Господин капитан считает поведение пограничной стражи ошибочным,— пояснил переводчик.

— Дальше, дальше,— сказал Гуторов скучным голосом,— это нам известно.

— Господин капитан предупреждает о тяжелых последствиях.

— Благодарю... Это каких же?

— Господин капитан приказывает оставить корабр...

— Ну так вот что,— сказал Гуторов, рассердясь,— приказываю тут я. Юкинасайте в кубрик... Айда назад... Подпишем без вас.

Краболов спал, когда мы спустились на заводскую площадку. Низкий железный зал без иллюминаторов, с чугунными столбиками посредине, казался бескрайним. Резиновые ленты, уставленные консервными банками, тянулись от чанов к закаточным станкам-автоматам. В глубине зала высились черные, еще горячие автоклавы, похожие на походные кухни.

Всюду виднелись следы только что обработанного улова: в стоках, вдоль бортов, краснела крабовая скорлупа, из темноты тянуло острым, чуть терпким запахом сырца, а на шестах в сушилке висели сырые халаты.

Вслед за нами, бормоча что-то непонятное, шел переводчик. Но мы не нуждались в объяснениях — тысячи полуфунтовых банок, готовых к отправке, лежали на складе.

Широких взял одну из них и стал разглядывать этикетку. Огненный краб карабкался на снежную сопку, держа в клешне медаль с названием фирмы. Ниже было написано:«Made in Japan».

Видя, что Широких с трудом разбирает незнакомую надпись, переводчик помог:

— Это... сделано в Японии...

— Украдено в СССР,— поправил Гуторов сухо.

— Извинице... не понимау... Чито?

— А это вам судья разъяснит...

Мутное, теплое зловоние просачивалось в цехи из трюмов корабля. И чем дальше отходили мы от железной, чисто вымытой коробки завода, тем навязчивей становился густой смрад.

Два крытых перехода, устланных деревянными решетками, соединяли завод с кормовыми трюмами. Конец правого коридора замыкала подвешенная на рельс железная дверь. Гуторов отодвинул ее в сторону, и мутная, застарелая вонь хлынула нам навстречу.

Мы стояли на краю кормового трюма, превращенного в общежитие «рыбаков». Четыре яруса опоясывали глубокий колодец, на дне которого смутно проступали бочки и ящики.

Люди спали вповалку на нарах, прикрытые пестрым тряпьем. Всюду виднелись разинутые рты, усталые руки, голые торсы, блестевшие от испарины. Сон был крепок. Даже рев вентиляторов, даже тяжкие удары воды, от которых гудела громада завода, не могли разбудить «рыбаков». Очевидно, хозяева экономили свет — два карбидовых фонаря мерцали далеко, на дне корабля. А все этажи, наполненные храпом, бормотаньем, влажным теплом сотен людей, и бочки в глубине трюма, и тусклые огни, и тряпье на шестах раскачивались мерно и сильно, точно железная люлька, которую с присвистом и хохотом качает штормяга.

Мы вернулись на мостик и стали ждать семафора со «Смелого». Между тем ветер повернул «Осака-Мару» кормой к берегу. Море с шумом мчалось мимо нас, гребни с разбегу взлетали на палубу, и брызги, твердые, как пригоршни камней, стучали по брезентовому козырьку перед компасом.

Справа, в пяти кабельтовых от краболова, чернел низкий корпус снабженца, слева, вдоль берега, далеко на север уходили огни рыбалок и консервных заводов. На шестах у приемных площадок тревожно светились красные фонари — берег отказывался принимать катера и кунгасы. Ходовых огней «Смелого» мы никак не могли различить,— очевидно, катер укрылся от ветра за бортом парохода.

— Интересно, во сколько тут побудка? — спросил Гуторов.

— Вероятно, в шесть,— сказал я,— а какая нам разница?

— Вопить будут... А может, и хуже, если спирта дадут...

— А если не выпускать?

— Нельзя... гальюн на корме.

Я разделял опасения боцмана. Одно дело, когда на крючок попадает плотва, и другое, когда удилище гнется и трещит под тяжестью пудового сома. Никогда еще «Смелый» не задерживал краболовов. Целый поселок — полтысячи голодных, озлобленных качкой и нудной работой парней — дремал в глубине «Осака-Мару», готовый высыпать на палубу по первому гудку парохода.

Один Широких не выказывал признаков беспокойства. Он стоял за штурвалом и медленно жевал хлебную корку. Вероятно, он нисколько не удивился бы, попав в боевую рубку японского крейсера.

— Как-нибудь сговоримся,— сказал он спокойно.

IV

На рассвете подошел «Смелый». Ныряя в воде, словно чирок, он приблизился к нам на полкабельтовых и подал флажками приказ: «Снимитесь с якоря. Следуйте мной. Случае тумана держитесь зюйд 170°. Траверзе мыса Сорочьего встретите «Соболя». Будьте осторожны командой».

Боцман «Осака-Мару» нехотя вызвал матросов. Пятеро парней в белых перчатках шевелились так, точно в жилах у них вместо крови текла простокваша.

Боцман зевал, матросы почесывались. Через каждые пять минут цепь останавливалась, и лебедчик, чмокая языком, ощупывал поршень. Глядя на эту канитель, Гуторов возмущенно сопел. Наконец, якорь был выбран, и боцман скомандовал: «Малый вперед!»

...Через два часа мы подошли к мысу Сорочьему. Шторм стих так же внезапно, как начался. Сразу погасли гребни. Свист, улюлюканье, хохот ветра, стоны

дерева, треск тугой парусины, хлеставшей железо наотмашь, стали смолкать, и вскоре дикий джаз заиграл под сурдинку. Славный знак: березы на сопках расправили ветви, голодные топорки и мартыны смело летели из бухт в открытое море.

Возле мыса Сорочьего к нашему каравану примкнул катер «Соболь». Это дало нам возможность усилить десант. Трое краснофлотцев были переброшены на снабженец, пять — на «Осака-Мару». Кроме того, Колосков высадил на краболов нашего кока, исполнявшего во время операций обязанности корабельного санитара. По правде сказать, мы не ждали пользы от Кости Скворцова. То был маленький, безобидный человечек, разговорчивый, как будильник без стопора. С одинаковой страстью, схватив собеседника за рукав, рассуждал он о звездах, о насморке, о политике Чемберлена или собачьих глистах. Нашпигованный разными историями до самого горла, кок болтал даже во сне.

— Вот это посудина! — закричал он, вскарабкавшись на борт «Осака-Мару».— А где капитан? Молчит? Ну, понятно... Знает кошка... Лейтенант здорово беспокоился, как бы чего не вышло с ловцами... Сколько их? Тысяча? А? Я полагаю, не меньше... Косицын в машине? Травит, конечно! Бедный парень... Я думаю, из него никогда не выйдет моряка...

Увидев в руках кока тяжелую сумку, Широких сразу оживился.

— Значит, кое-что захватил?

— Для тебя? Ну, еще бы,— ответил с гордостью Костя.

Он открыл сумку и показал нам пачку бинтов, бутыль с йодом и толстый резиновый жгут.

— Ешь сам! — сказал Широких, обидясь.

К счастью, у Скворцова отлично работали не только язык, но и руки. Быстро отыскав камбуз, он потеснил японского кока и принялся колдовать над плитой.

V

Наш караван растянулся миль на пять. Впереди, отряхиваясь от воды точно утка, шел «Смелый», за ним ползли черные утюги пароходов, и

в конце кильватерной колонны, чуть мористее нас, светился бурун катера «Соболь».

Туман, провожавший нас от Оловянной, перешел в дождь. Радужная мельчайшая изморось оседала на палубу, на чехлы шлюпок, на брезентовые, сразу задубевшие плащи. Слева по борту тянулся ровный западный берег Камчатки с тонкими черными трубами заводов и крытыми толем навесами. Справа лениво катились к горизонту рябые от дождя складки воды.

Мы двигались вдоль самого оживленного участка Камчатки. Шторм стих, и тысячи лодок спешили в море, к неводам, полным сельди. Некоторые проходили так близко, что видно было простым глазом, как ловцы машут руками, приветствуя нас.

На одной из кавасаки рулевой, служивший, видимо, прежде во флоте, бросил румпель и передал нам ручным телеграфом:

«Поздравляем богатым уловом».

В самом деле, улов был богат. Первый раз мы вели в отряд не воришку кавасаки, не рыбацкую шхуну, а целый заводище, на палубе которого разместится сто таких катеров, как «Смелый» и «Соболь».

Мокрая палуба «Осака-Мару» по-прежнему была пуста. Видимо, японцы свыклись с мыслью об аресте и решили не обострять отношений; только матрос и второй помощник капитана — оба в желтых зюйдвестках и резиновых сапогах — прохаживались вдоль правого борта, поглядывая то на катер, то на белый конус острова Шимушу, едва различимый в завесе дождя. Чего они ждали? Встречного японского парохода, кавасаки, полицейской шхуны, которая постоянно бродит вблизи берегов Камчатки, или просто следили за нами? Время от времени матрос подходил к рынде, укрепленной на фок-мачте, и отбивал склянки.

За всю вахту офицер и матрос не обменялись ни одним словом. Оба они держались так, как будто на корабле ничего не случилось. Офицер позевывал, матрос стряхивал воду с брезентов и поправлял на лодках чехлы.

Равнодушие японцев, шум винта, ровный, сильный звук колокола — все напоминало о спокойной, разме-

ренной жизни большого корабля, которую ничто не может нарушить. Но каждый раз, точно отвечая «Осака-Мару», к нам долетал ясный, стеклянно-чистый звук рынды нашего катера.

...Было шесть утра, когда мы, наконец, подошли к мысу Лопатка и стали огибать низкую каменистую косу, отделяющую Охотское море от Тихого океана.

Сквозь шум моря и дождя доносилось нудное завывание сирены. Берег был виден плохо, и я, чтобы не наломать дров, стал отводить «Осака-Мару» в сторону от камней.

В этот момент Широких толкнул меня под локоть.

Справа по носу наперерез нам шли два японских эсминца. Они выскочили из-за острова Шимушу, где, очевидно, караулили нас после депеши краболова, и теперь неслись полным ходом, точно борзые по вспаханному полю.

Одновременно с появлением военных кораблей на палубу «Осака-Мару» стали высыпать «рыбаки». Никогда я не думал, что краболов может вместить столько народу. Они лезли из трюмов, бортовых надстроек, спардека, изо всех щелей и вскоре заполнили всю палубу, от кают-компании до носового шпиля. Передние махали эсминцу платками, задние становились на цыпочки, влезали на лебедки, винты, на плечи соседей. И все вместе орали что было мочи... Палуба походила бы на базар, если бы не обилие коротких матросских ножей и угрожающие лица ловцов. Все они, задрав головы, с любопытством поглядывали на нас.

Я взглянул на свой катер. Скорлупа, совсем скорлупа, а пушчонка — игла. Но сколько достоинства! Он шел, не прибавляя и не убавляя хода, и как будто вовсе не замечал сигналов, которые ему подавал головной миноносец (что делалось на «Соболе», я не видел, так как его закрыл правый борт мостика).

Гуторов, обходивший посты, быстро поднялся наверх и теперь старался разобрать сигналы с эсминца.

«Стоп машину... Лягте... Лягте... немедленно дрейф!»

— Вот пижоны! — сказал с возмущением Костя.— Смотрите! Да что они, спятили?

На обоих эсминцах с носовых орудий снимали чехлы.

Узкие, с косо срезанными мощными трубами, острыми форштевнями, с бурунами, поднятыми выше кормы, хищники выглядели весьма убедительно. Ловко обойдя наш небольшой караван, они сбавили ход и пошли рядом, продолжая угрожающий разговор:

«Почему захватили пароходы? Считаете своим призом?»

Я взглянул на «Смелый». Молчание. Палуба пуста. На пушке чехол. Колосков расхаживал по мостику, заложив руки за спину.

— Почему мы не отвечаем? — спросил Костя, волнуясь.— Смотрите, орудийный расчет на местах...

— Правильно не отвечаем,— сказал боцман.

— Почему же? Ведь у нас даже не сыграли тревоги.

— Правильно не сыграли,— повторил боцман.

Эсминец подошел к «Смелому» на полкабельтовых. Были отлично видны лица матросов, стоявших у пушек и торпедных аппаратов.

— Это же очень серьезно,— сказал Костя, волнуясь.— Что они делают? Это пахнет Сараевом (весною он прочел мемуары Пуанкаре и теперь напоминал об этом на каждом шагу).

— То Сараево, а то Камчатка,— резонно ответил Широких.

— Это выстрел Принципа. Конфликт! Боюсь, мы развяжем такое...

— А ты не бойся.

Не получив ответа, эсминец вышел вперед, на наш курс, и попытался подставить корму под удар «Смелого». Колосков, повернув влево, сбавил ход, эсминец оторвался, потом снова встал на дороге. «Смелый» повернул вправо.

Так зигзагами, то делая резкие развороты, то почти застопоривая машины, они прошли девять миль. На нашем языке это называлось игрой в поддавки.

В это время второй миноносец шел рядом с «Осака-Мару», беспрерывно подавая один и тот же сигнал: «Возвращать пароход», «Возвращать пароход».

Все население «Осака-Мару» толпилось на палубе. Матросы в ярко-желтых спецовках, подвижные, горла-

стые кунгасники, ловцы в вельветовых куртках и резиновых сапогах, мотористы флотилии, лебедчики, рулевые, щеголеватые кочегары, резчики крабов с руками, изъеденными кислотой,— все они, одуревшие в душном трюме, азартно обсуждали шансы катеров и эсминцев.

Игра в поддавки не дала результата. Тогда, сбавив ход, эсминцы подошли к «Смелому» с обоих бортов и так близко, как будто собирались сплюснуть маленький катер.

«Соболь» все время замыкал караван. Увидя новый маневр японцев, он тотчас вышел вперед и сыграл боевую тревогу.

На правом эсминце подняли сигнал: «Предлагаю командирам катеров явиться для переговоров». «Смелый» ответил: «Разговаривать не уполномочен».

Минут десять все четверо шли кучно, образовав что-то вроде креста с отпиленной вершиной, за которым зигзагами тянулась пенистая дорога. Затем эсминцев точно пришпорили. Они рванулись вперед и, сильно дымя, пошли к северу.

Костя, заметно притихший во время эволюций эсминцев, снова оживился.

— Ага! Ваша не пляшет! — закричал он, торжествуя.— А что я говорил? Главное — выдержка! Уходят... Чес... слово, уходят!

— Не думаю,— сказал боцман серьезно.

Толпа стала нехотя расходиться.

Набежал туман и закрыл буруны миноносцев. Вскоре исчез и «Смелый». Нос краболова с массивными лебедками и бортовыми надстройками лежал перед нами неподвижный и черный, точно гора.

Сбавив ход, мы стали давать сигналы сиреной. Судя по звуку, берег был не дальше двух миль — эхо возвращалось обратно на девятой секунде.

...Обедали плохо. Консервы, которые Скворцов разогрел в камбузе, издавали резкое зловоние. В одной из банок Широких нашел кусок тряпки и стекло, я вытащил обмылок.

— Вы отходили от плиты? — спросил Гуторов.

— Нет... то есть я только воды накачал.

— Тогда ясно... Выкиньте за борт.

Днем мы ели шоколад и галеты, вечером галеты и шоколад. Никто не чувствовал голода, но всем сильно хотелось спать: сказывались качка и тридцать часов вахты.

Караван продолжал подвигаться на север. Через каждый час «Смелый» возвращался назад и заботливо обходил пароходы. Я все время видел на мостике клеенчатый капюшон и массивные плечи Колоскова. Когда он отдыхал, неизвестно, но сиплый басок его звучал по-прежнему ровно. Лейтенант все время интересовался работой машины и предлагал почаще вытаскивать Косицына на свежий воздух.

VI

Эсминцы ждали нас возле острова Уташут. Заметив караван, они разом включили прожекторы. Два голубых длинных шлагбаума легли на воду поперек нашего курса. Миновать их было нельзя. Один из прожекторов встретил «Смелого» и тихонько пошел вместе с катером к северу, другой стал пересчитывать суда каравана. Добежав до «Соболя», он вернулся обратно и ударил в лоб «Осака-Мару».

Свет был так резок, что я схватился рукой за глаза. Вести корабль, ориентируясь на головной катер, стало почти невозможно. Я не видел ни берега, ни сигнальных огней. Все по сторонам дымного голубого столба почернело, обуглилось. Передо мной на уровне глаз, вызывая резкое раздражение, почти боль, висел зеркальный, нестерпимо сверкающий диск.

Весь корабль был погружен в темноту. Один только мостик, накаленно-белый, высокий, выступал из мрака. Это сразу поставило десантную группу в тяжелое положение. Каждое наше движение, каждый шаг были на виду миноносцев и населения «Осака-Мару».

Японцы это отлично учитывали. В течение получаса они разглядывали нас в упор, изредка отводя луч на корму или на нос. От сильного света у меня стали слезиться глаза. Тогда Гуторов приказал бросить управление и перейти на корму к запасному штурва-

лу. На мое место, чтобы не вызывать подозрения, стал Широких. Минут десять мы радовались, что перехитрили эсминец, но луч быстро перебежал на корму и нащупал меня за штурвалом. Я был вынужден снова вернуться на мостик под конвоем луча.

Так возникла у нас маленькая маневренная война с перебежками, маскировками, взаимными хитростями и уловками, война, в которой огневую завесу заменял свет прожектора.

Прячась за шлюпками, скрываясь между вентиляционными трубами и надстройками, я перебегал от штурвала к штурвалу, и вслед за мной огромными прыжками мчался голубой мутный луч.

Вскоре мне стало казаться, что с эсминца видны мои позвонки под бушлатом. Свет бил навылет. Он заглядывал в глаза сквозь сомкнутые веки, искал, преследовал, жег. В течение нескольких часов десантную группу не покидало мерзкое ощущение дула, направленного прямо в лоб.

Силясь рассмотреть катушку компаса, я невольно думал, как славно было бы дать пулеметную очередь... одну... коротенькую... прямо по зеркалам, в наглый, пристальный глаз.

В два часа ночи прожектор погас, и мы услышали стук моторки. Два офицера с эсминца пытались подняться по штормтрапу, который им выбросил кто-то из команды. Их отогнали от левого борта, но они тотчас перешли на правый и стали кричать, вызывая капитана «Осака-Мару».

Мы не могли сразу помешать разговору, так как капитан отвечал офицерам через иллюминатор своей каюты. «Гости» на чем-то настаивали, старичок говорил односложно:

— А со-дес... со-со... А со-дес со-со...

Катер отошел только после троекратного предупреждения, подкрепленного клацаньем затвора.

— Эй, росскэ! — закричали с кормы.— Эй, росскэ, худана! Иди, дурака, домой...

— Дикой, однако, народ,— сказал Широких с презрением,— ни тебе деликатности, ни понятия...

Наступила тишина. Караван двигался в темноте, казавшейся нам особенно густой после резкого света прожекторов.

Море слегка фосфоресцировало. Две бледно-зеленые складки расходились от форштевня «Осака-Мару» и гасли далеко за кормой. От мощных взмахов винта далеко вниз, в темную глубину, роями убегали быстрые искры. Млечный Путь рождался из моря, полного искр, движения, пены, слабых летучих огней, пробегающих в глубине.

Впечатление портили японские эсминцы. Потушив огни, хищники настойчиво шли вместе с нами на север. Впрочем, теперь они не пытались завести разговор с краболовом.

Мы уже начали привыкать к опасным соседям, как вдруг с головного эсминца взлетела ракета. Одновременно на краболове и снабженце потух свет.

— В чем дело? — крикнул вниз Гуторов.

Никто не ответил.

— В машине!

— Уо... а-га-а-а...— ответила трубка.

Что-то странное творилось внизу. Кто-то громко приказывал. Ему отвечали нестройно и возбужденно сразу несколько человек...

Пауза... Резкий оклик... Два сильных удара в гулкую бочку... Крик, протяжный, испуганный, почти стон... Грохот железных листов под ногами. И снова долгая пауза.

— В машине!

На этот раз трубка ответила голосом нашего моториста.

— Ушли,— объявил Косицын.

— Кто?

— Все ушли... сволочи...

Мы кинулись вниз, в темноту, по горячим трапам, освещенным сбоку «летучей мышью».

Внизу было тихо. Из темноты тянуло кислым пороховым дымком.

— Я здесь,— объявил Косицын.

Сидя на корточках около трапа, он стягивал зубами узел на левой руке. Возле него на полу лежал наган.

— Ушли,— сказал он, морщась,— через бункер ушли.

Дверь в кочегарку была открыта. Четыре топки, оставленные японскими кочегарами, еще гудели, бросая отблески на большие вертикальные шатуны, уходившие далеко в темноту.

Зимин, голый по пояс, бегал от одной топки к другой, подламывая ломом раскаленную корку.

На куче угля лежал мертвый японец в короткой синей куртке с хозяйским клеймом на спине. Минут пять назад он спустился на веревке по вентиляционной трубе и напал на Косицына сбоку в то время, как тот пытался уговорить кочегаров.

Удар ломиком пришелся в левую руку: от кисти к локтю тянулась рваная, еще мокрая рана...

— Что я мог сделать? — спросил Косицын, точно оправдываясь.

— Правильно, правильно,— сказал боцман, хотя было видно, что и он смущен неожиданным оборотом.

Я закрыл мертвого брезентом, а Гуторов перевязал Косицыну руку.

Пройти по палубе на нос или корму, где находились четверо краснофлотцев, уже было нельзя. Наши посты превратились в островки, отрезанные от срединной части корабля.

Стало светать. Кучки ловцов слились в одну глухую шумящую толпу; она беспокойно ворочалась, сжатая мостиком и высокой надстройкой на баке.

Ловцы, вылезающие из трюмов, напирали на стоящих впереди, некоторые вскакивали даже на плечи соседей, а все вместе, подогреваемые крикунами, вели себя все более и более угрожающе.

Кто-то застучал по палубе деревянными гета — толпа поддержала обструкцию грохотом, от которого загудела железная коробка парохода.

Смутное чувство большой, неотдалимой опасности охватило меня. Так бывает, когда вдруг темнеет вода и зябкая дрожь — предвестница шквала — пробегает по морю.

Я взглянул на товарищей. Боцман упрямо разглядывал берег, мрачноватый Широких — компас, Костя — пряжку на поясе.

Все они делали вид, что не замечают толпы.

VII

— Что же теперь будет? — спросил Костя тревожно.— Ведь это очень серьезно... Надо как-то их успокоить... сказать... Смотрите — ножи... Это бунт.

Был виден уже маяк Поворотный, когда головной эсминец поднял сигнал:

«Руки назад держать не могу. Принимаю решительные меры от имени императорского правительства».

Одновременно второй эсминец поставил дымовую завесу и дал выстрел из носового орудия. На обоих катерах сыграли боевую тревогу. «Смелый» ответил: «В переговоры не вступаю. Немедленно покиньте воды СССР».

С этими словами он развернулся и полным ходом пошел навстречу эсминцу. Не знаю, на что надеялся лейтенант, но чехол с единственной пушки был снят и орудийный расчет стоял на местах. Следом за «Смелым», осев на корму, летел «Соболь».

Больше я ничего разглядеть не успел. Едкое желтое облако закрыло катера и скалу с чугунной башенкой маяка.

— Надо действовать! Смотрите, они лезут на бак!

— Тише, тише,— сказал Гуторов.

Он глядел мимо заводской площадки на бак, где находились краснофлотцы Жуков и Чащин. Утром мы еще сообщались с носовым постом, пользуясь перекидным мостиком, укрепленным над палубой двумя штангами. Теперь мостик был сброшен возбужденной толпой. Человек полтораста, подбадривая друг друга свистом и криками, напирали на высокую железную площадку, где стояли двое бойцов.

Им кричали:

— Худана. Росскэ собака!

— Эй, баршевика!.. Слезай!

Какой-то ловец в матросской тельняшке и яркожелтых штанах влез на ванты и громко выкрикивал односложное русское ругательство.

— Ссадил бы я этого попугая,— объявил Костя,— да жалко патрона...

— Тише, тише...— сказал боцман.— Эх, зря...

Случилось то, чего все мы одинаково опасались. Жуков не выдержал и ввернул крепкое слово с доплатой. Это было ошибкой! Несколько массивных стеклянных наплавов, на которых крабозаводы ставят сети, полетело в бойцов. Один шар разбился, попав в мачту, другой ударил Жукова в ногу. Не задумываясь, он схватил шар и кинул его в самую гущу ловцов. Толпа ответила ревом.

Я увидел, как стайка вертких сверкающих рыбок взметнулась над палубой. Жуков схватился за плечо, Чащин — за ногу. Короткие рыбацкие ножи со звоном скакали по палубе вокруг краснофлотцев.

По правде сказать, я уже давно не смотрел на компас. Жуков, сидя на корточках, расстегивал кобуру левой рукой. Чащин, задетый ножом слабее, стоял впереди товарища и целился в толпу, положив наган на сгиб руки.

Костя схватил боцмана за рукав:

— Что же это, товарищ начальник?.. Скорее... надо стрелять!

Нас окатили горячие брызги... Раздался рев, низкий, могучий, от которого задрожали надстройки.

— Один ушел... видно, раненый.

— Вот это ты зря,— сказал боцман.

Посоветовавшись, мы решили не убирать труп из кочегарки. Вынести мертвого наверх, на палубу, означало взорвать всю массу «рыбаков» и матросов, возбужденных водкой и грозным видом эсминцев.

После этого мы вызвали «Смелый», и лейтенант на ходу поднялся на борт «Осака-Мару».

Разговор продолжался не больше минуты, потому что эсминцы снова включили прожекторы, а на палубе стали появляться группы враждебно настроенных ловцов.

Лейтенант сказал, что наша тактика правильная, и предложил перебросить с палубы в кочегарку двух краснофлотцев. Сам он людей дать не мог, потому что «Смелый» был оголен до отказа.

— А собак не дразнить,— сказал он, уже вися на штормтрапе.— Будут хамить, не замечайте: главное — выдержка.

Катер фыркнул и скрылся, а мы снова остались одни.

Палуба «Осака-Мару», пустынная еще минут десять назад, быстро заполнялась ловцами. Люди выбегали с такой стремительностью, точно по всему кораблю сыграли тревогу. Всюду мелькали карбидные фонарики и огоньки коротеньких трубок. Слышались возбужденные голоса, свистки, резкие выкрики.

Японские рыбаки — подвижной, легко возбудимый народ. Достаточно угрожающего движения, грубого окрика, даже просто неловкого, неуверенного движения, чтобы толпа, сознающая свою силу, перешла от криков к активному действию.

Вскоре появились пьяные. Вынужденный простой лишал «рыбаков» грошового заработка, толпа видела в нас источник всех бед, поэтому шум на палубе возрастал с каждой минутой. Многие бросали на нас угрожающие взгляды и даже откровенно показывали ножи.

Ловцы группировались кружками, в центре которых на лебедках, кнехтах или бухтах канатов стояли крикуны. Я заметил, что в середине самой шумной и озлобленной группы мечется окровавленный человек с повязкой на голове. Он вопил по-женски пронзительно и все время тыкал рукой в нашу сторону.

Гуторов не выпускал из рук оттяжку гудка. «Осака-Мару» ревел, давясь паром, и скалистый берег отвечал пароходу тревожными голосами.

Толпа замерла. Оторопелые «рыбаки» смотрели наверх, на облако пара, на коротенькую, решительную фигуру нашего боцмана, как будто кричащего басом на весь океан:

— Полу-ундра... Ух, вы!.. А ну, берегись!

Это было как раз то, что нужно. Выстрел только бы подхлестнул «рыбаков», а гудок, неистовый, не терпящий никаких возражений, хлынул сверху, затопил палубу, море, сразу сбив у нападавших азарт, и гудел в уши — угрюмо, тревожно, настойчиво: «Полу-унд-ра, полу-ундра, полу-ундра».

Когда пар иссяк, на палубе стало совсем тихо. Так тихо, что слышно было, как плещет вода.

Сотни ловцов смотрели на боцмана, а Гуторов, одернув бушлат, подошел к трапу и сердито сказал:

— Вы эти босяцкие штучки оставьте... Моя думал — ваша есть люди. А ваша есть байстрюки, тьфу! Просто сволочь. Тихо! Слушай мою установку. Ваша гуляй в трюм, мало-мало спи-спи... Наша веди корабль. Ежели что, буду карать без суда.

Вероятно, никогда в жизни боцман не говорил так пространно. Кончив речь, он не спеша высморкался в платок и, обернувшись к Скворцову, сказал:

— Ступайте на бак, пока не очухались... Быстро!

С той стороны не звали на помощь, но видно было, что одному Чащину с перевязкой не справиться. Он разорвал на раненом форменку и, не выпуская нагана, быстро, точно провод на телефонную катушку, наматывал на Жукова бинт.

— Есть! — ответил Костя.— Я... я иду!

Он подошел к трапу, который спускался прямо в настороженную враждебную толпу, и нерешительно взглянул вниз.

— Я иду... Я сейчас,— повторил он торопливо,— сейчас, товарищ начальник, вот только...

Он отошел к штурвалу и, присев на корточки, стал рыться в сумке.

Палуба загудела. Ничто не портит дела больше, чем нерешительность. Острым, враждебным чутьем толпа поняла и по-своему оценила колебание санитара. Кто-то визгливо засмеялся. Парень в желтых штанах снова засуетился сзади ловцов.

Оцепенение прошло. Немыслимо было пробиться на бак сквозь толпу, покрывавшую палубу плотнее, чем семечки подсолнухов. Оставался единственный путь — пройти над палубой по массивной, окованной железом стреле, с помощью которой лебедчики поднимают на борт кунгасы. Прикрепленная одним концом к мачте, она висела почти горизонтально над палубой, упираясь другим, свободным, концом в ходовой мостик. Такая же стрела тянулась от мачты дальше к носу, а обе они образовали узкую дорожку, протянутую вдоль корабля на высоте десяти — двенадцати футов.

— Да-да... Я сейчас,— бормотал Костя.— Где же он?.. Вот... нет, не то... Я сейчас...

Беспомощными руками он рылся в сумке, хватаясь то за марлю, то за бинты. Торопясь, вынул пробку, залил руки йодом и, совсем растерявшись, стал вытирать их о форменку.

— Готово? — спросил Гуторов.

— Да-да... Кажется, все... Как же это? Вот только...

Я не узнал голоса Кости. Он был бесцветен и глух. Губы его дрожали, как у мальчишки, готового заплакать. На парня было стыдно, противно смотреть. Я отвернулся...

Гуторов глядел мимо Кости на мачту.

— Только так,— сказал он себе самому.

— Товарищ начальник... я сейчас объясню... я не мо...

— Можешь, все можешь,— сказал боцман спокойно. Он приподнял Скворцова под мышки, поправил на нем сумку и, прошептав что-то на ухо, подтолкнул парня к барьеру.

— Я не...

— А ты не гляди вниз,— сказал Гуторов громко,— ногу ставь весело, твердо, гляди прямо на Жукова... Перевяжешь, останешься с ними...

Гуторов ничего не требовал, ничего не приказывал оробевшему санитару. Он говорил ровнее, мягче обычного, с той спокойной уверенностью, которая сразу отрезает пути к отступлению. Боцман даже не сомневался, что размякший, растерянный Скворцов способен пройти узкой двадцатиметровой дорожкой.

Не знаю, что он прошептал Косте на ухо, но деловитое спокойствие боцмана заметно передалось санитару. Он выпрямился, развернул плечи, даже попытался через силу улыбнуться.

— Главное, рассердись,— посоветовал боцман.— Если рассердишься, все возможно.

Костя перелез через барьер и пошел по стреле. Сначала он двигался медленно, боком, придвигая одну ногу к другой. Балка была скользкая, сумка тянула набок, и Скворцов все время порывисто взмахивал руками. Лицо его было опущено — он смотрел под ноги, на толпу.

На середине балки он поскользнулся и сильно перегнулся назад. Внизу заревели. Костя зашатался сильнее...

Я зажмурился — на секунду, не больше... Взрыв ругани... Чей-то крик, короткий и острый, как нож.

Балка была пуста... Санитар успел добежать до мачты. Обняв ее, он перелез на другую стрелу и пошел тихо-тихо, точно боясь расплескать воду.

Теперь он оторвал глаза от толпы... Он смотрел только на Жукова... Он шел все быстрее и быстрее, потом побежал, сильно балансируя руками, твердо, чуть косолапо ставя ступни...

Взмах руками, прыжок — и Костя нагнулся над Жуковым.

Тут только я заметил, что Гуторов положил пулемет на барьер и держит палец на спусковом крючке.

Увидев, что Костя добрался счастливо, боцман сразу отдернул руку и вытер потную ладонь о бушлат.

— А я бы свалился,— признался он облегченно.— Вот черт, циркач!

— Однако здорово его забрало.

— Что ж тут такого,— сказал Гуторов просто,— и у пулемета бывает задержка... Смотри... Что это?.. А, ч-черт!

«Осака-Мару» медленно выползал из дымовой полосы, и первое, что я заметил, были снежные буруны японских эсминцев.

Распарывая море, хищники с ревом удалялись на юго-восток, а следом за ними, перескакивая с волны на волну, лихо неслись «Смелый» и «Соболь».

— Не туда смотришь! — крикнул Гуторов.— Вот они!

Над моей головой точно разорвали парусину.

Тройка краснокрылых машин вырвалась из-за сопки и, рыча, кинулась в море.

И снова гром над синей притихшей водой. Сабельный блеск пропеллеров. Знакомое замирающее гудение не то снаряда, не то басовой струны.

Шесть истребителей гнали хищников от ворот Авачинской бухты на восток! К черту! В море!

На палубе «Осака-Мару» стало тихо, как осенью в поле. Пятьсот человек стояли, задрав головы, и слушали сердитое гуденье машин. Оно звучало сейчас как напутственное слово бегущим эсминцам. Краболов повернул в ворота Авачинской губы. Бухта с опрокинутым вниз конусом сопки Вилючинской и розовыми клиньями парусов казалась большим горным озером.

Мы обернулись, чтобы в последний раз взглянуть на эсминцы. Они шли очень быстро, так быстро, что вода летела каскадами через палубу.

Вероятно, это были корабли высокого класса.

1938

ПИСАТЕЛЬ И ЕГО ГЕРОИ

Итак, перевернута последняя страница избранных произведений Сергея Диковского.

Хорошая книга — та, что задела и по-настоящему взволновала, всегда внушает интерес к автору и его творчеству. Я думаю, читателей «Патриотов» и «Приключений катера «Смелый», быть может, впервые открывших для себя имя Сергея Владимировича Диковского (1907—1940), заинтересует биография писателя и его личность.

Коротко о нем можно сказать так: Диковский очень походил на своих героев складом характера, твердостью духа, целеустремленностью, приверженностью делу, которому себя посвятил. Ему не довелось стать участником Великой Отечественной войны. Сергей Диковский погиб 6 января 1940 года в бою с белофиннами. Но он принадлежит к славному, героическому поколению «сороковых-пороховых». Жизнь Диковского оборвалась рано — на 33-м году. Слишком короткий срок отмерила ему судьба. Однако этот жизненный срок был для него до предела насыщен событиями и впечатлениями. Он много успел поездить по стране, узнать, увидеть, полюбить. А сколько обширных замыслов, увы, осталось незавершенными!

Конечно, была своя закономерность в том, что с первых дней боев с белофиннами Диковский находился на переднем крае. Он всегда стремился туда, где труднее и опаснее, где перо писателя-публициста могло пригодиться, принести наибольшую пользу. К этому обязывала не только профессия газетчика. Это было глубочайшей внутренней потребностью патриота, гражданина Страны Советов. С удостоверениями корреспондента «Комсомольской правды», а затем и «Правды» Сергей Диковский исколесил нема-

ло дорог, заведомо выбирая отдаленные места и всякий раз охотно сменяя обязанности журналиста на обязанности тех людей, о которых собирался писать статью, очерк, рассказ. Так поочередно Диковский становился то рыбаком, то он присоединялся к пограничному отряду, уходящему в дозор, и даже конвоировал нарушителей границы, то на торговом корабле грузил мешки с овсом, балки. А решив принять участие в кампании по обмену комсомольских билетов, объехал 12 пограничных застав, преодолев почти 500 километров. Зато все, о чем рассказывал Диковский, он знал не понаслышке. Все, как правило, видел своими глазами или сам испытал. Отсюда драгоценное ощущение достоверности. К ней писатель упорно стремился, добывая материал «не как созерцатель с блокнотом в руках, а как активный участник происходящего». Это ощущение активного соучастия в происходящем не покидает и читателей произведений Диковского.

Но прежде чем стать журналистом, писателем, Диковский успел перепробовать не меньше десятка самых разных профессий. И каждая обогатила его немалым жизненным опытом. Хорошей школой жизни стала для него и военная служба. Диковский проходил ее в одном из полков Особой Дальневосточной армии. Он видел армию в мирных условиях и в боевых, во время конфликта на КВЖД в 1929 году. Вспоминая впоследствии эти годы, Диковский писал: «Тогда я уже почувствовал, что основной моей темой на много лет вперед станет Красная Армия, с которой я сжился и полюбил». В предгрозовой атмосфере того времени военно-патриотическая тема приобретала особую важность и значение. Нужны были книги, помогающие готовить подрастающее поколение к грядущим суровым испытаниям. Диковский это хорошо сознавал и сумел сдружить читателей с героями своих небольших, иногда размером до полулиста, иногда совсем коротеньких, «пятиминутных,— по выражению самого автора,— и компактных, как обойма», но всегда остросюжетных рассказов, впечатляюще раскрывающих величие подвига простого советского человека.

И вот вместе с героями Диковского мы входим в чукотские яранги, в Уссурийскую тайгу, поднимаемся на палубу сторожевого катера «Смелый», охраняющего наши воды от браконьеров, приезжаем на дальневосточные пограничные заставы, чьи порядки, быт, обычаи писатель превосходно изучил. Тут люди живут по совсем особым законам, всегда начеку, всегда настороже, готовые в любую минуту встретить опасность лицом к лицу. По множеству едва уловимых, им одним известных и понятных примет они умеют вовремя обнаружить нарушителя границы, пуститься за ним вдогонку. Но сколько раз бывало, что не скри-

пела под каблуком ветка, не всегда шелестела трава или стуком камней отмечался путь опытного диверсанта. «Бывают, — предупреждал Диковский,—переходы границы бесследные, как бег на хвое, как прыжок в воду». И высокое искусство несущих пограничную службу состоит в том, чтобы отыскать след бесследного перехода, как отыскивал его младший командир Акентьев со своей умной и верной помощницей овчаркой Зандой («Наша Занда»), а в экстремальных обстоятельствах мобилизовать все свои духовные и физические силы и выйти победителем, как сумел одержать победу в тяжелейшем многокилометровом преследовании нарушителя границы боец Гусятников («Погоня»).

Особо хочется сказать о мастерстве Диковского-художника. Сухую будничную информацию из стенной газеты о подвиге бойца Гусятникова, удивившую писателя «протокольной плотностью описания», он, скрупулезно воскрешая подробности, развернул в волнующий рассказ, так что мы наглядно представляем себе весь драматизм и напряженность происходящих событий. Всего три газетные строчки: «12 декабря товарищ Гусятников Г. М., пулеметчик и член ВКП(б), при условии мороза и без наличия сапог, задержал нарушителя госграницы». А как много мы узнали, увидели, поняли, когда с помощью бойцов-старослужащих писатель «расшифровал» короткую информацию и не просто расшифровал,— пропустил через свое сердце.

В рассказе «На острове Анна» Диковский использовал сходный прием: советские зимовщики, от имени которых ведется повествование, никогда в глаза не видели своего предшественника—первого начальника зимовки унтер-офицера Новоселова. Но они по крупицам восстанавливают историю его жизни на острове и, восхищаясь мужеством этого человека, его твердостью, честностью, верностью слову, верностью долгу, с любовью рассказывают о нем, расстрелянном здесь, на этом голом острове, белогвардейцами. А гидролог Вера Михайловна, знавшая о Новоселове не больше ее товарищей, нарисовала даже его портрет, изобразив Новоселова таким, каким он ей виделся, — большим, светлоглазым, лобастым, потому что только таким и мог быть пренебрегающий опасностью, дерзкий, неуступчивый начальник острова Анна.

Диковский мог создать портрет человека двумя-тремя запоминающимися точными штрихами, выявляющими самую суть натуры. А иногда ему достаточно было описать характерный жест: например, жест руки Вассы («Васса»), по-матросски сильными руками загребающей воду, чтобы несколькими взмахами весел вынести байду на середину протоки; передать крутую речь Вассы,

препирающейся с браконьером Давыдкой Безуглым; заметить злой летучий румянец, в ту минуту обжегший ее щеки. Благодаря таким подробностям отчетливей представляешь себе непреклонную, решительную Вассу, признанную командиршу рыбачьей «бабьей бригады», которую и уважали и побаивались.

Сергей Диковский говорил, что, если пишешь о человеке, о котором мало знаешь, всегда возникает опасность приукрашивания. Писателю это не грозило, он хорошо знал героев своих будущих очерков, рассказов, повести. В своих произведениях Диковский старался обходиться без громких фраз с восклицательными знаками на конце и без ложного украшательства. Был экономен и требователен в выборе изобразительных средств.

И в одном из самых известных своих произведений — повести «Патриоты» писатель сохранил верность этому однажды и навсегда избранному методу. Небольшая повесть вобрала в себя впечатления шести поездок на Дальний Восток и двух лет службы в Особой Дальневосточной армии. Прообразом начальника погранзаставы коммуниста Дубаха послужил командир роты, под началом которого служил Диковский. Главный герой повести пулеметчик Корж тоже имел своего прототипа. Как задумывалась и создавалась книга «Патриоты», автор подробно рассказывал на встрече с читателями: «Над повестью пришлось поработать изрядно. Сначала я хотел написать рассказ о брате, пошедшем за брата на Дальний Восток, но, когда написал рассказ, оказалось, что он очень узок. Надо было рассказать шире, потому что если рассказывать о нашем патриотизме, то надо противопоставить ему патриотизм, чуждый нам. Я начал рассказ, а вышел уже не рассказ, а повесть. Написал я листов пятнадцать, причем выбрасывал, кромсал, возился с этой повестью около года. Примерно на шестом-седьмом варианте я ее отдал в сборник...»

Сергей Диковский старался не просто воспроизвести внешнюю канву событий повести. На примере советского бойца-пулеметчика Андрея Коржа и японского солдата Сато автор показывает два мировоззрения, влияние строя на формирование этого мировоззрения, чувства главных героев, их поступки. Истоки героического Диковский ищет в биографии Коржа, которая неотделима от биографии страны. Кем был до службы в армии Андрей Корж? Бригадиром штукатуров и маляров. «За свои двадцать два года он успел выкрасить четыре волжских моста, два теплохода, фасад Дома Союзов, шесть водных станций, решетку зоосада и не меньше сотни крыш». И на границу приехал прямо со стройки пятилетки, с глазами, красными от «известковой пыли и бессонницы».

Ощущение Родины, которую он, Корж, призван был охранять и защищать, облекается для него в очень конкретные, реальные образы. Лежа на мокрой, холодной траве, всего в двухстах метрах от границы, в непосредственной близости от чужого, враждебного мира, Корж думает, что «в каких-нибудь пятнадцати километрах за его спиной по пыльной улице ходят в обнимку дивчата, что сейчас, ночью, ворчат бетономешалки, бегают десятники со складными метрами в карманах, что люди спят в поездах, учат дроби, аплодируют актерам, распрягают коней, пляшут, целуются, ведут автомашины». И все это, очень близкое и дорогое Коржу, сливалось в его сознании с понятием «Родина». В этом мире он красил крыши и фасады домов, играл на баяне, стоял в строю правофланговым. Не так уж много, как будто. Но здесь была и школа, и комсомол, которые воспитали в нем высокие моральные качества, и стройки первых пятилеток, и армия, которая закалила этот настоящий советский характер. Защищая клочок родной земли от нарушителей границы, Корж защищал весь большой Советский Союз. Четыре часа он прикрывал собой левый край сопки, шесть раз отбивал атаки противника... И последняя очередь его пулемета, его «максима» слилась с последним дыханием самого Коржа.

Да, писатель очень хотел, чтобы подвиги героев «Патриотов» стали вдохновляющим примером для юных читателей книги. И как бы пророчески перебрасывая мостики в завтрашний день, в повести, написанной в 1937 году, он привел письма на заставу от пионеров и школьников, мечтающих быть похожими на Коржа: «Просим вас записать нас заранее в пулеметчики. Мы будем призываться в 1943 году...»

А что оставил за своей спиной рядовой Сато? Туковарни Хоккайдо, где за время тяжкой, изнурительной работы он так успел провонять дохлой сельдью, что в казармах его тотчас окрестили «рыбьей головой». Обидное прозвище его не обижало. В армии Сато был сыт, одет и, значит, по-своему счастлив. Перед ним открывалась возможность карьеры: выслужиться и возвратиться домой фельдфебелем. А выработанная с детских лет привычка гнуть спину перед начальством и прибавившийся в казармах еще и страх перед офицерами довершили свое дело, окончательно отучив его думать и самостоятельно решать. Да и зачем! Старательному солдату для карьеры достаточно того, что он прилично усвоил две главы из брошюры «Дух императорской армии». Если бы Сато и стал задумываться о таких понятиях, как подвиг, то отнюдь не из патриотического чувства, а из мелкого тщеславия, с корыстной мыслью о том, какие выгоды это может

принести, как отразится на его благополучии. Это единственное, ради чего стоило стараться, выслуживаться, пресмыкаться. Начальник пограничной заставы капитан Дубах точно заметил, что такой патриотизм особого качества. Он не имеет корней. Он не выращен, а вкопан в землю, как столб, насильно. А столб легче свалить, чем дерево. Жизнь и бесславная смерть рядового японской армии Сато лишь подтверждают справедливость наблюдений капитана Дубаха.

Цикл рассказов о приключениях сторожевого катера «Смелый» оказался большой новой, но не доведенной до конца работой Сергея Диковского. Он побывал на Камчатке, видел, в каких трудных условиях маленькие пограничные катера охраняют нашу границу, в каких сложных ситуациях порой оказываются. Да, Диковский опять все увидел своими глазами, все испытал сам, участвуя в походах пограничников. «У нас очень много писалось о сухопутных пограничниках,—говорил он, возвратившись с Камчатки, — и очень мало о пограничниках-моряках... Я решил написать об одном контрабандном японском катере и о пяти-шести советских пограничниках. Эти пять-шесть персонажей будут проходить через все рассказы».

Цикл рассказов, посвященных катеру «Смелый» и его экипажу, должен был состоять из десяти—двенадцати рассказов. Диковский успел написать только шесть. С художественной точки зрения это, пожалуй, наиболее совершенное его произведение. Оно написано в лучших традициях русских и зарубежных писателей-маринистов, всегда привлекающих читателей остротой и неожиданностью сюжетных поворотов, морским колоритом, характерами незаурядных героев, романтических искателей приключений, с риском для жизни бороздящих моря и океаны. Впрочем, герои Диковского — члены команды катера «Смелый»: моторист Сачков, командир катера Колосков, матрос Косицын, боцман Гуторов, рулевой Олещук, от имени которого ведется повествование,— главные действующие лица всех морских рассказов Диковского, люди вполне «земные», если так можно сказать о моряках. Но это не делает их, однако, менее интересными для читателей рассказов или недостаточно еще овеянными соленым морским ветром. Этого им тоже хватило с избытком. И хотя рассказ «Бéри-бéри» Диковский не без иронии начинает словами: «Предупреждаю заранее, тот, кто ждет занятных морских приключений, пусть не слушает эту историю» (историю о том, как и почему японские рыболовы симулировали на своей шхуне массовое заболевание чумой), «Бéри-бéри» читается с не меньшим интересом. Как и в

других морских рассказах Диковского, сюжет разворачивается оригинально и полон неожиданностей.

Экипаж «Смелого» несет сторожевую службу в советских территориальных водах, охраняет наши рыбные богатства от японских браконьеров. И сколько смекалки, предусмотрительности, терпения, выдержки, решимости, находчивости проявляют пограничники каждый раз, выходя в море на очередную операцию! Об этом мы узнаем уже из первого рассказа «Конец Саго-Мару», повествующем о долгом и упорном поединке «Смелого» с неуловимой японской шхуной «Саго-Мару», которая доставила нашим пограничникам немало хлопот.

Развивая прием противопоставления двух чуждых один другому миров, Диковский на этот раз сталкивает советских моряков-пограничников с хищными японскими рыболовами. В сущности, все или почти все конфликтные ситуации рассказов строятся на далеко не безопасной «игре в прятки», выслеживании, преследовании японских хищников-рыболовов, которые, используя любую возможность (хороши все средства), с непостижимым проворством устремлялись к нашему берегу. Надо было разгадать все уловки нарушителей, подкараулить их и взять с поличным, пока они не успели переправить богатый улов рыбы за пределы трехмильной безопасной зоны.

В рассказах Диковского все зримо, вещественно, красочно, все наглядно представлено: японские ловцы рыбы в своих желтых вельветовых куртках, с пестрыми платками, повязанными на головах, длинные, еще влажные рыбачьи сети, растянутые между бамбуковыми палками, темные, душные трюмы шхуны, где люди спят вповалку, накрывшись грязным тряпьем. Перед нами предстают короткий, толстобокий, точно грецкий орех, катер «Смелый» и хищная, поджарая «Саго-Мару» с двумя красными иероглифами, напоминающими двух крабов, прибитых на корме. Мы ощущаем запахи моря то спокойного, масляно-желтого, то злого, ярко-синего с белыми гребешками. Кажется слышим воровато приглушенный торопливый стук движка мотора на японской яхте и даже торжествующий смех синдо (старшего), который, ускользнув от преследования, поднял с палубы лосося и нахально помахал нашим морякам рыбьим хвостом. А поэтические описания нереста лососевых рыб или старого, могучего морского льва — сивуча, спящего на голом камне, настоящего хозяина заповедного Шипунского мыса! Мне кажется, что их можно было бы сравнить с описаниями флоры и фауны в книгах признанных мастеров этого жанра.

Но самое главное — это, конечно, люди, герои рассказов Ди-

ковского, каждый со своим характером, пристрастиями, привычками и слабостями, да, слабостями тоже, тревогами и страхами, которые умеют перебороть, не растеряться в трудных условиях, с честью постоять за себя и своих товарищей. Я назвал моряков Диковского «земными», потому что ни к одному из них не подошло бы определение «морской волк» и все, что с этим понятием обычно связывают. Команда катера «Смелый», выходя в плавание, на выполнение очередного задания, может сказать: «Вижу землю». Каждый член экипажа осознает себя солдатом своей Родины, оберегающим ее земные и морские богатства, готовым, если потребуют обстоятельства, пойти на риск. Но только риск моряков «Смелого» не имеет ничего общего с безрассудным авантюризмом. Выдержка — этому качеству они всегда сохраняют верность. «Главное — выдержка» — так называется один из рассказов этого цикла.

Вот очень симпатичный мне и, наверное, многим читателям Диковского, молодой матрос-первогодок Косицын. Кое-чему он уже научился: знает мотор, разбирается в компасе, но к сильной качке привыкнуть еще не успел, «в море размокал, как галета в горячем чае», и, конечно, ни разу не попадал в такой переплет, как на Птичьем острове («Комендант Птичьего острова»), где остался один на один с командой разбитой японской шхуны, занимавшейся незаконным ловом рыбы у наших берегов и к тому же еще уличенной в шпионаже. В этой трудной передряге, возложив на себя обязанности коменданта острова, Косицын держится отважно, с достоинством. Он хорошо понимает, что нахрапистые, враждебно настроенные японцы только и ждут подходящего момента, чтобы разделаться с ним, и старается не допустить ни малейшей оплошности. Комендант Птичьего острова утомлен, ослаблен голодом и бессонницей. В любую минуту может оказаться в положении заложника японских рыбаков. Но Косицын не позволяет себе никаких поблажек. Всегда настороже, в боевой готовности. «Земли тут немного, да вся наша, советская,— говорит он внушительно своим пленникам.—Значит, и порядки будут такие же...» И, утверждая дисциплину и закон, решительно, сурово предостерегает: «Ежели что — буду карать по всей строгости на правах коменданта...»

В рассказе «Главное — выдержка» ситуация не менее сложная и опасная. Тут советским морякам уже приходится иметь дело не с маленькой рыбачьей шхуной, а с огромным краболовом. Под конвоем «Смелого» и другого сторожевого катера, «Соболь», оказывается целый плавучий заводище с несколькими сотнями рыба-

ков-браконьеров на борту. И опять-таки воля, решимость, выдержка советских рыбаков помогают им одержать победу.

В повести «Патриоты» капитан Дубах завел у себя на заставе «Книгу Героев», куда регулярно записывал рассказы о подвигах советских людей. Повести и рассказы Сергея Диковского — в сущности, книга героев, книга о подвигах, художественная летопись своего времени. Собранные здесь произведения помогают нам лучше понять и увидеть, как в предгрозовой атмосфере 30-х годов выковывались такие качества характера советского человека, которые помогли нашему народу одержать решающую победу над германским фашизмом в Великой Отечественной войне.

Борис ГАЛАНОВ

СОДЕРЖАНИЕ

Диковский С.

Д 45 Патриоты. Рассказы /Послесл. Б. Е. Галанова; Ил. М. Ф. Петрова.— М.: Правда, 1986.— 416 с., ил.

В издание советского писателя Сергея Диковского (1907—1940) включены повесть «Патриоты», рассказывающая о мужестве и героизме пограничников Дальнего Востока, о тревожных буднях заставы, и некоторые рассказы.

Д $\frac{4702010200-1184}{080(02)-86}$ 1184—86 84 Р 7

Сергей Владимирович Диковский

ПАТРИОТЫ

РАССКАЗЫ

Редактор
Н. А. Галахова

Оформление художника
Г. А. Раковского

Художественный редактор
Н. Н. Каминская

Технический редактор
К. И. Заботина

ИБ 1184

Сдано в набор 13.09.85. Подписано к печати 25.12.85.
Формат $84\times108^{1}/_{32}$. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Литературная». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 21,84. Усл. кр.-отт. 22,26. Уч.-изд. л. 21,33
Тираж 500 000 экз. (3-й завод: 250 001—375 000 экз.).
Заказ № 400. Цена 1 р. 80 к

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва. А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Тюменская правда» Тюменского обкома КПСС. 625002, г. Тюмень, Осипенко, 81.

1 р. 80 к.